Вс. ИВАНОВ

БРОНЕПОЕЗД 14-69
РАССКАЗЫ

Вс. ИВАНОВ

БРОНЕПОЕЗД 14-69

РАССКАЗЫ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1983

84Р7
И20

Иванов Вс.

И 20 Бронепоезд 14-69; Рассказы.— М.: Правда, 1983.— 368 с.

Русский советский писатель Вс. Иванов (1895—1963) в одном из своих известных произведений, «Бронепоезд 14-69», рассказывает о событиях гражданской войны на Дальнем Востоке. В сборник также вошли его лучшие рассказы.

И $\frac{4702010200-385}{080(02)-83}$ 385—83 84 Р7

Текст печатается по изданию: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах.— М.: Художественная литература. 1973—1978.

КАК И ПОЧЕМУ БЫЛА НАПИСАНА ПОВЕСТЬ «БРОНЕПОЕЗД 14—69»

Я приехал в Петроград в самом начале 1921 года. Поэт Иван Ерошин, мой знакомый по Сибири, ввел меня в петроградский Пролеткульт — организацию писателей, художников, актеров из рабочего класса. Организация эта, по замыслу основателей, должна была создавать свою особую, пролетарскую культуру. Сказать по правде, увидав Пролеткульт в действии, я был несколько разочарован. Студии и театр посещались плохо, и в чем заключалась сущность этой пролетарской культуры, мы понимали слабо.

Пролеткультовцы предложили мне должность секретаря Литературной студии. Обязанности оказались несложными — я вел «ведомость» лекций, читаемых петроградскими литераторами, среди которых были А. Блок, К. Чуковский, В. Шкловский. Получая весьма скромное «жалованье», я питал себя тем, что брал читать множество книг — целые пуды — из огромной и великолепно составленной библиотеки Пролеткульта.

Пролеткультовцы-поэты вели жизнь активную: они печатали много стихов на современные темы в газетах, выступали на фабриках, заводах, в военных частях, имели свое, правда, небольшое, издательство и даже журнал «Грядущее». Ко мне они относились хорошо, приглашали выступать вместе с ними. Мне хотелось выступать, но, понимая, что мои литературные работы далеки от совершенства и не представляют интереса для слушателей, я ограничивался ролью «выпускающего»: обладая громким голосом, представлял поэтов аудитории.

М. Горький познакомил меня с группой молодых писателей «Серапионовы братья» из «Дома искусств». Группа назвала себя так в честь романа знаменитого немецкого писателя Э. Гофмана. Я тогда еще не читал романа «Серапионовы братья». Мне сказали, что в романе этом несколько молодых людей, собравшись у пустынника Серапиона, рассказывают друг другу различные — правдивые и фантастические — истории. Ну что же! «Дом искусств» был достаточно пустынен, и в нем имелось два-три волосатых пустынника; историй я тоже знал немало. Кроме того, пролеткультовцы, будучи поэтами, не могли помочь мне овладеть искусством прозы. «Серапионовы братья» были преимущественно

прозаики — и прозаики, по-видимому, умелые. Я стал членом группы «Серапионовы братья».

Несмотря на то, что Горький благоволил ко мне и всячески желал устроить мой быт, я старался реже прибегать к его помощи. Он дал мне возможность получать большой паек в Доме ученых, где в те времена получали пайки крупнейшие профессора и академики Петрограда. Имея такой паек и будучи одиноким, я мог бы жить великолепно, но я считал, что не имею права на этот паек. Нерегулярное получение академического пайка привело к тому, что меня — посчитав, видимо, за умершего или выбывшего из города — вычеркнули из списков. Я очутился почти без пищи.

И. А. Груздев, «серапион», ныне известный биограф Горького, имевший тогда отношение к Культпросвету Петроградского военного округа, устроил меня там лектором. Я разъезжал по различным воинским частям в окрестностях Петрограда и повторял, что удавалось мне законспектировать на лекциях в Литературной студии Пролеткульта Все эти свои конспекты я старался применить главным образом к творчеству Льва Толстого, книги которого волновали тогда меня необычайно.

Я написал повесть «Партизаны». М. Горький передал ее редакции журнала «Красная новь». Я получил «огромный» гонорар, на всю сумму которого смог купить не то одну, не то две буханки хлеба. В основу повести «Партизаны» легло подлинное событие, рассказанное мне в Сибири, где я провел гражданскую войну и где мне пришлось увидеть немало всяческих бед и радостей.

Как это частенько бывает у молодых писателей, еще слабо уверенных в своей силе, написав первую, большую сравнительно, вещь, я подумал, что исчерпал весь свой жизненный опыт.

Странно — и все же правда: сознание, что я выдохся, неутомимо преследовало меня тогда. Сейчас мои жизненные наблюдения значительно менее обширны, чем наблюдения тех лет, и, однако, у меня множество замыслов, которые возникают каждый день. Тогда меня мучило полное отсутствие замыслов!

Происходило это не оттого что у меня был мал или ограничен круг наблюдений — наоборот, он был огромен,— а оттого, что я не умел выбирать важнейший факт и сосредоточивать свои наблюдения вокруг этого факта Факты лезли ко мне толпой, давя друг друга, толпились в голове, и каждый из них казался прельстительным — и в то же время ничтожным. Я плохо понимал тогда, что искусство заключается в умении превращать на первый взгляд даже ничтожный факт в огромное событие.

Однако факты жизни, встречи с литераторами: с «серапионами», равно как и с пролеткультовцами,— те и другие, хотя и по-разному, упивались литературой, грезили о ней, работали в ней,— учили, поощряли, толкали меня к тому, что́ у нас сейчас называется овладением мастерством.

Однажды весной 1921 года я приехал на пригородную станцию, чтобы прочитать очередную лекцию о Льве Толстом команде бронепоезда. Не знаю, видел ли я прежде когда-либо бронепоезда. Во всяком случае, эта серая громада, окрашенная в защитный цвет и стоявшая в тупике, поразила меня. Я вообще читал лекции плохо, а эта лекция в блиндированном агитвагоне была, по-видимому, из плохих самой плохой.

В смущении я думал: «Боже, как у меня мало знаний!» — а знаний у меня действительно было маловато. Затем всплывала другая мысль: «Боже, как я молод и как мало внушаю почтения!» — а я действительно был молод и, наверное, действительно не внушал никакого почтения.

Тем не менее лекцию слушали внимательно. Командир бронепоезда, старый, умный матрос, чудесно понял мое настроение. Сразу же, представляя меня слушателям, он сказал, подхваченный волной вдохновения, которого так мало было у меня: «Это молодой писатель, который знал лично Льва Толстого, как он знает лично сейчас Максима Горького, и он прочтет лекцию по личным впечатлениям».

А когда лекция окончилась, командир завел речь не о творчестве Льва Толстого, а о том, как действовал на Украине бронепоезд во время гражданской войны. Речь его вызвала воспоминания среди бойцов, и, когда я вернулся к пригородному поезду, мне стало понятно, почему с таким потрясенным сердцем я глядел на бронепоезд.

Вспомнился номер сибирской дивизионной красноармейской газеты — две крошечные страницы желтовато-бурой «оберточной» бумаги. Здесь я впервые прочел о бронепоезде 14—69. Я не утверждаю, что бронепоезд шел именно под этими цифрами,— может быть, цифры были совсем другими, может быть, даже он назывался «Гремящий», «Полярный», «Разящий». Я не помню, было ли в газете официальное сообщение о подвиге партизан, очерк или просто отчет о митинге,— помню лишь, было что-то короткое и вместе с тем потрясающе героическое.

Отряд сибирских партизан, вооруженный только берданками и винтовками, захватил блиндированный бронепоезд белых вместе с его орудиями, пулеметами, гранатами и опытной командой! Для того чтобы хоть на мгновение остановить мчащийся бронепоезд, боец отряда китаец Син Бин-у, один из тех кули, которых царское правительство во множестве наняло и увезло на фронт для окопных работ, лег на рельсы и был раздавлен бронепоездом. Машинист на одну секунду высунулся из паровоза, чтобы взглянуть на рельсы, на которых лежал китаец, и был застрелен партизанами. Бронепоезд застрял в тайге. Партизаны разобрали вокруг него рельсы и дымом «выкурили» команду. Бронепоезд был захвачен.

Я мгновенно вспомнил рассказы о захвате бронепоезда, которые я услышал,— уже после того, как прочел об этом в дивизионной газете,— от двух или трех раненых красноармейцев, вспомнил и свои встречи с партизанами.

Я решил вновь написать о борьбе западносибирских партизан с белогвардейцами — о захвате бронепоезда!

Я стал часто ездить на пригородную станцию, в бронепоезд, чтобы читать свои лекции о Льве Толстом и одновременно узнавать для себя специальное, военное,— я ведь никогда не служил в армии, а несколько недель моего пребывания в Красной гвардии не сделали меня таким уж знатоком военного дела.

Слушателей в агитвагоне собиралось все меньше и меньше, зато повесть явственно вырисовывалась передо мной.

Вдруг я узнал, что бронепоезд получил назначение на Дальний Восток,— именно в тот момент, когда, как мне казалось,

после двух-трех лекций повесть окончательно бы созрела во мне. Я думал, что уход бронепоезда может помешать мне.

Получилось наоборот.

Его уход окрылил мою фантазию.

Ведь война с интервентами-белогвардейцами, оконченная в Западной Сибири, еще продолжалась на Дальнем Востоке. Вот туда-то и надо перенести действие!

Пусть оно задумано происходящим в Западной Сибири, где-то возле Байкала,— не беда. Действие, может быть, проиграет в некоторой точности, рождаемой личными наблюдениями,— я никогда не был на Дальнем Востоке,— зато выиграет, во-первых, в ширине и размахе — море, корабли интервентов, полный, окончательный разгром белогвардейщины,— во-вторых, в актуальности. Влияние моих друзей, пролеткультовцев, поэтов, перекладывавших в стихи лозунги тех дней, помогло мне сделать повесть политически актуальной. Влияние «Серапионовых братьев», любивших в литературе фантазию и остроту формы, помогло мне написать ее стремительно, большими мазками.

Может быть, никогда в моей литературной жизни не было более удачного воздействия на творчество сочетания дружества поэзии, политики и, разумеется, молодости!

Я постарался ввести в действие большие народные массы; я вооружил бронепоезд не только хорошими орудиями и пулеметами, но и поставил командиром его умного, влиятельного, волевого, хотя измученного войной белогвардейца. Тем самым захват бронепоезда партизанами решал судьбу приморского города и порта, помогал восстанию рабочих, руководимых большевистской партией,— восстанию, благодаря успеху которого свалилось белогвардейское правительство, а интервенты, поддерживающие это правительство, покинули пределы Советской страны.

Мне много пришлось работать над этой темой, часто возвращаться. Одно из таких возвращений создало пьесу «Бронепоезд 14—69», которая в свое время ставилась в Московском Художественном театре и в других театрах нашей страны, а также за границей. Недавно я написал сценарий «Бронепоезд», по которому, вероятно, будет поставлен фильм.

Повесть принесла мне много творческих радостей, разбавленных, как это, впрочем, часто бывает в жизни, и горестями.

Творческих огорчений, впрочем, было гораздо меньше, чем радостей. С каким восхищением, трепетом, восторгом раскрывал я страницы новых книг своих друзей и товарищей! И как много было этих книг, с какой стремительной быстротой появлялись они, как они были разнообразны! Каким великолепным горением наполняли сердца молодых советских читателей эти молодые советские книги! И как приятно сознавать, что восторг этих книг, их творческое пламя радости перешло на книги младшего поколения советских писателей, живущих и творящих ныне!

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

1956, октябрь

БРОНЕПОЕЗД 14-69

ПАРТИЗАНЫ У РЕЛЬС!

I

Цифры блестели перед глазами: 85, 64 и еще 0000... как снежные четки... На дверях купе, на рамах окна, на ремне, на кобуре револьвера. Везде. Точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные, как степные дороги, плечи — прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.

Даже на сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугунного китайского божка, тоже цифры и английские поджарые, словно галеты, буквы.

— Что ж?.. Стекаем, как гной из раны... на окраины... Мы!.. Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правительства... Но-о! Я ж говорю вам, прапорщик. Потом куда?.. В море?

Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Узловато ответил:

— Вам лечиться. Надо. Да!

Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезня».

Капитана Незеласова уважал, потому повторил:

— Без леченья плохо. Вам.

Незеласов торопливо выдернул сигаретку:

— Заклепаны вы наглухо, Обаб... ничего до вас не дойдет!..

И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:

— Как нам стронуться хоть немного... Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали

всё — нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг ра-а-с-чет получайте... И не расчет даже, а в шею... в шею!.. в шею!!

И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвышал голос:

— О, рабы нерадивые и глупые!

Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:

— Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая глупее — пороть.

— Нельзя так, Обаб, нельзя...

— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Бьет.

— Внутри высохло... водка не катится, не идет... От табаку — слякоть, вонь... В голове, как наседка, да у ней триста яиц... Высиживает. Э-эх!.. Теплынь, пар!.. Копошится теплое, склизкое, того гляди... вылезет. Преодолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу...

— Женщину вам надо. Давно женщину имели?

Обаб тупо посмотрел на капитана.

— Непременно женщину. В такой работе — каждый месяц. Я здоровый,— каждые две недели. Лучше хины.

— Может быть, может быть... попробую. Почему мне не попробовать...

— Можно быстро, здесь беженок много... Цветки!

Незеласов поднял окно.

Запахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червями, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.

На людях клеймо бегства.

Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой.

«Портятся люди»,— подумал Обаб. Ему захотелось жениться. «В семью бы хорошо...»

Он сплюнул в платок и сказал:

— Ерунда!

Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба. Слюняв хлопающий голос:

— Опять?

— Что опять?.. В чем дело?

Обаб и Незеласов взглянули в окно.

Беженцы смущенно рассматривали стальную броню вагонов. На платформах орудия, казалось, рассматривают его, голого. Голый Незеласов костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов: углы и серая гладкая кожа.

Он едко сказал в плечо Обабу:

— За спасителей нас считают... Еруcланы! В телеграмме пишут: у рельс вершининский отряд показался... в городе...

Обаб грузно отодвинулся от окна:

— Жиды, капитан. И в городе жиды, и у Вершинина жиды. Дайте сигарету.

— Придут японцы. Прикажите воду набирать... непременно... сейчас.

— В появлении? Опять! Неймется.

Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками.

— Люблю.

Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал:

— Не насчет смерти. А чтоб двигалось. Спокойно когда,— мясо ржавеет...

Обаб степенно вздохнул. Вздохнули потные острые скулы, похожие на обломки ржаного сухаря, вздохом медленным, крестьянским.

— У нас сейчас, в Барнаульском... уезде, уборка. Рука по вожже зудится...

Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:

— Прапорщик... Кто наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?

— Генерал Смирнов.

— Ага? А где он?..

— Партизаны повесили.

— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?

— Следующий?

— Вас спрашивают...

— Генерал-лейтенант Сахаров.
— Ага?.. Он где, где?..
— Не могу знать.
— А... где командующий армией?
— Не могу знать.

Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну, и не рассуждать — исполняйте приказания»,— а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:

— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага? Кого мы с вами по телеграмме... Постойте.

Обаб шлепнул по животу чугунного кумирчика, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул.

— Не знаю... Воду так воду... Стрелять, будем стрелять — очень просто.

И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе, Обаб шел по коридору вагона и бормотал:

— Не моя обязанность... думать... я что... лента, обойма. Очень нужно... Где?

II

Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.

Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуируемыми беженцами.

«Ненужная Россия,— подумал он со стыдом и покраснел, вспомнив: — И ты в этой России».

Нарумяненная женщина с толстым задом всколыхнула в теле предложение Обаба. Капитан сказал громко:

— Дурак!

Женщина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.

Незеласов отвернулся.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми

дверьми — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.

Пахло из теплушек потом, пеленками, и подле рельс пахли аммиаком растоптанные испражнения. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь желтые зубы выл:

— О-о-о-е-е-е.

«Дизентерия,— подумал, закуривая, капитан.— Значит, капут».

Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся злости не остывало.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полусгнившую шпалу.

— Издалека? — спросил Незеласов.

Старик ответил:

— А из Сызрани.

— Куда едешь?

Он опустил колун и, шаркая босой ногою с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

— Куда повезут.

Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые, белые полоски кожи.

«Редко, видно... говорить-то приходится»,— подумал Незеласов.

— У меня в Сызрани-то земля,— любовно проговорил старик,— отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля,— чекань монету... А вот, поди ж ты, бросил.

— Жалко?

— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.

— Обратно идти далеко очень...

Старик, не опуская колуна, чуть-чуть покачал головой. Как-то плечами остро и со свистом вздохнул:

— Далеко... Говорят, на путях-то, вашблаго, Вершинин явился.

— Неправда. Никого нет.

— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуном.— А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже скот. Одна, говорят, надежда на бронипоезду. Только. Ишь ты... Значит, нету?

— Никого нет...

— Совсем, вашблаго, прекрасно. Може, и до Владивостоку доберешься... Проживем. Куды я обрать попрусь, скажи-ка ты мне?

— Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.

— И то говорю — умрешь еще дорогой.

— Не нравится здесь?

— Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец — так тот совсем языка русского не понимает. И как живет, бог его знает! Фальшиво живет. Зачервивешь тут. А коли лучше обратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?

— Не знаю,— ответил капитан.

III

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.

Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка, китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..

И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная беженка с землистым лицом, в каштановом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахарные головы, мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила:

— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают... Вершинин подходит...

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Комендант станции — солдаты звали его «четырехэтажным» — большеголовый, с седыми, прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:

— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь.

— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!

— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали.

И, втыкая в глотку непочтительный смешок, четко говорил:

— Няньку английский генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт подери, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует.

Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли на землю Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма, и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.

Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим звоном шумели мокрые гаоляны.

Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп фельдфебеля. Лоб был разбит, и на носу и на рыжеватых усах со свернувшимися темнокрасными сгустками крови тряслось, похожее на густой студень, серое вещество мозга.

— Партизаны его...— зашептала беженка в манто, подпоясанная бечевкой.— Вершинин... Они...

В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:

— Партизаны... Партизаны...

Капитан Незеласов прошел по своему поезду.

У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом манто и поспешно спрашивала у солдат:

— Ваш поезд нас не бросит?

— Не мешайте,— сказал ей Незеласов, вдруг возненавидев эту тонконосую женщину.— Нельзя разговаривать!

— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..

Капитан Незеласов, хлопнув дверью, закричал:

— Убирайтесь вы к черту!

Опять принесли телеграмму. Кто-то неразборчиво, и непременно припутывая цифры, приказывал разогнать банды Вершинина, собирающиеся по линии железной дороги. И в конце говорилось о каких-то японцах, итальянцах...

— Телеграмма номер двенадцать тысяч пятьсот сорок один, видите!.. Приказ, прапорщик, приказ, говорю... А кто там, кто смеет приказывать? Кто есть?

Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на желтоголовых птичек, порхали по перрону.

Капитана Незеласова нашел японский офицер в паровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, японец мягко говорил по-русски, стараясь ясно выговаривать букву р:

— Я... есть пол-рр-лючик Танако Муццо... Тя. Я есть коман-н-тил-лррлован вместе.

И, внезапно повышая голос, выкрикнул, очевидно, твердо заученное:

— Уничтожит!.. Уничтожит!..

Рядом с ним стоял американский корреспондент — во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:

— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..

Обаб и еще какой-то офицер, потея и кашляя, объясняли.

— Хорошо,— сказал Незеласов. — Прикажите, Обаб, прицепить вагоны... с японцами.

Он захлопнул тяжелую стальную дверь.

— Пошел, пошел!..— визгливо кричал, матерной руганью обвертывая приказания. И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14-69.

Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил револьвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов... Дальше он не понимал, для чего понадобился бы ему тогда его крик.

Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед четырехугольные лица. Ненужные тряпки одежд стесняли движения. Около стальных орудий хотелось их видеть голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе душ.

Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.

Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро, и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

IV

А в это время китаец Син Бин-у лежал в траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как красный Дракон напал на девушку Чен Хуа.

Лицо у девушки было цвета корня женьшеня, и пища ее была у-вей-цзы, петушьи гребешки, мажу, грибы величиною со зрачок, чжен-цзай-цай. Весьма было много всего этого, и весьма все это было вкусно.

Но красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота жизни, и тогда родился бунтующий русский.

Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов, радостно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые незыблемою верою слова, кричал:

— Бегут, братцы мои, бегут. В недуг души ударило, оземь бьются, трепыхаются. А наше дело — не уснуть, а город-то, он у-ух!.. силен. Все возьмет!

Пахло камнем, морем.

«Объединенным русско-японским отрядом, при поддержке бронепоезда № 14—69, партизанские шайки Вершинина рассеяны.

С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка союзников выше всяких похвал. Преследование противника в сопках продолжается.

Начбронепоезда № 14—69 капитан Незеласов.

№ 8701-7-19»

VI

И вот:

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер.

И тело у них было как граниты сопок, как деревья, как травы; катилось горячее, сухое, по узко вытоптанным горным тропам.

От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике,— пустота, бессочье.

Шестой день партизаны уходили в сопки.

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади — по линии железной дороги — и глубже: в полях и лесах — атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они часто своpачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

VII

Китаец Син Бин-у, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

— Японса била надо... у-у-ух, как била!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.

Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:

— Японец для нас хуже барсу [1]. Барс-от, допрежь чем манзу [2] жрать, лопатину [3] с него сдерет. Дескать, пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет — вместе с усями [4] слопает.

Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом.

Никита Вершинин, председатель партизанского революционного штаба, шел с казначеем Васькой Окороком позади отряда. Широкие — с мучной куль — синие плисовые шаровары плотно обтягивали большие, как конское копыто, колени, а лицо его, в пятнах морского обветрия, хмурилось.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

— В Расеи-то, Никита Егорыч, беспременно вавилонскую башню строить будут. И разгонют нас, как ястреб цыплят, беспременно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: Никита Егорыч, самогонки хошь? А ты талабала, по-японски мне выкусишь! А Син Бин-у-то, разъязви его в нос, на русском языке запоет. А?

Работал раньше Васька на приисках и говорит всегда так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая, лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дующем с моря, в жарких, наполненных тоской запахах земли и деревьев.

Вершинин перебросил винтовку на правое плечо и ответил:

— Охота тебе, Васька. И так мало рази страдали?

---

[1] Тигр.
[2] Китаец *(обл.)*.
[3] Одежда.
[4] Род китайской обуви.

Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, захохотал:

— Не нравится!

— Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать придется.

— Японца, Никита Егорыч, тронуть здорово надо. Набил им брюхо землей — и в море.

— Японец — народ маленький, а с маленького спрос какой? Дешевый народ. Так, вроде папироски—будто и курево, и дым идет, а так— баловство. Трубка, скажем, дело другое.

В леса и сопки, клокоча, с тихими усталыми храпами вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. Наверху, в скалах, сумрачно темнели кедры. Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Опять позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

— Нонче в обоз ездил. Потеха-а!..

— Ну?

— Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им баю — жрите, мол, а то все равно бросите.

— Нельзя. Без животины человеку никак нельзя. Всю тяжесть он потеряет без животины. С души-то, тяжесть...

Син Бин-у сказал громко:

— Казаки цхау-жа! Нипонса куна, мадама бери мала-мала. Нехао! Казаки нехао! [1] Кырасна руска...

Он, скосив губы, швыркнул слюной сквозь зубы, и лицо его, цвета песка золотых россыпей, с узенькими, как семечки дыни, разрезами глаз, радостно заулыбалось...

— Шанго!.. [2]

Син Бин-у в знак одобрения поднял кверху большой палец руки.

Но не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец уныло сказал:

[1] Казаки плохи! Японец — подлец, женщин берет... Нехорошо! Казаки плохи!

[2] Хорошо!

— Пылыоха-о [1].

И тоскливо оглянулся.

Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара, кинув логовище, в смятенье и злобе рвались в горы.

А родная земля сладостно прижимала своих сынов — идти было тяжело. В обозах лошади оглядывались назад и тонко, с плачем, ржали. Молчаливо бежали собаки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест.

Направо в падях темнел дуб, белел ясень.

Налево — от него никак не могли уйти — спокойное, темно-зеленое, пахнущее песками и водорослями море.

Лес был как море, и море — как лес, только лес чуть темнее, почти синий.

Партизаны упорно глядели на запад, а на западе отсвечивали золотом розоватые граниты сопок, и мужики через просветы деревьев плыли глазами туда, а потом вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.

А китайцу Син-Бин-у казалось, что мужики за розовыми гранитами на западе желают увидеть иное, ожидаемое.

Китайцу хотелось петь.

Никита Вершинин был рыбак больших поколений.

Тосковал он без моря, и жизнь для него была вода, а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да и попадет.

Баба попалась жирная и мягкая, как налим. Детей она принесла пятерых — из года в год, пять осеней, когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли светловолосые среброчешуйники.

В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про его «вершининское» счастье, и, когда волость решила идти на японцев и атамановцев, председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.

От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы,— неизвестно, удастся ли,— заново, как тесали

[1] Плохо.

прадеды, приехавшие сюда из пермских земель на дикую землю.

Многое было непонятно — и жена, как в молодости, желала иметь ребенка.

Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.

У пришиби[1] яра бомы[2] прервали дорогу, и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матера[3] рвалась на бом, а ниже в камнях билась, как в падучей, белая пена стрежи[4] потока.

Перейдя подвесной мост, Вершинин спросил:

— Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

Привала решили не делать. Пройти Давью деревню, а там — в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины[5] Давьей деревни босоногий мужик с головой, перевязанной тряпицей, подогнал игренюю лошадь и сказал:

— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

— С кем битва-то?

— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а чаем, придет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем да в сопки с вами думаем.

— Кто наши-то?

— Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Христьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строчат. Из сопок тоже.

— Увидимся!

На широкой поселковой улице валялись телеги, трупы людей и скота.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точ-

---

[1] Подножие яра — крутой скалистый берег.

[2] Камни, преграждающие течение потока.

[3] Главная сила струи потока.

[4] Сильнейшие струи матеры.

[5] Ограда вокруг деревни, где пасется скот.

но стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые гетры были тщательно начищены, точно японцы собирались гулять по владивостокским улицам.

— Зарыть бы их,— сказал Окорок,— срамота.

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда,— спокойно-деловитые.

Только от двора ко двору среди трупов кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.

— Воюсте? — спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

— Приходится, дедушка.

— И то смотрю — тошнота с народом. Николды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь — нá, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

— Все равно что ехали-ехали, дедушка, а телега-то — трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится делать.

— А?

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторил:

— Не пойму я... А?

— Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел, бормоча:

— Ну, ну... какие нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся. Собачонка не переставала визжать.

Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

Старик беспокойно поцарапался:

— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит.

— Терпит?

— Терпит, Егорыч. Брандепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожит все и опять-таки пожгет.

— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.

Старик злобно сплюнул:

— Без рельсы пойдет. Раз они с японцами связались. Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет... А капитан-то этот с брандепояса из царских родов будет?..

— Будет тебе зря-то...

— Зол уж, и росту, бают, выше сажени, а борода...

VIII

Мужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь.

Тело его влипало в плоскую лошадиную спину, лицо танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался Вершинин.

— Он старшой-то, он! — закричал Окорок. — Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай, как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать:

— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-от наш за японцем пошел далеко-о!

— А деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино-село слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочь народ! Как есть все село, парябатюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки!

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Одну му́ку принимаем! Понятно!

Седой мужик продолжал:

— Ехали они двое, мериканцев-то! На трашпанке в жестянках молоко везли! Дурной народ: воевать приехали, а молоко жрут с щиколадом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая компания!

Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели:

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь, забрались!

— Просили их!

Кто-то пронзительно завизжал:

— Бе-ей!..

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждь!..

И добавил:

— Товарищи!

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и замолчали.

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело — убить. Вон их сколь на улице-то наваляли. А по-моему, товарищи, распропагандировать его и пустить. Пущай большевицкую правду понюхают. Во-о как я полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

— Хо-хо-хо!..

— Хе-кче!..

— Хо-о!..

— Прореху-то застегни, черт!

— Валяй , Пентя, запузыривай!..

— Втемяшь ему!

— Чать, тоже человек...

— На камне и то выдолбить можно.

— Лупи!..

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые красно-бронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни. Подробно. Нехорошо, мол.

— Зачем нам мешать!

— Против своего брата заставляют идти!

Вершинин степенно сказал:

— Люди вы хорошие, должны понять. Такие же крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас поди этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли...

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— I don't understand [1].

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!

Мужики отошли от американца.

Вершинин почувствовал смущенье.

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться,— сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя:

— Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..

Знобов думал.

Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Син Бин-у лег на землю подле американца, закрыв ладонью глаза, тянул пронзительную китайскую песню.

— Мука мученическая,— сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?

Найденные книжки были все русские.

— Только на раскурку и годны,— сказал Знобов,— кабы с картинками.

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрепанный, с оборванными углами, учебник закона божия для сельских школ.

— Може, по закону? — спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

— Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать. Не попы.

— А ты попробуй,— предложил Васька.

— Как его. Не поймет поди!

---

[1] Я не понимаю *(англ.)*.

— Может, поймет. Валяй!

Знобов подозвал американца:

— Эй, товарищ, иди-ка сюда.

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин,— сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блестнул глазами и радостно ответил:

— There's a chap! [1]

Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, прокричал:

— Советская республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали, и он возбужденно закричал:

— What is pretty indeed [2].

Мужики радостно захохотали:

— Понимает, стерва.

— Вот сволочь, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал разъяснять:

— Этот с ножом-то — буржуй. Ишь, брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, понял! Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-ри-ат! We! [3].

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок схватил его за голову и, заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам. За морями-то...

— Будет тебе, ветрень,— говорил любовно Вершинин.

---

[1] Вот это парень!

[2] Вот что действительно прекрасно.

[3] Мы!

Знобов продолжал:

— Лежит он — пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то японец, американка, англичанка — вся эта сволочь империализма самая сидит.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Империализм! Away!.. [1]

Знобов с ожесточением швырнул фуражку оземь.

— Империализм с буржуями — к чертям!

Син Бин-у подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а. Китайси ресыпубылика-а. Мерикансы ресыпубылика-а — пухао. Нипонсы, пухао, нада, нада ресыпубылика-а. Крыа-а-сна ресыпубылика нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец кверху, проговорил:

— Шанго.

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо. Не выдаст.

IX

Партизаны с хохотом, свистом вскинули ружья на плечи.

Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тонким, как паутина, голоском затянул:

Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку,
Уродись, моя тоска, мелкой травкой-муравой.
Ты не сохни, ты не блекни, цветами расцвети...

И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой:

---

[1] Долой!..

Я рассеявши пошел, во зеленый сад вошел —
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.

И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер мужицких голосов подняла и понесла в тропы, в лес, в горы:

Я рассеявши пошел,
Во зеленый сад вошел.
— Э-э-эх...
— Сью-ю-ю...

Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопки.

Шестой день увядал.

Томительно и радостно пахли вечерние деревья.

В ГОРОДЕ

X

На широких плетенных из гаоляна циновках лежали кучи камбалы, угрей, похожие на мокрые веревки, толстые пласты наваги, сазана и зубатки. В чешую рыб ныряло небо, камни домов. Плавники хранили еще нежные цвета моря — сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:

— Тле-епанга-а!.. Капитана Луска! Кла-аба!.. Тлепанга-а! Покупайло еси?.. Л-а?

Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнущий илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:

— Орет китай, а всего только рыбу предлагает.

— Предлагай, парень, ты!

— Наше дело рушить все! Рушь да рушь, надоело. Когда строить-то будем! Эх, кабы японца грамотного найти!

Матрос спустил ноги к воде, играя подошвами у бороды волны, спросил:

— На што тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался,

как море у лодки,— рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережная, город...

«Веселый человек»,— подумал Знобов.

— Японца я могу. Найду. Японца здесь много!

Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голубовато-желтые короткие кофты — курмы китайцев, проговорил шепотом:

— Японца надо особенного, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Получай! Можно по войскам ихним.

Он представил себе желтый листик бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся.

— Они поймут! Мы, парень, одного американца до слезы пропяли. Прямо чисто бак лопнул... плачет...

— Может, и со страху плакал?

— Не сикельди. Главное, разъяснить жизнь надо человеку. Без разъяснения что с него спросишь, олово?

— Трудно такого японца найти.

— Я и то говорю. Не иначе, как только наткнешься.

Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу:

— Ишь сколь народу! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь!

Знобов вздохнул:

— Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви клирос! Свои войдут, поют, а остальная публика только слушай. Пелена в глазах.

— Таких теперь много.

— Иначе нельзя. По тропке идешь, в одну точку смотри, а то закружится голова, ухнешь в пядь! Суши там кости. Кайся.

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигурки. Пели шпорами сереброгалунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тканные на ситце, пестрели серо-лиловые

корабли, белоголовые китайские шкуны, лодки рыбаков.

— Кабак, а не Расея!

Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:

— Подожди, мы им холку натрем.

— Пошли? — спросил Знобов.

— Айда, посуда!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом. Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутых ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.

Знобов сказал:

— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строют. Да и ухни он! Дал бы нормально по носу, суки!..

Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.

— Кому как!

Похоже было — огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафе затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них были устало искривлены. Часто опускались на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.

Худые, как осиновый хворост, изморенные отступлением лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.

Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полуразрушенных во время восстания.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.

И по-иному, из-за далекой овиди [1] — тонкой и звенящей, как стальная проволока,— задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

---

[1] Горизонт.

Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.

— Не боишься шпиков-то? — спросил он Знобова.

Знобов думал о японцах и, вычесывая западающие глубоко мысли, ответил немного торопливо.

— А нет. У меня другое на сердце. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые-то потому и не выдают.— Он ухмыльнулся.— Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не изживут.

— И сами тоже хватили!

— Да-а!.. У вас арестов нету?!

— Троих взяли.

— Да-а... Иди к нам в сопки.

— Камень, лес. Не люблю... скучно.

— Это верно. Домов из такого камню хороших можно набухать. Прямо — Америка. Валяется без толку, ни жрать, ни под голову. Мужичку ничего, а мне тоже скучно. Придется нам, однако, в город наступать.

— Валяйте. Вершинин как мыслит?

— Вершинин — туча, куда ветер — там и он с дождем. Куда мужики — значит, и Вершинин...

XI

Председатель подпольного революционного комитета товарищ Пеклеванов, маленький веснушчатый человек в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце и будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.

— Вы часто приходите, товарищ Знобов,— сказал Пеклеванов.

Знобов положил потрескавшиеся от ветра и воды пальцы на стол и туго проговорил:

— Народ робить хочет.

— Ну?

— А робить не дают. Объяростели. Гонют. Мне и то неловко, будто невесту богатую уговариваю.

— Мы вас известим.

— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поез-

дам, жги, казаков бей... Бронепоезд тут. Японец чисто огонь — не разбират.

— Пройдет.

— Знаем. Кабы не прошло, за что умирать? Мост взорвать хочут.

— Прекрасно. Инициативу нужно, нужно. Чудесно...

— Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Динамитного человека надо.

— Пошлем. И человека и динамит. Действуйте.

Помолчали. Пеклеванов жарко, истощенно дышал:

— Дисциплины в вас нет.

— Промеж себя?

— Нет, внутри.

— Ну-у, такой дисциплины теперь ни у кого нету...

Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость, и толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянят щеки.

Матрос протянул руку, пожал, будто сок выжимая. Вышел.

Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:

— Мужики все насчет восстанья, ка-ак?.. Случай чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?

Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал:

— А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце-то насквозь прожечь... Мы тут американца одного до слезы...

У Пеклеванова впалая грудь, говорит слабым голосом, глаз тихий — в очках.

— Как же, думаем... Меры принимаем.

Знобову вдруг стало его жалко.

«Хороший ты человек, а начальник... того...» — подумал он, и ему захотелось увидеть начальника — здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову. На столе валялась большая газета, а на ней хмурый черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахару.

«Птичья еда»,— подумал с неудовольствием Знобов.

Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу вверх, говорил:

— В назначенный час восстанья на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения.

Пеклеванов говорил, точно читая телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопил:

— Ну-у!.. А не сорвется опять! Вы верите уже...

— Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.

Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и спросил:

— Все?

— Пока да.

— А мало этого, товарищ... Ей-богу, мало... Ну, возьми...

Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака, веснушчатое лицо покрылось пятнами. Он словно обиделся.

Знобов бормотал:

— Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как куры на испорченных яйцах. Нас, товарищ, много... тысячи...

— Японцев сорок. Сорок тысяч.

— Это верно,— как вшей, могут сдавить. А только пойдет.

— Кто?

— Мир. Мужик хочет.

— Эсеровщины в вас много, товарищ Знобов. Землей от вас несет.

— А от вас колбасой.

Пеклеванов захохотал каким-то пестрым смехом.

— Водкой попотчую, хотите? — предложил он.— Только долго не сидите и правительство не ругайте. Следят.

— Мы втихомолку.

Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо полотенцем, сказал, хмельно икая:

— Ты, парень, не сердись — прохлаждайся. А сначалу не понравился ты мне, что хошь.

— Прошло?

— Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.

— Где?

Знобов распустил руки:

— По линии... ходит. Четырнадцать там, и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, мильон народу срезал. Так мы ево... того...

— В воду?

— Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.

— Орудия на нем.

— Опять ничего не значит. Постольку поскольку выходит, и никакого черта...

Знобов вяло качнул головой:

— Водка у тебя крепкая. Тело у меня, как земля,— не слухат человечьего говору. Свое прет.

Он поднял ногу на порог и сказал:

— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

— Да-а... предыдущий.

Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, сильно скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям.

XII

На улице Знобов увидал у палисадника японского солдата.

Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи крылышки, усики.

— Обожди-ка! — сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго крикнул:

— Ню! Сиво лезишь?

Знобов скривил лицо и передразнил:

— Хрю! Чушка ты. К тебе с добром, а ты с хрю-ю! В бога веруешь?

Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц оглядел поперек Знобова — от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

— Лусика сюполочь. Ню?..

И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.

Знобов поглядел вслед на задорно блестевшие бляшки пояса. Сказал с сожалением:

— Дурак ты, я тебе скажу!..

КИТАЕЦ СИН БИН-У

XIII

Через три дня в отряд Вершинина, разламывая телом плетенную из тростника тележку, примчался матрос Анисимов.

Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в ссадине, а на груди болтался красный бант.

Матрос кричал с трашпанки:

— В городе, товарищ-щи, восстанье!.. Крой... Броневик капитану Незеласову приказано туда в два счета пригнать... Чтоб немедленно. Рабочие бастуют, одним словом — крой, и никаких гвоздей!.. А броневик вам, значит, вручаем... А я милицию организую.

И ускакал в сопки — веселый матрос.

Облако над сопками — словно красная лента...

XIV

Эта история длинная, как Син Бин-у возненавидел японцев. У Син Бин-у была жена из фамилии Е, крепкая манза [1], в манзе крашеный теплый кан [2] и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы [3].

---

[1] Хижина.
[2] Деревянные нары, заменяющие кровать.
[3] Род китайского проса.

А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.

Только щека оказалась проколота штыком.

Син Бин-у читал Ши-цзинь[1], плел циновки в город, но бросил Ши-цзинь в колодец, забыл циновки и ушел с русскими по дороге Хун-ци-цзе[2].

Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.

Ноги плещутся в море, и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у задирает ноги и ругается.

— Цхау-неа!..

Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высоконосый русский. Син Бин-у убил трех японцев, и пока китайцу ничего не надо, он доволен.

От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики скотом и травами.

У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки, пулеметные ленты, винтовки.

На телеге с низким передком, прикрытой рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:

— А ты не стони, пройдет!

Потная толпа плотно набилась между телег. И телеги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующим человечьим мясом. Выросшие из бород мутно-красными полосками губы блестели на солнце слюной.

— О-о-о-у-у-у!..

Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушал себя нутряным криком, орал:

— Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!

И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили.

— Не да-ва-й!..

Толпа тянула за ним:

---

[1] Книга стихов, чтение которой указывает на хорошую грамотность.

[2] Дорога Красного знамени, восстания.

— А-а-а!..

И вот на мгновенье стихла. Вздохнула.

Ветер нес запах пота.

Партизаны митинговали.

Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы шептали:

— На-ароду-то... Народу-то мильёны, товарищи!..

Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лощадь, Никита Вершинин орал с пня:

— Главна: не давай-й!.. Придет суда скора армия... советска, а ты не давай... старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

— Не-е да-а-авай!!

И казалось, вот-вот обрушится слово, переломится, и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужичонка в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голосом подтвердил:

— А верю, ведь верна!..

— Потому за нас Питер... ници... пал!.. и все чужие земли! Бояться нечего... Японец — что, японец — легок... Кисея!..

— Верна, парень, верна! — визжал мужичонка.

Густая потная тысячная толпа топтала его визг.

— Верна-а...

— Не да-а-ай!..

— На-а!..

— О-о-оу-у-у!!

— О-о!!!

XV

После митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:

— Подбери ноги, штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?

— Нисиво,— проговорил китаец,— мне ни нада... Мне так зынаю — зынаю псе... шанго.

— Ноги-то подбери!

— Нисиво. Солнышко тепыло еси. Нисиво — а!..

Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстановкой сказал:

— Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман... У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили... Да-а... Мост вот взорвем, строить придется.

Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубахой, как ивняк под засохшим илом, и, наклонившись к китайцу, с потемневшим лицом выпытывающе спросил:

— А ты... как думаешь... А? Пошто эта, а?..

Син Бин-у, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.

— Не зынаю, Кита. Гори-гори! Не зынаю!..

Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, как у идола, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:

— Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..

Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:

— Нисиво!.. нисиво не зынаю!..

Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.

— Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат... Разбудили, побежали, а дале что?..

И, осев плотно на камне, как леший, устало сказал подходившему Окороку:

— Не то народ умом оскудел, не то я...

— Чего? — спросил тот.

— На смерть лезет народ.

— Куда?

— Броневик-то брать. Миру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей.

Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.

— Жалко тебе?

Подошел Знобов, под мышкой у него была прижата папка с бумагами.

— Подписать приказы!

Вершинин густо начеркал на бумаге букву В, а подле нее длинную жирную черту.

— Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напи-

шешь, спасибо, догадь взяла, поставил одну букву с палкой —и ладно... знают.

Окорок повторил:

— Жалко тебе?

— Чего? — спросил Знобов.

— Люди мрут.

Знобов сунул бумажку в папку и сказал:

— Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.

Вершинин сипло ответил:

— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо.

— Зачем идешь?

— Землю жалко. Японец отымет.

Окорок беспутно захохотал:

— Эх вы, землехранители, ядрена-зелена! И-их!..

— Чего ржешь? — с тугой злостью проговорил Вершинин.— Кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду...

— Ну, пророк?

— Рыбалку брошу теперь.

— Пошто?

— Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой займусь. Город-то омманыват, пузырь мыльнай, в карман не сунешь.

Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани — людей, трамвай, дома — и сказал с неудовольствием.

— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отымем и трудящимся массам — расписывайся!..

Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:

— Японскова микадо колды расстреливать будут, вот завизжит, курва. Патеха-а!.. Не ждет, поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?

— Им виднее,— нехотя ответил Вершинин.

Над песками — берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница. Высоко на скале человек, в желтом — как кусочек смолы на стволе сосны — часовой.

Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.

Син Бин-у сказал:

— Серысе похудел-похудел немынога... а?

— Пройдет,— успокоил Окорок, закуривая папиросу.

Син Бин-у согласился:

— Нисиво.

XVI

Корявый мужичонка в малиновой рубахе поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Само главно — в человека поверить... А интернасынал-то?

Он подмигнул и еще тихо сказал:

— Я ведь знаю — там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем — пашня... Хорошее слово

— Надоели мне хорошие слова.

— Брешешь. Только говорил и говорить будешь. Ты вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это завсегда так делается. Ведь которому человеку агромаднейшая мера надобна, такое племя.. Он тебе вершком, стерва, мерить не хочет, а верста И пусь, пусь мерят... Ты-то свою меру знашь.. Хе-хе-хе!..

Мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина в плечо.

Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.

Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомойника согревшейся водой и пошел сбирать молодых парней.

— На ученье, айда. Жива-а!..

Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами собирались послушно.

Вершинин выстроил их в линию и скомандовал

— Смирна-а!..

И от крика этого почувствовал себя солдатом

— Равнение на-право-о!..

Вершинин до позднего вечера учил парней.

Парни потели, злобно проделывая упражнения, посматривая на солнце.

— Полу-оборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!

Один из парней жалостно улыбнулся.

— Чего ты?

Парень, моргая выцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:

— Где к японсу? Свово б не упустить. У японса-то, бают, мо-оря... А вода их горячая, христьянину пить нельзя.

— Таки же люди, колдобоина!

— А пошто они желты? С воды горячей, бают?

Парни захохотали.

Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:

— Рота-а, пли-и!..

Парни щелкнули затворами.

Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:

— Учит. Обстоятельный мужик, Вершинин-то...

Другой ответил ему полусонно:

— Камень, скаля... Большим комиссаром будет.

— Он-то? Обязательна.

ПРАПОРЩИК ОБАБ

XVII

Казак изнеможенно ответил:

— Так точно... с документами...

Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.

Казак, подавая конверт, сказал:

— За голяшками нашли!

Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана:

— Ты... какой банды... вершининской?..

Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнущую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал:

«Может... приказ... может...»

Комендант, передвигая тускло блестевшие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:

— Какое количество?.. Что?.. Где?..

Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.

«Угодить хочет... бронепоезд... дескать, наши...»

А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с вмороженной спиралью китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности — сначала одну кишку, потом другую...

Мужик говорил закоснелым, смертным говором и только при словах: «Город-то, бают, узяли наши»,— строго огляделся, но опять спрятал глаза.

Румяное женское лицо показалось в окошечке:

— Господин комендант, из города не отвечают.

Комендант сказал:

— Говорят, не расстреливают — палками...

— Что? — спросило румяное лицо.

— Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?

— Может... все может... Но ведь, я думаю...

— Как?

— Партизаны перерезали провода. Да, перерезали, только...

— Нет, не думаю. Хотя!..

Когда капитан вышел на платформу, комендант, изнуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:

— Капитан, арестованного прихватите.

Рыжебородый мужик сидел в бронепоезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина.

Когда в него стреляли, солдатам казалось, что они стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат приказал до расстрела:

— А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись.

Обыклым движением мужик сдернул сапоги.

Противно было видеть потом, как из раны туго ударила кровь.

Обаб принес в купе щенка — маленький сверточек слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.

— Зачем вам? — спросил Незеласов.

Обаб как-то по-своему ухмыльнулся:

— Живность. В деревне у нас — скотина. Я уезда Барнаульского.

— Зря... да, напрасно, прапорщик.

— Чего?

— Кому здесь нужен ваш уезд?.. Вы... вот... прапорщик Обаб, да золотопогонник и... враг революции. Никаких.

— Ну? — жестко проговорил Обаб.

И, отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:

— Как таковой... враг революции... выходит, подлежит уничтожению. Уничтожению!

Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

— Ерунда. Мы их в лапшу искрошим!

На ходу в бронепоезде было изнурительно душно Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый, больной ветер и слегка освежил лица Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных немощных листьев с кленов.

Тоскливо пищал щенок.

Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо, по-женски ругался. У солдат были вялые длинные лица, и капитан брызгал словами:

— Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!.

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана казалось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо скулит у пулеметов, у орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам — к востоку, к городу, к морю.

XVIII

Син Бин-у направили разведчиком.

В плетенную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.

Офицер в черных галифе с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его глазам и торопливо спросил:

— Кокаин есть?

Син Бин-у плотно сжал колпачки тонких, как щели, век и, точно сожалея, ответил:

— Нетю!

Офицер строго выпрямился.

— А что есть?

— Семечки еси.

— Жидам продались,— сказал офицер, отходя.— Вешать вас!

Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:

— У нас в Семипалатинской губернии, брат китаеза, арбуз совсем особенный — китайскому арбузу далеко.

— Шанго,— согласился китаец.

— Домой охота, а меня к морю везут, видишь.

— Сытупай.

— Куда.

— Домой.

— Устал я. Повезут — поеду, а самому идти — сил нету.

— Семичика мынога.

— Чево?

Китаец встряхнул корзинку. Семечки сухо зашуршали, запахло золой от них.

— Семичики мынога у русика башку. У-ух... Шибиршиты...

— Что шебуршит?

— Семичика, зелена-а...

— А тебе что же, камень надо, чтоб в голове-то лежал?

Китаец одобрительно повел губами и, указывая на серый френч проходившего плоского офицера, спросил:

— Кто?

— Капитан Незеласов, это, китаеза, начальник бронепоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут нас партизаны-то, а?

— Шанго... Пу шанго...

— Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!

Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:

— Наторговал?

Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.

Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы с перрона жадно и тоскливо посмотрели на него, зашептались испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой длиннобородый старик рыдал возле кипяточного крана, и, когда он вытирал слезы, видно было — руки у него маленькие и чистенькие.

Солдатик прошел мимо, с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь водой.

— Житьишко,— сказал он любовно.

Китаец в гаолянах говорил что-то шепотом русоглазому парню.

XIX

Ночью стало совсем душно. Духота густыми непреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугунно-темных полей, с лесов — и, как теплую воду, ее ощущали губы, и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глина, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно жалко ревет.

А сзади наскакивают горы, лес. Наскочат и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри по-прежнему был жар и голод.

Солдат-денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, недоумело докладывая:

— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзинку, и узловатыми пальцами вырывал хлеб, и если не мог больше его съесть, сладостно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Спустив щенка на пол и следя за ним мутным медленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала на теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь — точно заклепывали...

У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

— Прорвемся... к черту!.. Нам никаких командований... Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников, и так же, забитый полями, ветром и морем, жил на том конце рельс непонятный и страшный в молчании город.

— Прорвемся,— выхаркивал капитан и бежал к машинисту.

Машинист, лицом чернявый, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:

— Уходите!.. Уходите!..

Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:

— Вы не беспокойтесь... партизан здесь нет... А мы прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы все-таки...

Машинист был доброволец из Уфы, и ему было стыдно своей трусости.

Кочегар, гыча пальцем в тьму, говорил:

— У красной черты... Видите?

Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.

— Все мы... да... в паровоз...

Нехорошо пахло углем и маслом.

Вспоминались бунтующие рабочие.

Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам, крича:

— Стреляй!..

Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились у пулеметов и выпускали в тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.

Явился Обаб. Губы жирные, лоб потно блестел. Он спрашивал одно и то же:

— Обстреливают? Обстреливают?

Капитан приказывал:

— Отставь!

— Усните, капитан!

Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И серый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.

Капитан торопился закурить сигаретку:

— Уйдите... к черту! Жрите... все, что хотите... Без вас обойдемся.

И визгливо тянул:

— Пра-а-порщик!..

— Слушаю,— сказал прапорщик,— вы что ищете?

— Прорвемся... я говорю — прорвемся!..

— Ясно. Всего хватает.

Капитан снизил голос:

— Ничего. Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ни чашек... ни гирь... Кого и чем мы вешать будем!..

— Да я их...

Капитан пошел в свое купе, бормоча на ходу:

— А... Земли здесь вот... за окнами... Как вы... вот пока... она вас... проклинает, а?..

— Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче.

— Мы, прапорщик, трупы... завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде — прах... Сегодня мы закопали человека, а завтра... для нас лопата... да.

— Лечиться надо.

Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

— Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если... работает... А если заржавела... Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а... Ошибся, оказывается... Ошибку хорошо при смерти... А мне тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня ребеночек — Ва-а-алька... И ногти у него розовые, Обаб...

Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут, не куря еще, начал плевать — сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло, и когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый живой сверточек, пищавший на полу.

— Глиста!..

XX

На рассвете капитан вбежал в купе Обаба.

Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.

— Послушайте,— нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.

Обаб повернулся, поспешно убирая спину, как убирают рваную подкладку платья.

— Стреляют? Партизаны?

— Да нет... Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и мутно и обтрепанно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

— Но нет мне разве места... в людях, Обаб?.. Поймите... я письмо хочу... получить. Из дома, ну!.

Обаб сипло сказал:

— Спать надо, отстаньте!

— Я хочу... получить из дома... А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его, прапорщик!..— Капитан стыдливо хихикнул: — А... незаметно этак, бывает... а...

Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

— Вы мне по службе, да! А так мне говорить не смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде...

Прапорщик вытянулся, как на параде.

— Орудия, может, не чищены? Может, приказать? Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права...

Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:

— Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

— Тоска, прапорщик... А вы... все-таки... человек!

— Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый... Онанизмом в детстве-то, а... Ишь, ласки захотел...

— Вы поймите... Обаб.

— Не по службе то.

— Я прошу...

Прапорщик закричал:

— Не хо-очу-у!..

И он повторил несколько раз это слово, и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:

— О-о-а-е-ггты!..

Они, не слушая друг друга, исступленно кричали, до хрипоты, до того, пока не высох голос.

Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:

— Я думал... камень. Про вас-то... А тут — леденец... в жару распустился!

Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко схватил щенка за гривку.

Капитан повис у него на руке и закричал:

— Не сметь!.. Не сметь бросать!

Щенок завизжал.

— Пу-у!.. — густо и жалобно протянул Обаб.— Пу-у-сти-и...

— Не пущу, я тебе говорю!..

— Пу-усти-и!

— Бро-ось!.. Я!..

Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.

Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирал серыми лапками по полу, по серому одеялу. Похож на мокрое, ползущее пятно.

— Вот, бедный,— проговорил Незеласов, и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость. Он заплакал.

XXI

В купе звенел звонок — машинист бронепоезда требовал к себе.

Незеласов устало позвал:

— Обаб!

Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажками капитана.

Обаб сказал:

— Мостов здесь порванных нету. Что у них? Шпалы разобрали... Партизаны... А из города ничего. Ерунда!

Незеласов виновато сказал:

— Чудесно... мы живем, да-а?.. А до сего момента... не знаю, как имя... отчество ваше, а... Обаб и Обаб?.. Извините, прямо... как собачья кличка...

— Имя мое — Семен Авдеич. Хозяйственное имя.

Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жилистый, с медными усами и словно закоптелыми глазами.

Указывая вперед, он проговорил:

— Человек лежит.

Незеласов не понял. Машинист повторил:

— Человек на пути!

Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул какие-то рычаги. Ветер рванул волосы Обаба.

— На рельсах, господин капитан, человек!

Незеласова раздражал спокойный голос прапорщика, и он резко сказал:

— Остановите поезд!

— Не могу,— сказал машинист.

— Я приказываю! Я...

— Нельзя, повторил машинист.— Поздно вы пришли. Перережем, тогда остановимся.

— Человек ведь! Что?

— По инструкции не могу остановить. Крушение иначе будет.

Обаб расхохотался:

— Совсем останавливаться ни к чему. Мало мы людей перебили. Если из-за каждого стоять, мы бы дальше Ново-Николаевска не ушли.

Капитан раздраженно сказал:

— Прошу не указывать! Остановить после переезда! Прошу!..

— Слушаюсь, господин капитан,— ответил Обаб.

Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил капитана, и он сказал:

— А вы, прапорщик Обаб, идите немедленно, и чтобы мне рапорт, что за труп на пути.

— Слушаю,— ответил Обаб.

Машинист еще увеличил ход.

Вагоны напряженно вздрогнули. Пронзительно залился гудок.

Человек на рельсах лежал неподвижно. Виднелось на желтых шпалах синее пятно его рубахи.

Вагоны передернуло железными лопатками площадок.

— Кончено,— сказал машинист.— Сейчас остановлю, и посмотрим.

Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потное тело опахнуло ветром, соскочил с верхней площадки прямо на землю. Машинист спрыгнул за ним.

Солдаты показались в дверях. Незеласов надел фуражку и тоже пошел к выходу.

Но в это время толкнул бронепоезд лес гулким ружейным залпом. И немного спустя еще один заблудившийся выстрел.

Прапорщик Обаб вытянул вперед руки, как будто приготовляясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело покатился по откосу насыпи.

Машинист запнулся и, как мешок с воза, грузно упал у колес вагона. На шее выступила кровь, и его медные усы точно сразу побелели.

— Назад!.. Назад!..— пронзительно закричал Незеласов.

Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвертого вагона его убило.

Застучали пулеметы.

РЕЛЬСЫ

XXII

Похоже, не мог найти сапог по ноге и потому бегал босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лыжи, а тело, как у овцы,— маленькое и слабое.

Бегал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе под ноги, словно сгоняя цыплят:

— Шавялись. Шавялись. Ждут...

И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходившие отряды:

— Сколько народу?

Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему на холме Вершинину:

— Гришатински, Никита Егорыч!

У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый камень. За камнем, на восток, на полверсты — реденький кустарник, за кустарником — желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную могилу без крестов.

— Мутьевка, Никита Егорыч! — кричал лисолицый.

Темный, в желтеющих измятых травах стоял Вершинин. Было у него лохмоволосое, звериное лицо, несушенный долгими переходами взгляд, изнуренные руки. Привыкшему к машинам Пентефлию Знобову было спокойно и весело стоять близ него. Знобов сказал:

— Народу идет много.

И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг исправной и готовой к ходу машины.

— Анисимовски, сосновски!

Васька Окорок, рыжеголовый, на золотошерстном коротконогом иноходце подскакал к холму и, щекоча сапогами шею у лошади, заорал:

— Иду-ут! Тыщ, поди, пять будет!

— Боле,— отозвался уверенно лисолицый с россыпи.— Кабы я грамотный, я бы тебе усю риестру разложил. Мильён!

Он яростно закричал проходившим:

— А ты каких волостей?!

У низкорослых монгольских лошадок и людей были приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями. В гривах лошадей и людей торчали спелые осенние травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у перелетных осенних птиц.

— Открывать, что ли? — закричал лисолицый.— Ждут...

И хотя знали все: в городе восстание, на помощь белым идет бронепоезд № 14-69, если не задержать, восстание подавят японцы,— все же нужно было собраться, и чтоб один сказал и все подтвердили:

— Идти... Сказать всем, всем — слышать.

— Японец больше воевать не хочет,— добавил Вершинин, слезая с ходка.

Син Бин-у влез на ходок и долго, будто выпуская изо рта цветную и непонятно шебуршащую бумажную ленту, говорил, почему нужно сегодня задержать бронепоезд.

Между выкрашенных под золото и красную медь осенних деревьев натянулось, грязное, пахнущее землей, полотно из мужицких тел. Полотно гудело. И было непонятно — не то сердито, не то радостно гудит оно от слов человечков, говорящих с телеги.

— Голосовать, что ли? — спросил толстый секретарь штаба.

Вершинин ответил:

— Обожди. Не орали еще.

Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его животу хотели прикладываться, шипел исступленно Вершинину:

— А ты от бога куда идешь, а?

— Окстись ты, дед!

— Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола-угодник являлся — больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст. А ты пошто народ бунтуешь?.. Мне избу надо ладить, а ты у меня всех работников забрал.

— Сожгет японец избу-то!

— Японца я знаю,— торопливо, обливая слюной бороду, бормотал старик,— японец хочет, чтоб в его веру перешли. Ну, а народ-то — пень: не понимат. А нам от греха дальше, взять да согласиться, черт

с ним — втишь-то можно... свому богу... Никола-то свому не простит, а японца завсегда надуть можна...

Старик тряс головой, будто пробивая какую-то темную стену, и слова, которые он говорил, видно было, тяжело рождены им, а Вершинину они были не нужны.

И он, выливая через слабые губы, как через проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать свое.

— Уйди! — сказал грубо Вершинин.— Чего лезешь в ноздрю с богами своими? Подумаешь... Абы жизнь была — богов выдумают...

— Ты не хулись, ирод, не хулись!..

Окорок сказал со злобою:

— Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатёры тиковые!

Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая слова:

— Ну, так вы как, товарищи?.. Галисовать, что ли?

— Голосуй! — отвечал кто-то робко из толпы.

Мужики загудели:

— Валяй!..

— Чаво мыслить-то!..

— Жарь, Васька!

Когда проголосовали уже, решив идти на броневик, влево, далеко над лесом послышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым громадным веником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по-протокольному сказал мужикам:

— Это штаб постановил — через Мукленку мост наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит к городу. Наши-то сгибли, поди, пятеро...

Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи окапываться.

Вершинин пошел по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив, будто пришив, ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос на запад.

— Чего ты? — спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

— Будут же после нас люди хорошо жить?

— Ну?

— Вот и все.

Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольствием:

— Это их дело. Я думаю, обязаны, стервы!

XXIII

Бритый коротконогий человек лег грудью на стол,— похоже, что ноги его не держат,— и хрипло говорил:

— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком совершенно не считается с мнением Совета союзов. Выступление преждевременно.

Один из сидевших в углу на стуле рабочих сказал желчно:

— Японцы объявили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся. Власть должна быть в наших руках, тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

— Совет союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать...

— Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.

— Пойдут опять усмирять мужиков?

— Ждали достаточно!

Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успокаивал:

— А вы тише, товарищи.

Коротконогий представитель Совета союзов протестовал:

— Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатично, но... Вы уже послали агитаторов по уезду, крестьяне идут на город, японцы нейтралитетствуют... Правда!.. Вершинин пусть даже бронепоезд задержит, и все же восстания у нас не будет.

— Покажите ему!

— Это демагогия!..

— Прошу слова!

— Товарищи!

Пеклеванов поднялся, вытащил из портфеля бумажку и, краснея, прочитал:

— Разрешите огласить следующее: «По постановлению Совета Народных Комиссаров Сибири — вос-

стание назначено на двенадцать часов дня шестнадцатого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года. Начальный пункт восстания — казармы артиллерийского дивизиона... По сигналу... Совет Народных...»

Уходя, коротконогий человек сказал Пеклеванову:

— За нами следят! Вы осторожнее... И матроса напрасно в уезд командировали.

— А что?

— Взболтанный человек: бог знает чего может наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выбирать.

— Мужиков он знает хорошо,— сказал Пеклеванов

— Мужиков никто не знает. Человек он воздушный, а воздушность на них, правда, действует. Все же... На митинг поедете?

— Куда?

— Судостроительный завод. Рабочие хотят вас видеть.

Пеклеванов покраснел.

Коротконогий подошел к нему вплотную и тихо в лицо сказал:

— Мне вас жалко. А без вас они выступать не хотят. Не верят они словам, а человека увидеть хотят. Следят... контрразведка... Расстреляют при поимке,— а видеть хотят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете.

Пеклеванов вытер потный веснушчатый лоб, сунул маленькие руки в карманы коротконогого пиджака и прошелся по комнате. Коротконогий следил ним из-под выпуклых очков.

— Сентиментальность,— сказал Пеклеванов, ничего не будет!

Коротконогий вздохнул:

— Как хотите. Значит, заехать за вами?

— Когда?

Пеклеванов покраснел сильнее и подумал: «А он за себя трусит».

И от этой мысли совсем растерялся, даже руки задрожали.

— А хотя мне все равно. Когда хотите!

Вечером коротконогий подъехал к палисаднику и ждал. Через кустарник видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку. Фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У нее были острые зубы и очень румяное лицо. Слезы на нем были не нужны, неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

— Измотал ты меня. Каждый день жду — арестуют... Бог знает потом... Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватилась за ручку, просила:

— Не пущу... Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Ревком? Наплевать мне на них всех, идиотов.

— Маня! Ждет же Семенов.

— Мерзавец он — и больше никто. Не пущу, тебе говорят, не хочу! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как теснина под ветром; на согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну.

— Не понимаю я вас!..

— Не любишь ты никого... Ни меня, ни себя, Васенька! Не ходи!..

Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:

— Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, магазины запрут.

Пеклеванов тихо сказал:

— Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться: струсил, скажут.

— На смерть ведь. Не пущу.

Пеклеванов пригладил низенькие жидкие волосенки.

— Придется.

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

— Ерунда какая... Нельзя же так...

Жена закрыла лицо руками и громко, будто нарочито плача, выбежала из комнаты.

— Поехали? — спросил коротконогий. Вздохнул.

Пеклеванов подумал, что он слышал плач в домишке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказалось. Возвращаться же было стыдно.

Папирос у вас нету? — спросил он.

XXIV

Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнатошерстой, как меделянская собака, лошади объезжал кустарники у железнодорожной насыпи.

Мужики лежали в кустах, курили, приготовлялись ждать долго. Пестрые пятна рубах — десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи, между разъездами — почти на десять верст.

Лошадь — ленивая, вместо седла — мешок. Ноги Вершинина болтались, и через плохо обернутую портянку сапог больно тер пятку.

— Баб чтоб не было,— говорил он.

Начальники отрядов вытягивались и бойко, точно успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:

— Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?

— Восстание там.

— А успехи-то как? Военны?

Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную усталость, отъезжал.

— Успехи, парень, хорошие. Главно,— нам не подгадить!

Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи. Ждали.

Непонятно-незнакомо пустела насыпь. Последние дни один за другим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами — японскими, американскими и русскими. Где-то перервалась нить, и людей отбросило в другую сторону. Говорили, что беженцев грабят приехавшие из сопок мужики, и было завидно. Бронепоезд № 14-69 носился один между станциями и не давал солдатам бросить все и бежать.

Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:

— Бронепоезд скоро?

Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером и глядел в рот стрелочнику.

Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:

— Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь!

И, указывая на телефон, сказал:

— С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?

— Ничо не поделаешь, коли правда.

Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.

— Правда-то, она и на звезды влезет.

Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к насыпи на длинных российских телегах привезли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал валялись ломы — разобрать рельсы.

Знобов сказал недовольно:

— Все правда да правда! А к чему — и сами не знаем. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить?

— А все-таки чудно! Может, захочем на луне-то мужика построить.

Мужики захохотали.

— Ботало.

— Окурок!

— Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?

— Возьмем!

— Это тебе не белка — с сосны снять!

В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову:

— Скоро ль?

Стрелочник сказал у телефона:

— Не отвечают.

Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома в городе.

— Этот, белобрысый-то? — спросил мужик, рассказывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклеванова, что у него лицо белее крупчатки, и что бабы за ним, как лягушки за болотом, и что американский министр предлагал семьсот миллиардов за то, чтоб Пеклеванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою даром не возьмем».

— Вот стерва! — восторгались мужики.

Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рассказать самому. Вершинин снял сапоги и начал переобуваться. Стрелочник вдруг робко спросил — в трубку:

— Во сколько? Пять двадцать?

Обернувшись к мужикам, сказал:

— Идет!

И словно поезд был уже подле будки,— все выбежали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на восток к взорванному мосту.

— Успеем! — говорил Окорок.

Вперед послали нарочного.

Глядели на рельсы, тускло блестевшие среди деревьев.

— Разобрать бы — и только.

С соседней телеги отвечали:

— Нельзя. А кто собирать будет?

— Мы, брат, прямо на поезде!

— В город вкатим!

— А тут собирай.

Окорок крикнул:

— Братцы, а ведь у них люди-то есть!

— Где?

— У Незеласовых-то? Которые рельсы ремонтируют — есть-то люди?

— Дурной, Васька, а как мы их перебьем? Всех?

И разохотившись на работу, согласились:

— Эта можна... Перебьем!..

— Нет, шпалы некому собирать.

Все время оглядывались назад — не идет ли бронепоезд. Прятались в лес, потому — люди теперь по линии необычны,— бронепоезд несется и обстреливает.

Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали, точно у моста их ждало прикрытие.

Верстах в двух от домика стрелочника, на насыпи, увидали верхового человека.

— Свой! — закричал Знобов.

Васька взял на прицел.

— Снять его. Свой?

— Какой черт свой, кабы свой — не целился б!

Син Бин-у, сидевший рядом с Васькой, удержал:

— Пасытой, Васика-а!..

— Обождь! — закричал Знобов.

Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик с перевязанной щекой, приведший американца.

— Никита Егорыч здеся?

— Ну?

Мужик, радуясь, закричал:

— Пришли мы туда, а там — казаки. Около мосту-то! Постреляли мы их, да и обратно.

— Откуда?

Вершинин подъехал к мужику и, оглядывая его, спросил:

— Всех убили?

— Усех, Никита Егорыч. Пятеро — царство небесное!

— А казаки откуда?

Мужик хлопнул лошадь по гриве.

— Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли. Целой.

Мужики заорали:

— Чего там?

— Провокатор!

— Дай ему в харю!

Мужичонка торопливо закрестился.

— Вот те крест — не подняли. У камня, саженях в триста, сами себя взорвали. Должно, динамит пробовать удумали. Только штанину одну с мясом нашли, а все остальное... Пропали...

Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остановились. Васька с перекосившимся лицом закричал:

— Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город! Братцы!

Из лесу ввалилась посланная вперед толпа мужиков. Один из них сказал:

— Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены, на насыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их немного.

— Туда, к мосту, идти? — спросил Знобов.

Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок.

— Идет! — сказал Окорок.

Знобов повторил, ударил яростно лошадь кнутом:

— Идет!

Мужики повторили:

— Идет!

— Товарищи!—звенел Окорок.—Остановить надо!..

Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на насыпь. Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками, щипали.

Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стонали рельсы — шел бронепоезд.

Знобов тихо сказал:

— Перережет — и все. Стрелять не будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обнажив насыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.

— Идет!.. Идет!..— с криком бежали к Вершинину мужики.

Вершинин и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.

Знобов торопливо, испуганно сказал:

— Кабы мертвой!

— Для чего?

— А, вишь, по закону,— как мертвого перережут, поезд-то останавливается. Чтоб протокол составить... свидетельство и все там!..

— Ну?

— Вот кабы труп. Положили бы его. Перережут и остановятся, а тут машиниста, когда он выйдет,— пристрелить. Можно взять тогды.

Дым густел. Раздался гудок.

Вершинин вскочил и закричал:

— Кто хочет, товарищи... на рельсы чтоб и перережет!.. Все равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут машиниста с поезда снимем! А только вернее, что остановится, не дойдет до человека.

Мужики подняли головы, взглянули на насыпь, похожую на могильный холм.

— Товарищи! — закричал Вершинин.

Мужики молчали.

Васька отбросил ружье и полез на насыпь.

— Куда? — крикнул Знобов.

Васька злобно огрызнулся:

— А ну вас к...! Стервы...

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.

Уже дышали, гукая, деревья, и, как пена, над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пах-

ли шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песка и лег на него щекой. Песок был теплый и крупный.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудели в лесу рельсы...

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

— Самогонки нету?.. Горит!..

Палевобородый мужик на четвереньках приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щек песок, посмотрел: голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы.

Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза как две алые слезы...

— Не могу-у!.. Душа-а!..

Мужики молчали.

Китаец откинул винтовку и пополз вверх по насыпи.

— Куда? — спросил Знобов.

Син Бин-у, не оборачиваясь, сказал:

— Сыкуучна-а!.. Васика!

И лег с Васькой рядом.

Морщилось, темнело, как осенний лист, желтое лицо. Рельс плакал. Человек ли отползал вниз по откосу, кусты ли кого принимали,— не знал, не видел Син Бин-у...

— Не могу-у!.. Братани-и!..— выл Васька, отползая вниз.

Слюнявилась трава, слюнявилось небо...

Син Бин-у был один.

Плоская изумрудноглазая, как у кобры, голова его пощупала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась.

Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами.

Син Бин-у лег.

И еще потянулась изумрудноглазая кобра — вверх, и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец опять лег.

Корявый палевобородый мужичонка крикнул ему:

— Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куда тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син Бин-у вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.

Тело китайца тесно прижалось к рельсам.

Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадратный, и злобно-багрово блестели зрачки паровоза. Серой плесенью подернулось небо; как голубое сукно были деревья...

И труп китайца Син Бин-у, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельс...

СМЕРТЬ КАПИТАНА НЕЗЕЛАСОВА

XXV

Прапорщик Обаб остался лежать у насыпи, в травах.

Капитан Незеласов был в купе, в паровозе, по вагонам. И всем казалось, что он не торопится, хоть и говорил, проглатывая слова:

— Пошел!.. Пошел!..

На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:

— Сичас... нельзя так... смотреть!..

Закипели водопроводные краны.

Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узкогорлый зашиб голову и вдруг от боли закричал.

Незеласов, пригибаясь, побежал прочь.

— Ну вас к черту... к черту...

Поезд торопился к мосту, но там на рельсах за три версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост почему-то казался взорванным.

Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где убили Обаба, были разобраны шпалы...

И на прямом пути стремительно взад и вперед — от моста до будки стрелочника было шесть верст,— как огромный маятник, метался взад и вперед капитан Незеласов.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы были горячие, как кровь...

Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху тяжело раненные партизаны. Они теперь не боялись показаться лицом.

Но тех, кто был жив, не было видно, так же гнулся золотисто-серый кустарник, и в глубине темнел кедр. Временами казалось, что бьет только один бронепоезд.

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фитилей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воздухе.

Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал: «Сами знают!»

И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали издали, и будто костры были широкие, величиной с крестьянские избы. Бронепоезд бежал среди этих костров и на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий. Так, по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев. Капитану казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, а он бежал на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам, а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты вагоны на ходу.

Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:

— Патронов... того... не жалеть!..

И, утешая самого себя, кричал машинисту:

— Я говорю... не слышите, вам говорят!.. Не жалеть патронов!

И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой:

— Главное, капитан... стереотипные фразы... «патронов не жалеть».

Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен?»

Но тут: «Хорошо бы капитану влюбиться... бороду завести в пол-аршина!.. Генеральская дочь... карьера... Не смей!..»

Капитан побежал на середину поезда.

— Не смей без приказания!

Бронепоезд без приказаний капитана метался от моста — маленького деревянного мостика через речонку, которого почему-то не могли взорвать партизаны, и за будку стрелочника, но уже все ближе навстречу, как плоскости двух винтов, ползли бревна по рельсам, а за бревнами мужики.

В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.

Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью на пули, а за стенками из стали уже перебегали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов, вытирая потные груди, и говорили:

— Прости ты, господи!

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И, как за стальными стенками, перебегали с места на место мысли, и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, капитан кричал:

— Сволочи!..

И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук, покрытых гусиной кожей.

Капитан прибежал в свое купе. Коричневый щенок спал клубком на кровати.

Капитан замахал рукой:

— Говорил... ни снарядов... ни жалости!.. А тут сволочи... сволочи!..

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо.

Капитан наклонился к нему и послушал.

— И-и-и!..— пикал щенок.

Капитан схватил его, сунул под мышку и с ним побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капитан.

Но визжал щенок, слабо царапая мягкими лапами френч капитана.

Так же, не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражавшиеся у костров камни, и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.

Капитан чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.

Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз:

— А-а-о-е-е-е-и.

XXVI

Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и окапывались.

Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их домой. Раненые, которые посильнее, ругали баб матерной бранью, а тяжело раненные подпрыгивали на корнях, раскрывали воздуху и опадавшему листу свои полые куски мяса. Листы присыхали к крови выпачканных телег.

Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они ползли, сворачивали к ней и проползали тихо, похожие на стадо сытых, возвращающихся с поля овец.

Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые читал ему толстый секретарь.

Васька Окорок шепнул боязливо:

— Страшно, Никита Егорыч?

— Чего? — хрипло спросил Вершинин.

— Народу-то темень!

— Тебе что,— ты не конокрад. Известно — мир!..

Васька после смерти китайца ходил съежившись и глядел всем в лицо с вялой, виноватой улыбочкой.

— Тихо идут-то, Никита Егорыч; у меня внутри неладно.

— А ты молчи — и пройдет!

Знобов сказал:

— Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжая-то, парень, с перьями.

Васька тихо вздохнул:

— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я царю-то почесть семь лет служил: четыре года на действительной да три на германской.

— Хорошо мост-то не подняли...— сказал Знобов

— Чего? — спросил Васька.

— Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотели разбирать, а тут тебе мост. Омраченье!..

Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял воротник.

— Жалко мне, Знобов, китайца-то! А думаю, в рай он уйдет — за крестьянскую веру пострадал.

— А дурак ты, Васька.

— Чего?

— В бога веруешь.

— А ты нет?

— Никаких!..

— Стерва ты, Знобов. А впрочем, дела твои, братан. Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мне без веры нельзя — у меня вся семья из веку кержацкая, раскольной веры.

— Вери-ители!..

Знобов рассмеялся. Васька тоскливо вздохнул:

— Пусти ты меня, Никита Егорыч,— постреляю хоть!

— Нельзя. Раз ты штаб, значит, и сиди в штабной квартире.

— Телеги-то!

Задребезжало и с мягким звоном упало стекло в стрелочной. Снаряд упал рядом.

Вершинин вдруг озлился и стукнул секретаря:

— Сиди тут. А ночь как придет — пушшай костер палят. А нето слезут с поезда-то и в лес удерут, либо черт их знает, што им в голову придет.

Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги вслед убегающему бронепоезду:

— Не уйдешь.

Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи:

— Ну-у!..

Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и понесла. Знобов, подскакивая грузным телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая Вершинина:

— А ты не гони — не догонишь. А убить-то тебя за дешеву монету убьют.

— Никуда он не убежит. Но-о, пошел!

Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.

Васька закричал:

— Гони! Весь штаб делат смотр войскам! А на капитана етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!

Телега бежала мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали проносящийся мимо поезд, чтобы стрелять.

Бронепоезд с грохотом, выстрелами несся навстречу.

Васька зажмурился.

— Высоко берет,— сказал Знобов,— вишь, не хватат. Они там, должно, очумели, ни черта не видят!

— Ни лешева,— яростно заорал Васька и, схватив прут, начал стегать лошадь.

Вершинин — огромный, брови рвались по мокрому лицу:

— Не выдавай, товарищи!

— Крой! — орал Васька.

Телега дребезжала, о колеса билась лагушка, из-под сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

— Ничего!..

И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вскочил на колени и, махая винтовкой, закричал:

— А дуй, паря, пропадать так пропадать!

Опять навстречу мчался уже не страшный бронепоезд, и Васька грозил кулаком:

— Доберемся!

Среди огней молчаливых костров стремительно в темноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и вперед.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна на насыпи и, медленно

подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил в упор.

Бревна были как трупы, и трупы как бревна — хрустели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревело сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков потом.

Пихты были как пики, и хрупко ломались о броню подходившего поезда.

Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:

— Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали!

Знобов высчитывал:

— Завтра у них вода выдет. Возьмем. Это обязательно.

Вершинин сказал:

— Надо в город-то на подмогу идти.

Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше — земля жалела. Сначала падали десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке бабы. Потом сотни — и выше и выше подымался вой. Носить их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневик продолжал жевать, не уставая, и точно теряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелочника до деревянного мостика через речонку. Потом остановился.

Тогда-то, далеко еще до крика Вершинина: «Пошел!.. Та-ва-ри-щи!..» — мужики повели наступление.

Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца и меди в тела, рвали грудь, пробивая насквозь, застегивая ее навсегда со смертью в одну петлю.

Мужики ревели:

— О-а-а-а-о!!

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды, из их потного мокрого волоса лезли наружу губы:

— О-а-а-а-о-о!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, а не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, отдаваясь у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти на четвереньках, осторожно и почему-то обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел на Вершинина и кричал:

— А ты, Никита Егорыч, Еруслан!

Лицо у Васьки было веселое, и только на глазах блестели слезы.

Броневик гудел.

— Заткни ему глотку-то! — закричал пронзительно Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети: — Господи... и меня!..

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой, желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, как всегда торопясь куда-то. Умер.

Партизаны отступили.

На рассвете приехал Пеклеванов. В портфеле у него лежали прокламации, и одно стекло очков было сломано наполовину.

XXVII

Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаждали у бойниц пулеметы. Были у них робко торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд трясся сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темно-багровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову капитана Незеласова. От висков колю-

чим треугольником — тупым концом вниз — шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

— Мерзавцы! — кричал капитан.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский карабин, и затвор его был удивительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал по вагонам.

— Мерзавцы! — кричал он визгливо.— Мерзавцы!

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было бы похоже на приказание, и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели наступление на поезд.

Через просветы бойниц, среди далеких кустарников, похожих на свалявшуюся желтую шерсть, видно было, как перебегали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки. За кустарниками леса и всегда неожиданно толстые темно-зеленые сопки, похожие на груди. Но страшнее огромных сопок торопливо перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски коры. И солдаты чувствовали этот страх и, чтобы не слышно было хриплого рева из кустарников, заглушали его пулеметами. Неустанно, не сравнимо ни с чем, ни с кем, бил по кустарникам пулемет. Капитан Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купе. Зайти туда было почему-то страшно, через дверки виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу. Капитан чувствовал, что, попав в купе, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот где-то визжавший щенок.

Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить было нельзя у солдат,— такой злобой были наполнены их глаза. Их не подымали с затворов винтовок и пулеметных лент, и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно — убьют. Капитан бегал среди них, и карабин, бивший его по голенищу сапога, был легок, как камышовая трость. Уже уходил бронепоезд в ночь, и тьма неохотно пускала тяжелые стальные коробки. Обрывками

капитану думалось, что он слышит шум ветра в лесу... Солдаты угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело. Какой-то бледноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

— Щенка надо... напоить!..— сказал Незеласов торопливо.

Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

— Н'ах... н'ах... н'ах...

Другой с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно капитану:

— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт...

...Их было много, много... И всем почему-то нужно было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарниках, похожих на желтую свалявшуюся шерсть.

Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть вздрагивая, и не видно было, кто подбрасывал дрова. Горели сопки.

— Камень не горит!

— Горит!..

— Горит!..

Опять наступление.

Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и опять бежит.

— Это наступление?

Ерунда.

Они полежат — эти в кустарниках, встанут, отбегут и опять.

— ...Побежали!..

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев.

— О-о-у-о-о!..

И тонко-тонко:

— Ой... Ой!..

Солдат со впавшими щеками сказал:

— Причитают... там, в тайге, бабы по ним!..

И осел на скамью.

Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы прорвала дыру с кулак.

— Почему видно все во тьме? — сказал Незеласов.— Там костры, а тут, должно быть, темно. И дым: они выкуривают нас дымом, чувствуете?

Костры во тьме, за ним рев баб. А может быть, сопки ревут?

— Ерунда!.. Сопки горят!..

— Нет, тоже ерунда, это горят костры!..

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.

Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.

Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки. А у капитана в городе есть невеста... она теперь...

Карабин становился тяжелей, но надо для чего-то таскать его с собой.

У капитана Незеласова белая мягкая кожа, и на ней, как цветок на шелку,— глаза.

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки женщины влажны от сна...

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

— Туды!.. Туды!..

И какую книгу можно читать в эту ночь?

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов около своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями.

Потом забыл об этом. Многое забыл в эту ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести... тяжело...

И вдруг тишина...

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер. Не нужно помнить все дни...

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачканные в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза — тьма. Ослеп капитан.

— Это от тишины...

И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.

Но тут все почувствовали, сначала слегка, а потом точно обжигаясь,— тишину терпеть нельзя.

Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к дверям.

Тьма! В тьме не видно его поднятых рук.

И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи вагонов бросились к дверям люди. На песке легче держаться. И можно куда-то убежать... Люди задыхались от дыма в стальных коробках... Им душно!

На мгновение стошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках и в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногами капитан почувствовал траву, и колени скосились.

Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса...

...Его, капитана Незеласова, мясо...

«Котлеты из свиного мяса... Ресторан «Олимпия»... Мексиканский негр дирижирует румынским... Осина... Осень...

Благодарю тебя, Россия... мир... все славянство... за тишину... Тишина по всей земле...»

— Кро-ой, бей, круши...

Крутится, кружится, крошится крушина...

Поезда на насыпи нет. Значит — ночь. Пощупал под рукой — волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка, прореха, гвоздем разорвало...

...Кустарник — в руке. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.

Через плечо карабин! Значит, из поезда ушел? Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился пояс с патронами поверх френча.

Чему-то поверил.

Рассмеялся и, может быть, захохотал.

Вязко пах кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул ветвями длинными и мокрыми. Может быть, мокрые в крови...

Дальше прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифе были похожи на колеса телеги.

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо;

— Прикажете выезжать?

— Пошел к черту!

Беженка в коричневом манто зашептала в ухо:

— Идут! Идут!..

Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял карабин и выстрелил.

Но одной руки, оказывается, не хватает. Одной рукой неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не видать... Почему не стрелял в поезде, а здесь...

Здесь один, а ползет... ишь их сколько, бородатые, сволочь, в землю попадают, а то бы...

Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны.

Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, умер.

ПЕНА

XXVIII

В жирных темных полях сытно шумят гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, звенят, грохочут квадратные серые коробки...

На желтой чешуе дракона — дым, пепел, искры...

Сталь по стали звенит, кует!..

Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.

Может быть, дракон китайский из сопок, может быть, леса.

Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.

Гаоляны!.. Поля!

У дверцы купе лисолицый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричит:

— Вот халипа!.. Чисто юбка, а коленко-то голым-голо: огурец!..

Пепел на столике. В окна врывается дым.

Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.

Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмыляется жалобно. Смешной чудачок.

За насыпью другой бог ползет из сопок, желтый, литыми кольцами звенит...

Жирные гаоляны, черные!

Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.

— О-хо-хо!..

— Конец чертям!..

—Буде-е!..

На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими хмельными телами.

Один в красной рубахе кулаком грозит:

— Мы тебе покажем!

Кому? Кто?

Неизвестно!

А грозить всегда надо! Надо!

Красная рубаха, красный бант на серой шинели. Бант!

О-о-о-о!..

— Тяни, Гаврила-а!..

— А-а-а!..

Бант.

Бронепоезд «Полярный» за № 14-69 под красным флагом. Бант!..

На рыжем драконе из сопок — на рыжем — бант!.. На рыжем!

Здесь было колесо — через минуту за две версты, за две. Молчат рельсы, не гудят, напуганы... Молчат.

Ага!..

Тщедушный солдатик в голубых французских обмотках, с бебутом.

— Дыня на Иртыше плохо родится... больше подсолнух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковый... Не знаю — какой народ.

— Про народ кто знат?

— Сам бог рукой махнул...

— О-о!..

— Ну вас, грит!..

— О-о!..

Литографированный Колчак, в клозете, на полу. Приказы на полу, газеты на полу...

Люди пола не замечают, ходят — не чувствуют...

— А-а-а!..

«Полярный» под красным флагом...

Ага!

Огромный, важный — по ветру плывет поезд — лоскут красной материи. Кровяной, живой, орущий: о-о-о!..

У Пеклеванова очки на нос пытаются прыгнуть, не удается, куда-то сам пытается прыгнуть и телом и словами.

— В Америке — со дня на день!

Орет Знобов:

— Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду вел!..

— Изучили!..

— В Англии, товарищи!

Вставай, проклятьем заклейменный...

— О-о-о!..

Очки на нос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак, пулеметы на полу, винтовки, патроны — как зерна, мужицкий волос, глаза жирные, хмельные.

— Ревком, товарищи, имея задачей!..

— Знаем!..

— Буде... Сам орать хочу!..

Салавей, салавей, пташечка,
Канареючка!..

На кровати — Вершинин, дышит глубоко и мерно, лишь внутри горит — от дыхания его тяжело в купе, хоть двери и настежь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий. Рядом — баба. Откуда пришла — подалась грудями вперед вся трепыхает. Настасьюшка. Жена!

Орет Знобов:

— Нашла? Он парень добрай!..

Эх, шарабан мой, американка...

табак скурился,
правитель скрылся...

За дверями кто-то плачет пьяно:

— Ваську-то... сволочи, Ваську — убили... Я им за Ваську пятерым брюхо испорю — за Ваську и за китайца... Сволочи...

— Ну их к... Собаки...

— Я их... за Ваську-то!..

XXIX

Ночью опять пришла жена, задышала-запыхалась, замерла. Видны были при месяце ее белые зубы — холодные и охлаждающие тело — и то же тело, как зубы, но теплое и вздрагивающее.

Говорила слова прежние, детские, и было в ней детское, а в руках сила не своя, чужая — земляная.

И в ногах — тоже...

— А та-та-та!.. Ах!.. Ах!..

Это бронепоезд — к городу, к морю.

Люди тоже идут.

Может быть, туда же, может быть, еще дальше...

Им надо идти дальше, на то они и люди...

Я говорю, я.

Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!

Знаю — и радуюсь... Верю...

Пахнет земля — из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются — он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит — он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он — небо и земля.

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная.

Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить.

Все так надо и так будет — всегда и в каждом сердце!

— О-о-о!

— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

— Ну!..

Рев жирный у этих людей — они в стальных одеждах, радуются им, что ли, гнутся стальные листья, содрогается огромный паровоз, и тьма масленым гулом расползается:

— У-о-у-а... у-у-у!..

Бронепоезд «Полярный»...

Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Байкале небось и на Оби...

Ага!..

Станция.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила, и потому, должно быть, было весело, холодновато и страшновато.

Навстречу пошел Знобов. Сначала была толпа знобовых — лохматых, густоволосых, а потом отделился один.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-русски, нарочно коверкая слова:

— Мий — нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука. И сказал Знобов:

— Нитралитет — это ладно, а только много вас?..

— Двасать тысись...— сказал японец и, повернувшись по-военному, какой-то ненужный и опять весь чужой, ушел.

Постоял Знобов, тоже повернулся и сказал про себя шепотом:

— А нас — мильён, сволочь ты!..

А партизанам объяснил:

— Трусют. Нитралитеты, грит, и желаем на острова ехать — рис разводить... Нам черт с тобой, поезжай!

И в ладонь свою зло плюнул:

— Еще руку трясет, стерва!

— Одно — вешать их! — решили партизаны.

Плачущего, с девичьим розовым личиком, вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи — глазами и губами.

Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу.

— Не ной!..

Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся и, подскочив, как на ученье, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

На койке в купе женщина. Жена. Подле черные одежды.

Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.

Толстому писарю объяснил:

— Запиши!..

Был пьян писарь и не понял:

— Чего?

Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать. Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то как-то...

— Запиши...

И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком написал:

— Приказ. По постановлению...

— Не надо,—сказал Вершинин.—Не надо, парень.

Согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик.

Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказывал:

— Земли я прошел много и народу всякого видел много...

У Знобова золотые усы и глаза золотые — жадные и ласковые. Говорят:

— Откуда ты?

Повел веселый рассказ солдатик, и не верили ему, и он сам не верил, но было всем хорошо.

Пулеметные ленты на полу. Патроны — как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

— А то раз по туркестанским землям персидский шах путешествовал, и встречается ему английская королева...

XXX

Город встретил их спокойно.

Еще на разъезде сторож говорил испуганно:

— Никаких восстаний не слышно. А мобыть, и есть — наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, но и...

Борода у него была седоватая, как истлевший навоз, и пахло от него курятником.

На вокзале испуганно метались в комендантской офицеры, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли рабочие.

Около Вершинина суетился Пеклеванов.

— Нам придется начинать, Никита Егорыч.

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными узкими глазами.

— Нича нету?..

— Ставь пулемету...

— Машину давай, чернай!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфет первого класса разорванное красное знамя.

Рабочие кричали «ура». Знобов что-то неразборчиво кричал. Пеклеванов сидел в грузовике и неясно сквозь очки улыбался.

На телеге привезли убитых.

Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели арестованного попа. Поп что-то весело рассказывал, конвойные хохотали.

На кучу шпал вскочил бритоусый американец и щелкнул подряд несколько раз кодаком.

В штабе генерала Спасского ничего не знали.

Пышноволосые девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке канарейка и на деревянном диване спал дневальный.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей, и по лестницам кверху побежали партизаны.

На полу — опять бумаги, машинки испорченные, может быть, убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили к дивану, где дремал дневальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое, и, не пробежав поло-

вины лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатисто насвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежащего у лестницы трупа генерала. Солдатик в голубых обмотках и бутсах подумал сентиментально, что хорошо б красной подкладкой шинели прикрыть труп героя.

Но герои закопаны в гаолянах...

Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него была английская бомба — было приказано: «В случае чего, крой туда бомбу — черт с ними».

В дверях подвала синело четырехугольное окошечко и ниже — угловатая, покрытая черным волосом челюсть с моргающим мокрым глазом. За дверью часто, неразборчиво бормотали, словно молились...

Солдатик устало думал: «А ведь когда бомбу бросить, отскочит от окна или не отскочит?..»

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая, как дыхание тайфуна, томила город жара. И как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

А в бухте, легко и свободно покачиваясь на зеленовато-синей воде, молчал японский миноносец.

В прихожей штаба тонко и разливчато пела канарейка, и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал на скамейке, хотя столы были все свободны.

Тихо, возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернильницу и хотел позвать кого-то...

...Далеко с окраины выстрелили. Выстрел был гулкий и точно не из винтовки — огромный и тяжелый, потрясающий все тело...

Потом глубже к главным улицам, разрезая радостью сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трамваями... заревела верфь...

Началось восстанье.

И еще — через два часа подул с моря теплый и влажный темно-зеленый ветер.

...Проходили в широких плисовых шароварах и синих дабовых рубахах — приисковые. Были у них костлявые лица с серым, похожим на мох, волосом. Блестели у них округленные, привыкшие к камню глаза...

Проходили длиннорукие, ниже колен — до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих шкур и длинные, густые, как весенние травы, пахнущие рыбами волосы...

И еще — шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихотэ-Алинь с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками.

Еще — тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива Св. Ольги...

И еще, и еще — равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым, ровным, как у усталого стада, шагом...

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровенились потрескавшиеся губы и выпячивался сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами ветер...

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя карандашом в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по-мышиному оглядывающий манифестацию...

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинели, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходивших людей — (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гладок, скользок и неуловим, как рыба в воде.

1922

РАССКАЗЫ

КИРГИЗ ТЕМЕРБЕЙ

Темербей спал на кошме, когда прибежал сынишка и, дергая отца за рукав кафтана, прокричал плаксиво:

— Эый, апа! Лошади нету.

Темербею спать не хотелось, но все-таки он (дабы сын не подумал: сильно, мол, отец беспокоится) повернулся на другой бок и вяло проговорил:

— Уйди! Спать хочу.

Сынишка же плаксиво продолжал рассказывать, что спутал лошадь, пустил в степь, а она порвала путы и убежала. И он тряс плетенными из конского волоса путами.

— Нету лошади, апа.

Темербей полежал, сколько ему понадобилось, затем встал, пощупал жесткие путы и, повесив их на перегородку, сказал:

— Долго воевать русские будут? Штанов нету, брюхо, как арбуз, голое,— тьфу!..

Лошадь, знал Темербей, бродила недалеко, и он решил отправиться пешком, лошадь смирная, и ее можно изловить без аркана. Он подтянул пояс, хозяйственно оглянулся, взял недоуздок и пошел в степь.

Аул Темербея маленький: семь темно-серых, похожих на грибы юрт. У прикольев, полузакрыв розовыми веками влажные глаза, дремали тонконогие жеребята. Пахло кизяком и овцами.

За прикольями — степь; жгущий ноги песок и беловатое, безоблачное и жуткое поэтому небо. День

только что начинался, а жара такая же, как и вчера к вечеру,— и словно не было короткой ночи.

Темербей ходил долго, думал, откуда бы достать чаю, выбирал в уме, какого барана отвезти к казакам для мены,— может, у них найдется чай. А черные зрачки в узких разрезах глаз шарили по степи — нет ли лошади. Одно время он почувствовал под пяткою в сапоге песок, он отставил кривую ногу, наклонил голову, взглянул. Как раз над пяткой у сухожилия ичиг лопнул.

— Тыу!..— недовольно шлепнул губами Темербей.

Он сорвал пучок высохшей травы и заткнул прореху. Срывая траву, он вспомнил, что в степи засуха и что с самой весны (а вот скоро и конец лета) не было дождя. Ему стало тоскливо, и, чтобы скорее вернуться домой, он пошел быстрее.

Он исходил верст восемь, когда встреченный киргиз сказал:

— Темербей! Лошадь твою Кизмет поймал и к тебе отогнал домой.

С Кизметом Темербей давно был в ссоре, и известие такое ему не понравилось.

— Что он обо мне заботится? Сам бы нашел,— сказал Темербей, отходя от киргиза.

Знакомец хотел предложить довезти Темербея до аула, но, видя его недовольное лицо и вздернутые кверху два клочка волос на подбородке, попрощался.

— Кошь!

И слегка тронул лошадь толстой нагайкой. Лошадь весело махнула хвостом и бойко пошла иноходью.

Темербей же досадовал и на Кизмета, и на знакомца, не предложившего довезти. Он, не зная зачем, пошел дальше в степь. Так он прошел с полверсты и успокоился, а как только успокоился, то почувствовал усталость.

Он поднялся на холм и лег в густые кусты карагача. От них ложилась, правда, жидкая тень и пахло смолистостью. Темербею захотелось спать. Он заложил за щеку носового табаку, попередвигал по деснам мягкий ком и скоро почувствовал приятный туман в голове.

— Что мне! — довольным голосом сказал он, сплевывая.

Потом он снял бешмет, свернул его клубочком и остался в грязной ситцевой рубахе и в штанах из овчины шерстью наружу. Он рукой выровнял песок, положил голову на бешмет и, проговорив: «Хорошо!» — уснул.

Проснулся он от конского топота и еще какого-то странного, незнакомого ему звука, словно били чайником о чайник. Темербей взглянул вниз, в лощинку.

К холму, на вершине которого в кустах карагача лежал Темербей, подъезжали одиннадцать человек. Правда, это спросонья показалось Темербею, что они подъезжали,— двое из одиннадцати шли пешком, а один был даже без шапки. В сопровождавших этих двух пеших людей Темербей узнал нескольких знакомых из поселков казаков. Он хотел выйти из кустов и поздороваться, но странный звук повторился.

— Дьрынн!.. Дьрынн!..

Качавшийся в седле казак бил шашкой по стволу ружья и подпевал:

Волга-матушка широка,
Широка и глубока...

Лицо казака — круглое, с маленькими, цвета сыромятной кожи, усиками, весело улыбалось. Ему, должно быть, доставляло удовольствие и собственное пение, и звук, производимый им ударом шашки о ружье.

Разглядывая его, Темербей заметил, что все казаки с ружьями, а двое пеших без ружей, и Темербей подумал, что лучше ему не вылезать.

Люди и лошади спустились в лощинку, и казак с бородой, блестящей и чистой, как хвост у двухлетка-жеребенка, с нашитыми на плече белыми ленточками, сказал что-то по-русски, после чего все казаки спешились. Лошадей увели в степь и спутали там.

Темербей подумал, что, вероятно, хотят варить чай, и ему опять захотелось выйти из кустов, но он подумал: «Почему сразу не вылез? Трусом назовут и будут смеяться».

Он очень уважал себя — ему стало стыдно, и он остался.

Казак помоложе принес две лопаты с короткими, плосковатыми рукоятками, он стукнул их одна о другую, сбивая присохшую на концы лопат глину, после чего передал их пешим людям.

Один из пеших — высокого роста человек, без шапки, в черных штанах, спущенных на сапоги, стоял, широко расставив ноги и насупив бритое с острым носом лицо. Концы штанов были очень широки, и сапоги почти тонули в этих больших кусках сукна. На нем была коротенькая тужурка с блестящими пуговицами, как у чиновника, и на тужурке лежал выпущенный ворот рубахи. Рубаха была из белого холста, а длинный ворот падал на спину, закрывая лопатки, и ворот этот был синий с белыми каемками. Лицо у этого человека загорело тем особенным коричневым загаром, который приобретают люди, впервые приехавшие в Туркестан. Солнце, должно быть, сильно палило ему голову, и оттого он часто поводил выгоревшими, почти белыми бровями и с силой сжимал веки.

Второй был ниже своего товарища, с рыхлым сероватым лицом. Он был курнос, и его толстые губы постоянно, словно нехотя, улыбались. Одет он был так же, как и казаки: в штаны и рубаху цвета осенней травы, на макушке торчала тесная фуражка с полинялой красной ленточкой у козырька.

Казак с белыми тряпочками на плечах отмерил три шага и, топнув ногой, сказал что-то по-русски. Маленький пеший человек подошел и ковырнул лопатой землю там, где топнул казак. Казак отодвинулся и еще топнул, пеший человек опять ковырнул лопатой. Второй пеший, отвернувшись от товарища, держал лопату под мышкой и, почти не моргая, глядел в степь, и непонятно было Темербею, скука или что иное было на его лице.

Остальные казаки лежали и курили, горячо о чем-то рассуждая. По обрывкам киргизской речи, вставляемой время от времени в разговор, Темербей понял, что они говорят о покосе и о том, что старики неправильно роздали делянки покосов. Один казак, заметив пристальный взгляд в степь человека без шапки, поднял кулак и погрозил ему.

Человек без шапки отвернулся и стал глядеть на своего товарища. Маленький человек уже отмерил четырехугольник, и всковыренная черная земля походила на крышку широкого и длинного ящика, брошенного среди зеленой кошмы трав лощинки.

Потом двое пеших взяли лопаты и стали рыть землю. Казаки лежали там же и спорили о покосах.

Казак с белыми тряпочками на плечах сидел в трех шагах от работавших; в руках у него была винтовка, а шапку он положил на колени. Его кирпичное, с редкими усами лицо выражало скрытое удовольствие, словно он в первый раз присутствовал в гостях у какого-то большого чиновника, а с другой стороны — ему, должно быть, очень хотелось домой; надоела эта степь, горячее солнце, и хотелось тени. Он несколько раз взглядывал на кусты карагача, где лежал Темербей, но они были далеко,— шагов двадцать — двадцать пять, и ему не хотелось или нельзя было идти. И он сидел по-киргизски, поджав ноги и положив грубые и грязные пальцы рук на ложе ружья.

Двое же продолжали, низко пригибаясь к земле, рыть. Влажная черная земля с блестящими нитями корней травы отлетала и жирно шлепалась. Уже появился бугорок, а Темербей все никак не мог понять, для чего роется эта яма.

Низенький человек уронил лопату, и высокий, быстро наклонившись, подал ее ему. На курносом лице низенького промелькнуло неудовольствие, что уронил лопату, и радость от услуги.

Высокий далеко отбрасывал землю и, видимо, работал неохотно, так что казак указал ему лениво рукой,— поближе, мол, клади! И Темербей сразу узнал хорошего хозяина — действительно, зачем отбрасывать далеко, если землю понадобится засыпать, только лишняя работа. Высокий же не послушался и продолжал, словно со злостью, далеко откидывать землю. Темербею такое непослушание не понравилось. Казак ничего больше не сказал, и Темербей подумал: «Наверно, работа казенная, раз так к ней относятся».

Низенький же работал лучше. Он не спеша брал полные лопаты земли и складывал их аккуратно,

иногда сверху пришлепывая, и, когда стукала лопата о землю, он улыбался толстыми губами. Скоро он вспотел и, расстегнув ворот рубахи, закатал рукава. Высокий человек скинул короткую тужурку и отбросил ее в сторону. Молодой круглолицый казак, разбудивший Темербея пением, вскочил и быстро схватил тужурку. Торопливость эта показалась непонятной и жуткой Темербею, а казак понес и показывал тужурку с таким видом, словно она стала его собственностью.

У Темербея начинала болеть голова — и от неудобного положения тела в кустарниках, и от солнца, и от непривычки думать так долго. Хотелось к тому же пить, а вылезти — страшно.

Он закрыл глаза, но с закрытыми глазами было еще хуже. Казалось, войдет сейчас в кусты казак и спросит громко:

— Ты что подсматриваешь здесь, Темербей?

Он опять стал глядеть на работу двух людей.

Низенький, должно быть, устал и, вытащив из кармана грязную тряпку, отер ею пот и, как всегда при тяжелой земляной работе, глубоко и часто дыша, поднял голову и оглянулся. Лицо его искривилось болью, глаза покраснели; высокий заметил это и сурово указал на землю: дескать, работай! Низенький перервал вздох и продолжал копать.

Казакам надоело спорить о покосах; они по одному, по двое подходили к яме и, взглянув туда, громко ругались. Темербей понимал русскую брань, и, когда казаки ругались, он думал, что они, значит, недовольны медленно двигавшейся работой. Темербею тоже стало все надоедать, и он хотел, чтобы яму скорее выкопали и ушли, чтобы он мог тоже уйти домой и в прохладной юрте, на белой мягкой кошме, прислонившись спиной к ящикам, выпить чашку или две кумыса, а потом пойти к соседям и рассказать им о виденном. Или нет, соседей лучше пригласить к себе.

Но уж давно там, внутри, плескалась мысль: «А зачем они роют? Для чего? Кому?» А сейчас она поднялась, как река во время разлива, и затопила все. И только, как сучья верхушек из-под воды, одиноко прыгали и дрожали мысли об ауле, скоте, сынишке.

И ружья в руках казаков, и лопаты, царапающие землю, и человек с белыми тряпочками — все как-то сразу соединилось и крикнуло словно в лицо Темербею гнилым словом:

«Убить!..»

Сразу как-то понял это Темербей, а когда понял, стало ему страшно. Он почувствовал себя одиноким и в то же время связанным с людьми, совершающими убийство, а сказать «не хочу» — не было силы И показалось Темербею, что он словно ест дохлятину, и даже начинала щекотать горло тошнина.

А двое «кызыл-урус», красные русские, продолжали работать.

Уже низенький ушел по пояс в землю, а так как двоим в яме работать было тесно, то человек без шапки встал на краю ямы и глядел в степь поверх холмов и кустарников. Темербею было виднее с холма, он подумал, что высокий, наверное, ждет кого-то из степи: Темербею стало жалко их, и он, в тайной надежде увидеть кого-то там, взглянул.

Никого.

Серела редкая полынь кустарника на розовом песке. Глубоко и жарко дышало цвета жидкого молока небо, и горячий воздух был почти уловим глазом.

А высокий человек все смотрел и смотрел, словно хотел улететь глазами в степь. И Темербею было боязно глядеть на его крепкое тело, на загорелое, похожее на заношенное голенище, лицо.

Казак выругался, и высокий человек прыгнул в яму сменить уставшего. Рыхлый пеший, тоже взглянув в степь, отвернулся. Он присел на выброшенную землю, и лицо его, словно по принуждению, жалобно улыбнулось.

Казак с белыми тесемками на плечах крикнул по-русски. Остальные казаки, вдруг став сразу серьезными, вскочили, схватили ружья и выстроились в ряд, как жеребята у аркана приколья. И видно было, что стоять так и слушаться тусклого здесь крика старшего казака было им приятно. Они понимали, что скоро уедут, и лежать здесь на жаре им надоело.

Услышав крик и движение, работавшие выскочили из ямы, и высокий с силой отшвырнул лопату в сторону, так что она врезалась ребром в землю. Они

почти одновременно взглянули друг на друга и стали на краю ямы.

«Убьют»,— подумал Темербей, и ему стало стыдно знать по именам и лицам этих казаков и думать, что придется еще где-нибудь встретиться. Он, сгибая хрупкий кустарник, старался плотнее прижаться к земле. Сердце у него билось так, что казалось, стук его отдается в земле, а телу стало холодно, и голова болела, словно был самый лютый мороз.

Под руками Темербея хрустнул сучок, он весь расслаб и с открытым мокрым ртом глядел, как против двоих встали с ружьями восемь и как один самый старый встал в стороне и приготовился кричать, одергивая рубаху.

Высокий протянул руку низенькому, и тот, подержав ее, как-то нехотя опустил и отвернулся. Высокий дернул подбородком, как дергает лошадь, оправляя узду, и сделал шаг вперед. В это время старший казак закричал, а как только он закричал, восемь казаков выстрелили разом, и Темербей зажмурил глаза. Ему показалось, что выстрелили в него, и он даже ощутил большую боль в плече.

Когда он решился взглянуть, пеших уже не было, а двое казаков засыпали лопатами яму, но им надоела скоро эта работа. Они взяли лопаты и, очищая землю о подошвы сапог, подошли к лошадям и поскакали догонять уехавших в степь казаков.

Темербей долго не выходил из кустов, но вот поднялся, спустился с холма и подошел к могиле, оставляя на влажной земле следы шагов.

Убитые были почти засыпаны землей, только торчала из земли кисть руки, должно быть, человек упал на спину и вытянул кверху руку. Рука эта была белая, с желтоватым отливом, и у большого пальца на ссадине темнело пятно крови.

Темербей наклонился, чтобы хотя как-нибудь засыпать могилу, но, едва он дотронулся до земли, как вспомнил эту белую руку с длинными пальцами, отскочил от могилы и почувствовал, как непослушные, вдруг вспотевшие ноги, быстро подгибаясь, понесли его в степь. Он бежал, и в то же время его всего охватывало ощущение чего-то большого, неясного,—

сознание, что самое страшное начнется сейчас, что у этой могилы он похоронил прежнего, давешнего, тихого, спокойного киргиза Темербея...

1921

КАМЫШИ

I

Солнце в камышах жирное и пестрое, как праздничный халат ламы. А тина — зеленая водяная смола — пахнет карасями.

И рукам моим хочется плыть,— под камышами, по тине,— лениво разгребая густые и пахучие воды.

Но я не плыву. Этот единственный день я отдал своему телу, и руки пусть лежат на траве спокойно

Вот комар опустился ко мне на бровь; я чувствую, он расставил тонкие, как паутинка, лапки и медленно погружает в меня свое жало. Я ему сегодня не мешаю, я закрываю накаленные солнцем веки и считаю, сколько раз шипящий у моего уха лист травы коснется моих волос.

— Четыре... семь... восемь...

Если чет — меня убьют, если нет — убегу. В поселке атамановский отряд, и станичному приказано меня выдать. Выдаст ли?

— Двенадцать... тринадцать... пятнадцать...

Ерунда! Трава отбежала от моих волос, но я не верю. Я говорю ей:

— Шестнадцать!

И пригибаю ее к своей голове. Она сердится. Сломана.

Зеленоватая гагара, раздавливая воды сапфирной грудью, выплывает из протока. Она медленно опускает в воду синий клюв, перья у нее на шее редеют, тело жадно вздрагивает,— она кого-то нашла.

Здесь я сгоняю комара с брови и лениво смотрю, как, колыхая алым брюшком, наполненным моей кровью, он летит.

И в жилы мои вползают такие ленивые и тягучие воды. Сердце плывет далеко — жирный и зеленый карась. Больше всего нагрелись колени и лоб — три моих паперти.

Мысли мои идут, как монахи со свечами, медленно. Вдруг один за другим падают на руки черные капюшоны, и усатые загорелые рожи громко хохочут. Это когда я подумал о папертях.

Я глажу колени и лоб. Смеюсь.

Лама в пестром халате, похожем на солнце в камышах, говорил мне у развалин Каракорума:

— Жизнь человеческая — как камни. Ветры проходят, и остаются пески. Здесь жил Батый и Тамерлан, тебе чего нужно?

Я рассмеялся почтенному ламе в его узкие губы.

— Я иду с одним ослом и Батыем и Тамерланом не буду, а любви у меня больше тебя и больше их...

Осел, широко расставив тонкие и пыльные ноги, отвесив губу, мычал через нос. А на губе у него сидела сизая муха. Такая же муха сидела на халате ламы и у меня на плече.

Мы, выпив молока, пошли дальше, а лама остался размышлять о Батые, Тамерлане и о камнях, превращающихся в пески.

Почему я вспомнил о ламе?

Не знаю, может быть, солнце, лежащее в камышах, похоже на его халат.

От плеча до локтя в тело вдавливается палка, но мне не хочется ложиться на спину. Палка эта гнилая, и к тому времени, когда мне крикнут, она будет раздавлена. У ней — я помню — бледно-сероватая с тоненькими узелками кора,— может быть, береза. Я вспоминаю холодный березовый сок — его весной хорошо тянуть через соломинку. Земля еще холодная, но ветер тугой, теплый, гнет шею; березовый ствол дрожит от верха до черной коры корней, дрожит, отдавая свои соки. Дальше я вспоминаю березовую луку своего седла и опять смеюсь:

— Нет, атамановцы меня не поймают!

Зеленая клейкая влага трав на моих ладонях, она заклеивает те дороги, по которым прошла моя жизнь, и рука моя похожа на лист, пальцы, как жилы, и у их основания серые мозоли от вожжей. Кто много едет, тот знает куда!

Так идет время. Все неподвижнее и тяжелее вдавливаются в землю воды. Камыши прямеют, тянутся кверху, напряженно звеня листьями. Рыбы отрывают-

ся от дна, всплывают, их плавники в зеленоватой воде похожи на желтоватую пыль. Мне кажется, я вижу их мутно-алые сонные зеницы, рыбы подплывают к солнцу, чтобы пробудиться. Я ложусь затылком на теплые ленты травы, и лицо мое обращается к небу Оно все такое, как и тогда, когда меня не было,— и, может быть, поэтому я не люблю на него смотреть. Здесь у меня каждый год рождаются листья, и земля — тучная и широкая — любит меня по-своему.

Опять я гляжу, как воды поглощают время. Руки мои тянутся к ним ударить широко и звонко в сонную муть, чтоб эти широкие рыбы испуганно метнулись по озеру и вдавили б в свой мозг, какое оно, их царство маленькое.

Нужно ли это?

Сегодня будем думать, что не нужно.

Я кладу руку на траву и стараюсь пальцами узнать ее цвет. Я закрываю глаза, у меня ясно мелькает: мягкая, длинная, пахучая полоса — зеленая, у́же, жестче — зеленовато-желтая, а вот эта, почти круглая,— красная.

Я открываю глаза— круглая красная трава.

Нужно помнить — осень. В пальцах у меня круглая красная трава. Я ее ломаю и говорю:

— Осень.

Камыши темнеют. Они как нити, соединявшие облака и землю. Они как перегородка, закрывающая хозяина, перегородка в большой юрте.

Тело мое устает. Я подхожу к водам и умываюсь. Капли с моих рук тихо и тягуче, как мед, медленно всасываются озером.

В камышах свистят. Широкое копыто звучно чмокает у кочек. Я опускаю челюсть, рот у меня выпрямляется, и губы нарезают свист:

— Ссссс... сссс...

В камышах харкнули. Мягко шевеля крылом листья, взлетает над моей головой птица. Человек смеется:

— Чтобы те язвило!

Я вспоминаю палку, на которой лежал. Давлю ее каблуком.

— Лукьян, ты?

— Я, парень; птица, чтоб ее трафило, прямо в нос хвостом. Ну, ты как?

— Готов.

Он наклоняется и, откинув гриву, шлепает коня в потную шею; вытирает пот о голенища и говорит:

— Садись рядом. Ишшут вас здорово, найдут — кончут. Там, подале, я лошадь оставил, в аул Бикметжанки поедешь, знаешь?

— Нет. Где он, аул? Не знаю.

— Ну? Прямо валяй через степь, на солнце. Найдешь. Твои все тамотка, ждут.

II

Через степь — на солнце.

Через степь — на радость.

Через степь — вперед.

Пройдем и проедем степи. Пески превратим в камни. Камни — в хлеб.

Веселых дней моих звенящая пена,—

— Будь!

1922

ЛОГА

I

Уйдет она на пригон, в предбанник, скинет рубаху, смотрит на себя: плотно прижалось мясо к кости — алое, как калина, и пахнет крупным осенним мхом.

Скажет она горестно:

— С чего оно в тоске? Зачем?

А небо белое-белое, белее молока. Земля снизу его поджигает, дышит на него прелым духом.

Люди вокруг огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбитые. Ходят по полям победителями, высовывая из бород насмешные улыбки. Они покойны!

Хотя б муж ее Петр — у него черная, точно унавоженная борода, — земля, сто лет не паханная.

И говорит, точно корни корчует:

— Нонче, паря, урожай! Бог послал!

Иль дед Емолыч — хан казанский. Лыс, как курган, хитер и слово бережет, словно клады земля Молчит.

Бешмет у него киргизский, пестрый, на ногах ичиги, и не ходит — летает человек. Лошадь у него иноходец; трашпанка —легка, будто из бумаги.

И все дань из города привозит.

Привезет, в сундук, жестью цветной обитый, складывая, улыбается лысиной. А лицо, как темя, неподвижно.

Петр говорит ему:

— Пушшай бунтуют. У нас земля удойная, а город, ён все припрет сюды. Им бы бунтовать.

Идет Аксинья мимо мужа; в глаза ему посмотрит — как колодец степной, сух и темен глаз А ночью, когда жмет ее, давит и зыбко дышит на ее тело,— закрывает она глаза. Тогда ей совсем страшно.

Шла бабка Фекла по пригону: яйца курица несет несуразно в этом году — искала. Шарила прелую землю, навоз сухой и едкий, сено. Шебуршала, как сеном, губами:

— Ребятишки, баю, в Расее-то без ног родятся Ксинь, а?

— Не знаю.

— Ничо народ ноне не знает! Ране хоть старова слушались, теперь вот своим умом зажили. Слякотной народ.

— Тошно мне, баушка!

— А ты Миколе Мирликийскому да Пантилимону свечку вверх ногами поставь. Сглазили, усю Расею антихрист сглазил!

И опять зашарила руками, зашебуршала сеном

— Силы у меня нету, в бор бы не то пошла. Иди хоть ты, Ксинь.

— Видьмедя там я не видала, что ли?

— Гриб собирай! В городе-то заместо хлеба гриб жрут, провалиться им совсем! Собрала бы вот да на платье бархатно выменяла, а то на шелково, а?..

— Куды мне шелка? Скука.

И дом огромен, темен, как из камня рублен. Пахнет вечным сиплым хлебным духом. Все лето окна настежь— не выходит дух.

И все село такое огромное. На версты — в лесу, в хлебах.

Из города, как начался голод, приходили тощие, с широкими пустыми мешками, просили.

— Бог подаст! — отвечало село.

Не стали приходить. Собакам скучно, лаять не на кого. Да и приходившие завидовали им:

— Собаке на день скармливаете больше, чем нам на неделю дают.

— А ты не бунтуй!

И лохмоногие псы рвали сапожонки уходивших. Тоска и широта.

II

Желтым вечером — с юга дул песчаный ветер — из степи приехали киргизы.

Скрипели высококолесые тяжелые арбы. В них на тонкой протершейся кошме лежали тесно тонкие, как жерди, сухие люди.

Лупящаяся кожа пластами, как алебастр, прорывала острые кости. На рваных овчинах, закрывших тела, густым слоем надуло песок.

— Нан хлепа, нету чок...— говорили они.

Голоса их были, как ветер в курганах,— свистящие и одинокие.

— Хлеба нету!..

Мужики широко, крепко втискивая в землю босые ноги, покрытые пыльным волосом, смотрели на лишаи и струпья. Отходя, говорили про киргизов:

— Не выживут...

Петр сказал киргизам:

— Проезжай!

— Нан нету!.. Хлепа нету...

Ветер вырывал из прорех халатов клочья шерсти Из малахаев тоже ползла верблюжья шерсть А верблюды, тощие, с вяло повисшими горбами, были голы, и кожа их морщилась, как солнце в засуху

Петр встретил Аксинью в воротах и молча посторонился.

Дед Емолыч шел за ним и, улыбаясь лысиной велеречил:

— Я им на хлеб, баю, меняй верблюда-то! Не хочут, халипы Мало даешь, грит, а? Пуда пшеницы ему, немаканому, мало за верблюда.

— Гнать их — и больше никаких.

— И то гнать. Чуму припрут!..

— Ты в город-то когда торговать?

...Киргизы сидели на траве подле арб.

Курчавый казак Сенька Убычев резал сделанным из литовки ножом толстые ломти хлеба. Один за другим, не спеша, кидал ломти на траву.

Киргизы жадно хватали с земли хлеб вместе с травой. Жевали всем телом — плечами, грудью, ногами.

Курчавый подбрасывал ломти, кричал:

— Лопай, ну!.. Ешь досыта, ешь...

Лежавшие же в арбах молчали, и остро выдавались под грязными овчинами их груди.

Киргизы, хватая ломти хлеба, благодарили:

— Щикур, Санка, щикур. Спасибо.

Скотина на Иртыше пила теплую воду, обмакивая в струю пыльные морды. С морды по шерсти текла вода, и глаза у скота были тоже как огромные темные капли.

А курчавый Сенька Убычев все резал и резал хлеб.

— Лопай! Бог один, вера разна! Ешь.

— Берна, берна!..— бормотали киргизы.— Берна

Заметил Аксинью.

Выцветший, как ковыль, волос подняло ветром с его широкоскулого лица. Открылись глаза — голубые, большие,— как мокрое блюдечко.

— Чего ты? — спросил он.— Зачем пришла?

А у ней зарумянилась улыбка, сошла с лица на высокую, как старинное крыльцо, грудь. Во всем теле отдалось радостным холодком.

— Ничего, парень!..

Ушла, приминая траву, и трава увядала под ее ногой. Думала: «Есть на земле еще жалость».

...А фиолетовой душной ночью, крадучись, нагребла из сусека мешок зерна. Пригибаясь к редкой

травке, упираясь пальцами в теплый песок, еле-еле донесла мешок до каравана.

Здесь обнял голову запах кизяка и айрана. Залаяли шепотом голодные киргизские собаки. Не выдержала. Опустила мешок, убежала.

Киргизы подняли мешок, спрятали.

III

Лога заковали село кольцами темной жирной земли — не то свадебные кольца, не то острожные. Трава в логах — скот плутает, молоко приносит из них густое, как сметана, и сладкое, как мед.

Гриб — огромен и ядрен. (Атаман Черняев в былые годы, сказывали, царям в подарок посылал. Но у царя внутре для гриба кишка переварная не годилась, и поедали гриб митрополиты. Атаману Черняеву же лента брильянтовая подарена за грибы была.)

Через лога дорога извилистая по кустам и березняку на юг...

Дорогу трава заедает. И заела бы, кабы не киргизы и не дед Емолыч — они по ней в город ездят

И жмут дорогу лога — колею украсили чертополохом. Синий колючий чертополох за колеса цепляется.

Стала уходить Аксинья в лога, будто скотину разыскивать.

Идет она березняком, боярышником — кажется, что запах его за платье цепляется, в волос лезет. А перед глазами дорога — убогая, тонкая, как киргизы те на арбах, голодные.

Цепляются мысли за дорогу, как чертополох за колеса, сердце в горькой и едучей полыни сохнет:

— Господи... Где же люди-то? С жалостью...

Идет Аксинья, томится.

— Господи! Может, и твой глаз спален, как эта вот степь-то? А?.. В городах-то, бают, землю гложут, камень, сухой да твердый... А и то по правде жизнь переделывают... Пошто так-то, господи?.. Здесь-то эвон на полземли распахнуло хлебами-то... Через леса прут, пашня ен мала... А людям жадно, все жадно... Хамство ты наше окаянное!..

...Курчавый Сенька,— один только, красным лампасом штанину окрасив, изогнулся, стоит поодаль, киргизам ломти широкие бросает. А глаз у курчавого голубой жалобный...

Идет Аксинья, под кусты склоняется.

Пахнет боярышник ее сердцем, ее тоской, а лога жадные влажно дышат, прижимают к себе травы, колки березовые, чудесные подарочные грибы...

Пьет сердце и он, курчавый. И еще дорога, попираемая травами. И пески с голодными киргизами, а больше всего он — город... Посмотреть бы, какова там жизнь?

Идет Аксинья, плачет:

— Господи! Может, и твой глаз спален, не видишь!.. Где они, очи твои, господи!

Обнимает трава-лепетун ноги. Обнимает голову боярышник, ягоду тяжелую и мягкую на темя роняет. Утки крякают в травах.

— Спален, может, господи?..

Молчит господь, онемел. Непонятно глух. И только лога говорят слова жадные и немилые.

IV

Встретил курчавый Аксинью за селом, глаз его голубой плывет, тает в небе.

— Гуляете, Аксинья Семеновна?

— Скотину сбираю... Скот в логах.

Стоит он у боярышника, куст тоже курчавый — ягода мягкая... «А какие у курчавого губы?..»

Потупилась Аксинья, а потом подняла неспешно глаза, темно на душе стало у курчавого, темно и жутко, как в самом темном логу.

И разошлись они. Она в лога. Он в село.

А на другой раз — сел напротив, в травы.

— Торгует муж-то? — спрашивает. На губах — хмель: не то смеется, не то завидует.— Торгуют ваши-то?

— Наши-то?

— Ну?

— В городе, меняют. Обида ведь это, Сеньша! Ведь на голоде наживаются!

— И Петр?

Вспомнила она Петра — его черной земли бороду. Ноги тяжелые, прямые, как деревья, шагают. И на груди как после надсады... и на память дед Емолыч, хан казанский... Жадность какая!..

Хохочет курчавый.

— Что ты, Александр Григорич?

— Чудной народ, прямо не поймешь!

Аксинья говорит:

— У меня душа гниет, Александр Григорич, и не пойму никак... Сомневаюсь...

— В хозяйстве непорядок?

— Да нет!..

— Бабушка, Фекла-то, должно, стерва?

— И она ничо. Другое.

— Пошто, а?

— Болит, места нету... Не найду...

Курчавый ухмыльнулся и ногой пошевелил.

— Это бывает... Тело...

Пошло у него лицо ходуном. Руки затряслись, помокровели губы.

Положил руку свою к ней на колени. Обратно взять сил нет...

...А потом так же, как и Петр, брызгая слюной, давил и мял ее тело. И так же, как Петр, откинулся прочь, потно задышал в небо.

...Сорвала Аксинья пучочек травки и легонько на глаза ему положила.

Горячий у ней голос — радость тушит его,— ничего не выскажешь.

— Трава-то, вишь... сохнет... милай!

Курчавый утомленно повернул лицо набок и сронил траву.

— Листопад, потому оно и... сохнет.

Вздохнула Аксинья, глянула из лога вверх, по скату. Травы вновь по-весеннему подымаются, хоть опять коси. За небо березка уцепилась, дрожит:

— Уйдем мы, Сенька, с тобой!..

— Куды?

— Жадный народ, боюсь я!.. Душа у меня гниет... Не могу, уйдем... а ты добрый.

Поднялся курчавый, расставил ноги так же, как

расставляет их Петр. Медленно опуская голову, сказал спокойно:

— Ты коли с мужика своего тоскуешь — плюнь. А бить будет, уйти от него завсегда можно, ноне закон легок. Ехать-то, конешно, можно, а куды?.. Некуда ехать, да!.. Да и хозяйство у меня.

Погладил шею, сплюнул:

— Ты вот у мужика спроси: у него на пригоне бревна валяются, не продаст ли?.. Рубить народу не найдешь, да нонче какой работник пошел, знаешь сама...

— Не пойму тебя я, Сеньша, шутишь? Рубить?

— Дом рубить буду!

И тут от слов тех опять накатилось под душу, затомило тело. Забилась опять внутри горящая береста — сердце. Вскрикнула, полоснулась душой она:

— А киргизы-то?.. Сеньша!.. Киргизов-то кормил?

Захохотал курчавый.

— С киргизами-то, Аксинья, потеха-а!.. Дай, думаю, покормлю их всласть, наголодались. Взял у матери булки-то и давай их напихивать. Лопай! И верна, ведь трое подохли... Обожрались, немаканые, а?.. Ловко я сыграл, а? — Заглянул ей в темный — как глубокий лог — глаз и ничего, не дрогнул.— Завтра у меня гости будут, воскресенье... Ты в понедельник сюда приди. Ладно? А с немакаными ловко!

Ушел курчавый.

...Ударилась Аксинья в землю, заголосила.

Чертополох попал под грудь, переломился. Отдернулись под телом травы, и, хрустя, как травы, ломалось в груди...

А сумрак зеленый нашел лога. Убрал травы, тупо пахнувший боярышник и одинокую, хилую, заглоданную травами дорогу через лога, на юг...

1922

ПОДКОВА

I

Перемеченные огнем снарядов — красные, кроваво-красные и тяжелые,— низко обламывались облака над городом. Невнятные гулы шли по деревянным

тротуарам, между досок их — мокрая, седая осенняя трава. Люди в узких деревянных щелях домов; слышен шепот:

— Через Сусловицу перешли...

— Сначала коммуну бить... начнут...

— Говорят, всех прощают, только масштабы их признавай...

— Какие масштабы?

— Господи, а мы-то при чем?..

В этот вечер, когда калечили облака желтые — пахнущие углем и серой — снаряды, когда солнце в маслянистой крови — как незарубцованная рана, уездный кузнец Василий в горне варил картошку. Был он подслеповат — не от кузнечной, а от портняжной работы; от болезни глаз и в кузнецы пошел.

Кузница была под горой — «на подоле»; ниже — город; выше, на горе — кладбище. Почему кладбище на горе, а не город — неизвестно. Живым и так весело, а мертвецу с горы лучше видно: может быть, так думали?

Подручный Ерошка — кузнец всех подручных Ерошками звал — качал мехи. Голосенко у него какой-то подтянутый, словно пищали мехи или скрипела сухая кожа. Грызя полусырую картошку, махал он тонкой, как ремень, рукой и спрашивал:

— А обозы белу муку скоро повезут? Утикают...

— Муки белой не полагается, муку белую едят белые, а нам надо исть муку черную.

Кузнец погнул в пальцах изржавевший жестяной обручишко, изорвал его в куски и бросил в угол. Обошел вдоль стен, выглянул, вдохнул сладковатой сырости и захлопнул торопливо дверь.

— В городе-то — тьма, даже в тюрьме огня нету Ты картошку не проследи, уплывет... Белые поди сегодня придут, надо б домой идти. Пущай здесь убивают, одна могила, да и та хоть своя, а?.. Всех трудящихся чересчур, говорят, убивают. Возьмут нас, Ерошка, да и повесят вот тут, в станке на перекладинах, где коней куем.

— А за ноги вешают? У которых шея поди тонкая, не выдержит, дяденька?

— Проси — повесят за ноги.

— А на том свете в рай попадем?

Василий оттянул котелок, щеточкой попробовал картошку. Седоватая бороденка отсырела и запахла табаком. Ему захотелось курить, он поскоблил в карманах.

— А на этом свете в рай хочешь?

— Хочу.

— Давай табаку, дорогу расскажу.

Ерошка выпустил ремень меха и сказал медленно:

— Я некурящий.

Подумал и, подхватывая ремень, кашлянул тихонько:

— У нас, дяденька, парнишки порешили в бога не верить.

— Ишь!

— Большевики в бога не верют... Кипит!..

— Кипит. Доставай.

В крестах, на горе, ухнуло и посыпало мелким треском.

— Бонба,— сказал боязливо Ерошка.

— Ешь, пока картофель горяча.

А сам кузнец не стал есть. Разломил, понюхал: пахнуло сыростью. Отложил. Поднялся и вдруг, ссутулясь, накрыл корчагой угли в горне. Ерошка зачавкал медленнее:

— Темно, дяденька.

Василий стоял у дверей. Ржала где-то далеко лошадь; по дороге неустанно шел ветер. У станка для ковки, подле кузницы, свистела, как бич, веревка... Кузнецу стало холодно, он вспомнил, что у воротника рубахи нет пуговиц. Тоненько пискнул в углу Ерошка:

— Дяденька, темно... Пойдем в город... тут крысы...

Обстрел, должно быть, кончился. Щели дверей расширились.

Запах угля отяжелел.

Здесь, от станка для ковки, глухо и медленно позвал голос:

— Хозяин!

II

Ерошка для чего-то задергал ремень мехов; метнулась зола в очаге. Василий хотел было промолчать, но туго потер загривок и хрипло крикнул:

— Чего ты-ы?..

— Хозя-яин... — протяжно и густо позвал голос.

В распахнутую дверь сразу, под бороду и на потную грудь, хлестнуло холодом.

У станка, фыркая и звеня уздой,— лошадь. Выше ее — темный, широкий голос:

— Подковы есть?

Звякнуло стремя, мягко осела земля под пятой.

— Кузнец?

Василий порылся в карманах, сплюнул и, ленью голоса стараясь преодолеть дрожь, сказал:

— Покурить нету?

— Огня давай.— Потом, расстегивая одежду должно быть, медленнее добавил: — Коня куй.

— Откуда ты?

— Куй.

Человек стоял поодаль; дыханье у него было медленное. Тонко, прерывисто запахло кислым хлебом.

«Крестьянин»,— подумал радостно Василий и, стукнув кулаком по бревну станка, твердо выговорил:

— Ерошка, дуй уголь.

Василий подошел к станку.

— За ночную работу берем вчетверо. От ночной работы у меня глаз сочится, оттого ремесло переменил. Опять, кто ночью кует? Лошади спать надо. Каков размер копыта?

Так же, словно роняя грузный мешок, повторил тот:

— Куй.

Огонь в горне поднялся, и отблеск переломился в синей луже за дверью. Огромное и теплое, лежало копыто перед Василием, как темное блюдо. Волос от копыта шел длинный, жесткий и седоватый, пахнущий прелой соломой. Ерошка, стукая пяткой по ящику, тащил подковы. И вот, перекидывая железо, набивая ладонь едкой ржавчиной, стал выбирать Василий подкову. Одна за другой, в связках, в одиноч-

ку, старые, стертые, блестящие, и совсем шершавые, и новые, еще пахнущие огнем, ложились подковы на кочковатую ладонь и звякали, падая обратно в ящик. Не то! От старых битюгов, давно, еще до войны, возивших барские клади, уцелело шесть пар, валялись они в углу. Ерошка вытащил их, свистнул и подкинул угля в горн — чтобы было светло. И эти — не то! Лежали они, словно кольца, на ладони.

Человек, сошедший с лошади, звякнул чем-то позади станка. Василий обернулся и поглядел на него.

Тоненькой ниточкой на огромном куске солдатского сукна блеснула винтовка. Ушастая островерхая шапка с пятиконечной звездой оседала на широкий лоб.

Василий поспешно спросил:

— Какой губернии?

— Я-то?.. Муромской.

Василий обежал кузницу; запнулся за подвернувшийся обруч, откинул его в угол. Подбросил для чего-то угля в горн, махая над углем куском железа, крикнул:

— Нету подходящих подков! Нету!

Звякнула тяжелыми кольцами узда.

— По коню куй.

Человек, сошедший с коня, огромным грузным шагом отошел куда-то в темень, и оттуда раздалось:

— Куй.

Раскаляя железо, Василий над искрами его хотел было охнуть, пожаловаться, а засвистел, заскрежетал молотом:

— И-их!.. И-их!.. Ирошка-а!..

И Ерошка вился худеньким телом: тоже под искрами, под молотом рвал мехи, в горн надавливал воздух, потел, попискивал:

— Их, дяденька-а! Их...

И только тогда, когда подкова лежала, как темновато-алая ржаная булка, крикнул Василий:

— Туда, что ль, на них?..

— Прямо! Куй.

— Кую! И-их!.. Пря-ямо?

— Прямо.

— И-их!..

Лошадь дышала тепло, прямо в затылок Василию. Человек в островерхой шапке так и не показывал лица.

Шлепая, разрезая грязь, прошел в гору обоз.

Хотел Василий пожаловаться, рассказывать долго и правильно, чего он, кузнец Василий, хочет. Конь, словно лопатами, откидывал подкованными копытами звонкую пахучую грязь. Седло под рукой Василия — теплое, ласковое.

Он сказал, указывая на гору:

— Город-то надо сюда перенести.

Из тьмы опять, как грузные пласты земли, последний раз упало:

— Перенесем. Обожди.

1922

ДОЛГ

I

Карта уезда в руке легка и мала, словно осенний лист. Когда отряд скакал рощами,— листья осыпались, липли на мокрые поводья. А разбухшие ремни поводьев похожи на клочья грязи, что отрывались от колес двуколки, груженной пулеметами.

Фадейцев, всовывая в портфель карту, голосом, выработанным войной и агитацией, высказал адъютанту Карнаухову несколько соображений: 1) позор перед революцией — накануне или даже в день столкновения разделить отряд; 2) нельзя свою растяпанность сваливать на дождь и мглу; 3) пора расставить секреты, выслать разведку...

— И вообще больше инициативы.

Но голос срывался. Усталость.

— Врач просит одиннадцать одеял, а то больные жалуются, товарищ комиссар... Здоровые, говорят, под одеялами, а нам — под шинелями,— осень...

— Да у меня на руках-то канцелярия да больные,— это объяснил им?.. Хм... Обоза нет.

— Совершенно подробно и насчет того, что отряд на две половинки. Тут темень и канцелярия. Да я им митинг, что ли, устрою из-за одиннадцати одеял?.. Я им говорю — вот Чугреев разобьет нас,— всем земляные одеяла закажет.

— Больным? Да вы, товарищ, неосторожны.

— Кабы они простые больные,— это революционеры.

Адъютант Карнаухов любил хорошую фразу. Был из пермских мужиков, короткорук, с обнаженной волосатой грудью. Выезжая из города, он надевал суконную матроску и папаху.

Красноармеец внес мешок Фадейцева. У порога, счищая щепочкой грязь с веревок, он с хохотом сказал адъютанту:

— Старуха к воротам пришла, просит церковь под нужник не занимать. Лучше, грит, мой амбар возьмите, он тоже чистый, и хоть, грит, немного пашеничкой отдает, а все же. Во — тьма египетскова царя! Наговорили ей про нас...

— Рабы,— басом сказал Карнаухов,— бандитов разобьем, возвратимся — собеседование о религии устрою. Так и передай.

— Это со старухами собеседовать? Ими болота мостить,— только и годны, старые.

Фадейцев смутно понимал разговоры.

— Самоварчик бы,— сказал он тихо.

Хозяин избы, Бакушев, темноротый тощий старик, махая непомерно длинными рукавами рубахи, потащил в решете угли. Адъютант и красноармеец яростно заспорили. Фадейцев сонно взглянул в окно, но мало что увидел. А в поле пустые стебли звенят, как стекло... Небо серно-желтое... Мокрые поводья пахнут осоками и хвощами. Голые нищие колосья сушат душу. Днем в облаках голодная звонкая жара, ночью рвутся в полях дикие ветры. И хотя из-за каждой кочки может разорвать сердце пуля,— все же легче ехать болотами, нежели пустыми межами; лучше под кустом мокрого смородинника разбить банку консервов. Возможно, поэтому хотелось комиссару Фадейцеву уснуть. Но обсахарившиеся веки нельзя («во имя революции»,— напыщенно говорит Карнаухов) смыкать. Неустанно, кажется, шестые сутки, мчался отряд полями, гатями, болотами,— чтобы взять в камышах гнездо бандита и висельника Чугреева.

— Интересы коммунизма неуклонно!..— вдруг во все горло закричал адъютант Карнаухов.

Тотчас же старик внес самовар.

Фадейцев медленно вытянулся на лавке.

— Я все-таки, ребята, сосну... пока самовар кипит... Тут ребята подоспеют, обоз...

Он потянул голенища. Старик поспешил помочь Карнаухов выматерился.

— Царизму захотел, сапоги снимашь?

— Устал он, командер ведь.

— Если устал, можно и в сапогах превосходно. Ты как об этом предмете, товарищ?..

— Я лучше усну...

Старик сунул ему под руку подушку. Адъютант «собеседовал»:

— Литературу получаете? Надо курс событий чтоб под ноготь, батя, понимать.

— Бандита пошла, голубь, и прямо как саранча бандита. В нашей волости народ все смирной рос, а теперь однажды скачут... один здоровенный такой — рожа будто у кучера, как ему стыда нет — печенки захотел. И что ты думаешь? У соседа корову застрелил, печенку вырезал, сжарил, остально кинул. А про люд, люду-то сколько перебито-о... э...

Карнаухов строго кашлянул:

— Очередная задача — поголовное уничтожение бандитизма и вслед за этим мирное строительство...

...Всегда, после переходов, сны Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким волосом...

Но вдруг, ломаясь, затрещали половицы. Медные, звонкие копыта раскололи огромную белую печь.

Ничего не понимая, шальной и полусонный, Фадейцев вскочил. Зашиб лоб о край стола. Ночь. Керосиновая коптилка, казалось, потухла.

В раме окна со свистом прошипела пуля. Три раза, вслед за выстрелами маузера, кто-то громко позвал: «Товарищ Фадейцев!» Шип пули — будто перерезанный зов. Топот лошадей смягчался, словно скакали по назьмам. Фадейцев, прижимая к боку револьвер, прыгнул к дверям. Быстро и мелко старик крестился в окно. Лицо у него было белее бороды, а пальцы черные с киноварными ногтями, и ногти были крупнее глаз. Фадейцев выглянул в окно. При свете большого фонаря чубастый парень (грива его

лошади была прикрыта зеленым полотнищем) устало махал саблей. Стоны после каждого его взмаха тоже усталые. Старик сказал: «Зарубил».

Фадейцев посмотрел на прильнувшего к печи старика и повторил:

— Зарубил?.. Ево?.. Бандиты?.. Кого зарубил?

— Оне. Бандиты.

И здесь Фадейцев вспомнил,— револьвер его опять не заряжен. Пять лет революции не мог он приучиться вовремя заряжать... Револьвер царапнулся по доскам пола. Котенок шарахнулся из-под скамейки И внезапно стало страшно выбежать в сени. На дверях же даже нет засова. Старик обернулся. Деловито, с матерком, сунул револьвер в загнету печи в золу.

«Амба...— подумал быстро Фадейцев, и ему на мгновение стало жалко Карнаухова,— зарубили...»

— На двор ступай... урубят и так: меня перед смертью пожалеть надо. Скажи — я вас по доброй воле не пускал... так и скажи. Владычица ты, пресвятая богородица! Иди, что ль! Хамунисты-ы...— протянул старик.— Иди, комиссар.

Засвистали пронзительно на перекрестке улиц. Икры ног Фадейцева стали словно деревянные. Фадейцев пал на колени. Так он прополз два-три шага и неизвестно для чего приоткрыл подпол. Щеки его обдал гнилой запах проросшей картошки.

— Найду-ут... Дам вот по башке пестом!.. Прягаться?..

От этого злого беззубого голоса Фадейцев вдруг окреп. Он сдернул свой мешок с вещами. За мешком — портфель, разрезал почему-то пополам фуражку. Трясущийся в пальцах нож напомнил ему об ножницах.

— Ножницы давай,— закричал он,— скорей!.. и рубаху... рубаху свою... Убью!..

Старик вытянул рот:

— Но-о...

Старик подал источенные ножницы и гладко выкатанную рубаху. Состригая бородку, ращенную клинушком, Фадейцев торопил:

— Старую... старую надо... живо!.. Скажешь... как фамилья.

— Моя-то?

— Ну?.. Твоя.

Старик словно забыл про страх. Он хозяйственно оглядел избу.

— Тебе на какую беду?

— Говори!

— Ну, Бакушев, Лексей Осипыч... ну?..

Он поднял кулаки (с ножницами и с остатком бородки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел старику в волос. Ах, волосом этим, как войлоком, закатано все: глаза, сердце, губы, никогда не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и тоньше волоска, чтобы...

— А я, скажешь, твой... сын!.. Семен... Семен Алексеич, из Красной Армии... дезертир! Документов нету... да... Иначе — амба! Наши придут и, если меня найдут конченым, кишки твои засолят на полсотни лет... попалят, порежут... амба, туды вашу!.. Если выдашь...

Он махнул на старика ножницами. Старик противно, словно расчесывая грязные волосы, крестился.

— Мне што... мы хрестьяне... наше дело... ладно, я старухе скажу... поищу. Ладно уж.

Скамья под телом Фадейцева словно смазана маслом. Нет, этак жирно вспотели ладони. Карнаухов оставил на столе портсигар. Фадейцев сунул его в трубу самовара («кожаный, вонять будет»,— подумал он), но обратно доставать не было силы. Он, тупо глядя на самовар, сбирал в гортани слюну сплюнуть,— и не мог.

А с оружием возможно было прорваться к какой-нибудь лошади. Ветер, вечер, холодная осенняя грязь.

Эх, научиться б вовремя заряжать револьвер!..

II

На минуту показалось — шел он сам, потом — шаги в стене, на потолке. Бред.

Вбежала старуха. Топот нескольких ног послышался в сенях. «К печке»,— шепнул, задыхаясь, Фадейцев. Сразу не стало видно дверей,— печь же будто бесконечный кирпичный забор.

В остро распахнутую дверь озябший гортанный голос сказал быстро:

— Свету! Свету, и выходи сюда!

Казак с чубом телесного цвета поставил на пол крупный фонарь. Свеча там была желтая, восковая, церковная. Дергая тонким плечом, вперед выступил высокий человек.

— Красные есть, хозяева?

Он тяжело поднял руки: дула револьверов были похожи на забрызганные грязью пальцы.

— Где они?

— Убежали, родной, как поскакали до коней, так их будто смело... разве в других местах, моя изба — голубь... Сынка вот хотели увести, едва уговорил... мы, грит, так и так...

— Сын? Этот?

Из сеней нетерпеливо спросили:

— Увести, ваше... по такой роже, если судить...

— Я что говорил? Вмешиваться?

Хотя никто не шевельнулся, он отстранился локтем. Опять, чуть вздрогнув плечом, шагнул к Фадейцеву. Каждое его слово было ровное и белое, такое, как его зубы. От фонаря похожие на кровь, дрожали на жидких и длинных усах капли грязи. Он сунул револьвер назад в сени, холодная четырехугольная рука его нащупала пальцы Фадейцева. Спрашивая, он все время подымался вверх по кисти на грудь, на бока. Ногти его словно прокусывали платье. Он ощупал нижнее белье. Фадейцев любил махорку, сыпал ее не в кисет, а прямо в карман. Высокий достал щепоточку, понюхал и плюнул.

— Какого полка?

— Стального Путиловского третьего...

— Фамилия?

— Бакушев Семен.

— Доброволец?

— Никак нет, мобилизованный.

— В отпуску?

— Никак нет...

— Ранен? Дезертир? Документы? Нет документов? Значит, врешь. Расстрелять.

В сенях подняли щеколду. Кто-то, гремя прикладом, спрыгнул с крыльца в грязь. В курятнике сонно-

испуганно металась птица — казак резал к ужину Лениво оглядывая стены, высокий человек легонько направил Фадейцева к дверям. Выравнялось несколько пар грубых сапог: проход был похож на могилу. Прямее винтовки не будешь. Он тянулся. Высокий был с револьвером: он держал его за спиной. Усы его висли над плечом Фадейцева, как сухая хвоя. Попробуй вырви револьвер.

Чтобы продвинуться ближе к окну, Фадейцев спросил:

— Проститься с родителями можно?

Фадейцев упал старикам в ноги.

Старуха завыла. Старик наклонился было благословлять его, но внезапно, причитая, пополз за сапогами высокого.

— Князюшка, я ведь твоего батюшку и мамашу-то знал во-о... одноутробнова-то? Трое суток как прибежал... на скотину болесть, ну, думаем — пообходит сынок городской... а тут в могилушку сыночка...

— Золотце ты мое, Сенюшка, соколик мой ясноглазый!

Высокий человек посмотрел хмуро в пол. Атласистое сало свечи капнуло ему на полушубок. Старик поспешно слизнул. «Эх, зря»,— подумал Фадейцев, но высокому, по-видимому, понравилось. Он нагнулся.

— Вставай! Черт с вами, прощаю — мало тут дезертиров! Только смотри, старик, набрешешь — покаешься. Я зло помню...

Он не спеша двинулся к дверям, но, мельком взглянув на профиль Фадейцева, неожиданно быстро устремился к нему. Судорожно дергаясь плечом, он заглянул в глаза: Фадейцеву почудилось — веки его коснулись щеки. Он прижал одну руку к груди и закричал пронзительно:

— Что? Что?.. Фамилия? Снимай шапку!..

Фадейцев вспомнил — когда сказали «расстрелять» — он надел шапку. Она мала, чужая, прокисшая какая-то...

— Семен Бакушев.

Высокий провел по его волосам, с удивлением поглядел на глубокий шрам подле виска.

— Бакушев? Врешь!

Он неловко, словно в воде, мотнул головой.

— Ясно... да... Не помню Бакушева. В Орле был?

— Никак нет.

— Князей Чугреевых знаешь?

«Ты...» — с какой-то тоскливой радостью подумал Фадейцев. Посылая его в уезд, председатель губисполкома дал ему для сличения фотографическую карточку руководителя зеленых, генерала Чугреева. Там он был моложе, полнее. Брови слегка углом. Фотография эта лежала в чемодане, в подполье. Фадейцев припомнил, как мужики делают размашистые жесты Он выпятил грудь и поднял высоко локти.

— Чугреевы? Господи! Да у нас вся волость...

— Врешь... все врешь, сволочь.

Солдат в алых наплечниках лепил на стол свечу.

— Пошел к черту!

Генерал и князь Чугреев, ловить которого комиссар Фадейцев мчался в каличинские болота, сидел перед ним, быстро пощипывая грязную кожу на подбородке. Была какая-то смесь щегольства и убожества в нем самом и в его подчиненных. Полушубок он расстегнул: зеленый мундир его был шит золотом (хотя оно и пообтерлось), а брюки были грубого солдатского хаки Грязь стекала с его хромовых высоких сапог.

— В германскую войну в каком полку?

Фадейцев назвал полк.

— Не помню. В каком чине?

— Рядовой.

— Э...

Из сеней тоскливо, после продолжительного топтания:

— Прикажете вывести?

— Обожди. Хозяин, дай молока!

Обливая бороду молоком, он долго и торопливо пил. Щелкнули на улице выстрелы. Чугреев отставил кринку. Сизые мухи (такие липкие бывают весенними вечерами почки осин) уселись по краю.

Он грузно опустил руки на стол.

— Несомненно, где-то я видел тебя и в чем-то важном.. этаком важном... для меня...

Он пощупал грудь.

— Видишь, даже сердце заныло. У меня всегда...

Старик опять грохнулся на колени. Он с умилением глядел на Фадейцева.

— Так сын, говоришь?

— А как же, батюшка, да ей же боженьки...

— Колена тверже пяток — вставай! Допрошу в штабе и отпущу. Молись богу — пущай правду говорит... Идем!

III

Генерал Чугреев был слегка сед, размашист, немного судорожен в шаге. Комиссар Фадейцев — низенький, сутуловат. И так как всю жизнь приходилось ему подпольничать, то шаг у него был маленький, точно он боялся наступить кому-то на ноги Ночь — сырая и ветреная, аспидно-синяя — рвала солому с крыши, хлипко гнула ее. У подбородка, у плеча нет силы снять соломинку, пахнущую грибами. Казаки отставали — шли только с ружьями наперевес двое. Штаб Чугреева в сельской школе. Подымаясь по ступенькам, спросил Чугреев:

— Трусишь?

— Одна смерть,— ответил звонко, по-митинговому, Фадейцев. Ходьба освежила, ободрила его, и перед расстрелом он решил крикнуть: «Да здравствует революция!»

— Мы сегодня семьдесят два человека кокнули Если сосчитаешь, то который по счету, а? Трусишь?

Фадейцев смолчал.

Парты сдвинуты к стенам, на полу (в пурпурово-голубом пятне) керосиновый фонарь. Пахло же в комнате не керосином, а мелом. Под ногами, точно известь в воде, шипели куски мела. Выпачканный в белом, спал подле классной доски лысый с ушами, похожими на переспелые огурцы.

— Казначей. Спит. У большевиков спирт отбили, перепились. Зачем им возить с собой спирт, а?

«Мы спиртом? У нас спирт? Сволочь!» — так крикнул бы адъютант Карнаухов. Фадейцеву опять на мгновение стало жалко Карнаухова. Он промолчал.

Не давая заговорить, Чугреев сморщился и что-то показал пальцами над щекой.

— Надоело мне все, садись. Трусишь?

Стол шатался и скрипел.

Чугреев тоже шатался; плечи у него вздрагивали, он зябко поджимал колени. Он спрашивал о германской войне, об офицерах, служивших в полках.

Внезапно он вскочил:

— Гагарин? Это какой, пензенский?

— Не могу знать.

Чугреев приблизил к нему сонные, цвета мокрого песка, глаза.

— Я четыре ночи не спал... Меня надо титуловать. Забыл у большевиков? — Он быстро провел пальцем по подбородку Фадейцева.— Сегодня остригся,— сказал он медленно и попросил назвать города, где бывал Фадейцев.

— Тула... Воронеж...

Чугреев остановил:

— В каком году был в Воронеже?

— В семнадцатом.

— Месяц?

— Январь, генерал.

Чугреев, дергая руки по коленям, точно сметая пыль, хихикнул. Смешок у него неумелый, смешной как будто разрывали бумагу.

— Вспомнил!.. Я...

Он, задевая рукой о парты, вытряс из какого-то мешка книгу, карандаши... Вырвал лист из входящего журнала. «Устав артиллерийской службы» запылен, засижен мухами. Сунул Фадейцеву устав.

— Переписывай! Быстро, ну.

Нарочито неумело, согнув палец и волоча за каждой буквой ладонь, Фадейцев начал писать. Буквы надобно выводить корявые, мужичьи, похожие на сучья. Буквы прыгали. Давило и прыгало сердце. Длинный человек через плечо заглядывал ему на бумагу. Сухо смеялся, словно вырывая лист. Стучал с силой рукояткой револьвера в стол, торопил. Карандаши крошились. Устав нескончаем. Фадейцев начал забывать, терять — какие нужно выводить буквы. Ему казалось, что та, которую он сейчас написал, прямее предыдущих, и он ломал их, нарочито

округлял. Особенно плохо удавалось «о», то растяну то, как гримаса, то круглое, как кольцо, то согнуто — вытянуто, как стручок. Тоска!..

Неожиданно Чугреев откинул стул, топнул и закричал:

— Пиши фамилию! Свою!

И Фадейцев повел было «Фа...», но быстро перечеркнул и написал: «Алексей Бакушев».

Чугреев вырвал бумажку и разгладил.

— Превосходно. Фа... Фарисеев, например, или Фараончиков... Как?

— Напугался, ваше... с испугу... Не фартит мне...

— Знаем, голубчик, испуги ваши. Рассказывай о Воронеже. Гулял, пил в клубе...

Он беспокойно понесся по комнате.

— В клубе! В клубе!.. В январе в Воронеже, есть такое дело... вспомнил, черт подери. Как фамилия, Фа-а...

— Бакушев, ваше сиятельство.

— А? Подожди, не мешай... сейчас припомню. Ты меня узнаешь... В клубе, январь семнадцатого года и я — князь Чугреев, а?

Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы — улыбнулся.

— Шутить изволите...

Казначей принес самогон. Срывая ногу с ноги, разметывая пахнущие конями волосы, Чугреев говорил:

— Слушайте! Я знаю много хороших офицеров из прекраснейших семей, они служат у большевиков... Одни — мобилизованы, другие — по слабости воли... Наконец, чтобы достичь такой ненависти, какая у меня, надо четыре года травить, гонять, улюлюкать на перекрестках в глаза, в рот харкнуть! Во-о... я сейчас в окно смотрю, а думаю — возможно ведь: в город или в отряды, которые ловят сейчас меня, мужик или казак скачет... и предаст!.. За хорошее слово предаст! Вы ведь тоже по слабости характера — к ним, а? А?.. Я завтра утром всех крестьян перепорю, а об вас узнаю... впрочем, ерунда! Вы понимаете, конечно,— меньше всего я могу добиться у крестьян — они боятся меня, но верят в большевиков! Если б два года назад... Повторяю, вашей фа-

милии я не могу припомнить,— обстоятельства же нашей встречи мне ясны...

Он быстро порылся в карманах и растерянно скривил усы.

— У меня после одного случая в Чека подурнела память. Я полтора года ищу свою записную книжку... Итак! Десятого или девятого января семнадцатого года. Вы помните этот вечер?

— Ничего...

— Э, бросьте дурака ломать... в этот вечер я проиграл вам... я...

Он сжал пальцами веки и, склоняясь длинным костлявым лицом к щекам Фадейцева, придушенно спросил:

— Вы понимаете, понимаете... я... я... забыл, сколько вам проиграл. Сколько я проиграл?

Он свел руки.

— И ни одной собаки вокруг меня, которая бы вспомнила — или сказала о вас! Про вас... кто вы. Да. Девятого января в Воронежском офицерском собрании я на честное слово проиграл вам... на другой день я должен был достать деньги, их у меня не было. А на третий день вы исчезли... Так за всю мою жизнь я, князь Чугреев, однажды не заплатил карточного долга. Теперь счастливый случай свел нас.

Фадейцев посмотрел на его побледневший рот. В семнадцатом году в январе (он вспомнил с тоской — тогда он был влюблен) он рядовым действительно был на спектакле. Солдат пускали только на галерку — она же пошла с матерью в партер... Он со злобой глядел на разрисованные под малахит колонны; ему смутно вспоминается длинная фигура в золоченом мундире... Злость еще хранилась с того времени! Но карты... он никогда не брал в руки карт.

Отодвинул стакан.

— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю.

Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей, с необычайно черными, словно точенными из угля, усиками, заученным скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на

него, Фадейцев подумал: «Честность, едрена вошь. За должок сотни две людей отправил. Сволочи!» Он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.

Мотая усы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:

— Я же знаю, какого вы полка: шестого драгунского имени герцога... а теперь в путиловском! В нас много стыда... капитан... на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю,— бог дай совести — нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скрыться знакомый мужик, славный будто мужик... Ко-онечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)... и все-таки он... меня... из-под больной своей жены горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом — посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил... Надо понимать людей, капитан.

Чугреев откинулся на парту и полузакрыл глаза. Кожа под глазами дряблая, синевато-белая. Словно глаза сползают с лица...

Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева. Такая, когда входили бандиты в сени.

— Пустите меня,— прошептал он.— Устал.

Чугреев сморщился.

— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб ваш захватить, ударили. Они в другой половине села остановились. Какого-то комиссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии... вы не слышали?..

— Красные сказывали — Щукин.

— Да, «товарищ» Щукин... но и он меня не поймает. Знаете, кто меня сграбастает?

Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.

— Тот, у кого фамилия заключает четное число букв.

Фадейцев сосчитал у себя,— восемь.

— Бог даст, не изловят,— сказал он хрипло.

— Пошлют такого комиссара — четыре или восемь — амба!

— Амба? — переспросил, заглядывая ему в лицо Фадейцев.— Кого амба?..

Тот, широко открывая гнилой рот, захохотал.

— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку...

Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:

— Капитан, честным словом князей Чугреевых клянусь вам — я выпущу невредимым за мои пикеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемоданы, вали деньги на стол... огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси... Никому в жизни, никому, чтоб я — карточный долг!.. Капитан, ваша фамилия и сколько я должен?

Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты, кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камешки.

— Хватит? — спросил он хвастливо.

Фадейцев больно надавил локтем в стол.

«Сказать, наврать, все равно утром крестьяне узнают...» Вдруг он вспомнил об отряде: кабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб. «Во имя революционных мотивировок,— припомнил он адъютанта,— держись...»

Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь.

— Греха на душу... пусти, ваше благородье... ваше сиятельство... Бакушев я, хоть все село опроси.

— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шагом-арш... Ась, два!.. Стой!..

Он взял его под руку и подвел к столу.

— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. Курите? Пожалуйста... И руки не прячьте... Итак, Васька, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех коммунистов сгоряча порубил, а то бы они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите...

— Ваше сиятельство, ей-богу!..

Нога Чугреева тяжело упала на пол.

— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы выпытать. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести? Капитан!

В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.

Но Фадейцев молчал.

— Можете ли вы мне говорить прямо?

«Во имя революции — нет»,— так бы ответил Каркаухов, веселый и прямой адъютант.

Фадейцев же молчал.

Недоумевая, Чугреев отошел от стола.

— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы — коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертвовать на детские дома или на дом отдыха для проституток, черт бы вас драл!

Лицо у него было жесткое и суровое.

«Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?» Тревога и гнев оседали в груди Фадейцева.

Из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое безумие! Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.

Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля — день... День прошел — полночь

Князь опять упрекает:

— Вы не дадите уснуть пять ночей. Завидую вашему упорству. Дайте мне возможность уснуть.

Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается.

А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.

Усталый, но, на что-то надеясь, он говорит:

— Идите... Завтра я вспомню, сколько тысяч долгу...

Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.

На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает

Не пьяный ли плевок вся ночь? Уже полночь.

Широкие улицы вздыхают травой — она росиста и пахнет слегка спиртом. В село возвращается дозор. Радостно, тонко, с привизгами, по-бабьему мычит теленок.

Небо легкое и белое.

Земля легкая и розовая.

Старик Бакушев, придерживая тиковые штаны, отворяет ему ворота. Ласково треплет его по плечу (рука у него пахнет чистой пшеничной мукой).

— Молока не хошь? — спрашивает он тихо и ласково.— Я тут страдал...

Фадейцев, мутно ухмыляясь, лезет на полати, закрывает глаза. Он хочет понять, вспомнить. Подушка пахнет чьим-то крепким телом, губы медеют...

IV

Гики. Рассвет.

Пулемет. Солнце на пулемете.

Пустые улицы заполнились топотом.

Фадейцев спрыгнул с полатей.

— Наши!.. Ясно, что наши.

— Ну!..— протянул недоверчиво старик.— Чугрееву подмога.

А полчаса спустя красноармейцы качали на шинели Фадейцева, пели «Интернационал» и писали радостную резолюцию.

Адъютант Карнаухов стоял на крыльце, улыбаясь всем своим широким телом. Желтовато-оливковые галифе были в крови, а шея туго забинтована.

— Я думал, ты убит,— повторял ему Фадейцев

— А я об тебе думаю: амба! Я, как выстрелили они, одурел — темень нашла, выскочил на двор, смотрю: твоей лошади нет,— ну, думаю, утек. С кем тут защищаться? Я и покатил на соединение... Там в обеих половинках говорят: не встречали, нету тебя... Ну, мы и поперли, думаем: хоть тело достать.

— А князь?

— Чухня-то эта? Удрал — деньги оставил, а казначея его Миронов прирубил. Они ведь всех наших раненых тово.

Он пошел в избу.

— Мы их, товарищ, достанем. Теперь достанем.

Фадейцев встретил старика в дверях с самоваром.

— Чай, батя?

— Чай, сынок.

— Можно... Чаю хорошо теперь.

Фадейцев, обходя стол (мешок у него лежал в переднем углу), взглянул в окно. Санитары несли раненого, мужик вывозил из деревни три лошадиные туши, а внизу под склоном холма виднелся нехитрый березовый лесок, овражек, крошечное озерко, где молодые гуси пытались летать. Солнце было цвета медной яри, и гуси имели светло-кровяно-красные подкрылья...

...И тогда Фадейцев вспомнил...

Два года назад Фадейцев был помощником коменданта губернской ЧК. Ему было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу белогвардейских офицеров. Было такое же, цвета медной яри, раннее утро, как сейчас. Приговоренные (их было пятеро), пока грузовик, круша звонкую пахучую грязь, вез их за город,— говорили об охоте. Один высокий, с жидкими пепельно-серыми усами, рассказывал любопытные истории о замечательной собаке своей Фингале. «Таких людей и убивать-то весело»,— сказал на ухо Фадейцеву один из агентов. А Фадейцев ехал на расстрел впервые, на душе было тягостно, хотя он убежденно веровал, что уничтожать их нужно. Остановились подле такого же озерка, что и сейчас. Гуси неумело, испуганно отлетели от машины. Приговоренных подвели к оврагу, и высокий перед смертью попросил у Фадейцева папироску. Тот растерялся и отказал. Высокий сдвинул угловатые брови и сказал сухо: «Последовательно». После выстрела Фадейцев должен был выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать), четверо были убиты наповал, а пятый — высокий, закусив губу, глядел на него мутноватыми, цвета мокрого песка зеницами. По инструкции, Фадейцев должен был его пристрелить. Солдаты уже сбрасывали в овражек трупы и слегка присыпали песком (так как все знали, что через тричетыре часа придут к овражку родные и унесут тела; сначала с этим боролись, а потом надоело). Высокому прострелили плечо.

Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул револьвер, приставил к груди и нажал собачку. Осечка. Он посмотрел в барабан — там было пусто. Как всегда, он забыл зарядить револьвер. Теперь он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было стыдно своей оплошности, и он сказал: «Умер... бросайте»...

Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна.

— Ду-урак...— придыхая, сказал он,— ду-урак... у-ух... какой дурак.

— Кто?

— Кто? Да разве я знаю?.. Я сосну лучше, товарищ Карнаухов!

И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как стручок в урожай зерном.

1923

КОГДА Я БЫЛ ФАКИРОМ

От доктора Воскресенского я ушел душевно усталым. Было такое чувство, словно я поседел в одно утро. Я думал, если доктор выдаст мне рецепт, то я, продав единственные свои брюки, смогу купить в аптеке кокаин. А продавать на пищу брюки и сидеть сытому без брюк — глупо.

Хозяйка моей комнаты, близорукая и с каким-то слезящимся носом, низко склонившись, читала по складам на столе афишу:

ПЕРВЫЙ РАЗ В ЗДЕШНЕМ ГОРОДЕ

ГАЛЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

Выступает всемирно известный факир и дервиш!

БЕН-АЛИ-БЕЙ!

— Вы где ж обучались этому? — спросила она, кривя затейливо слезящийся нос.

— В Индии,— ответил я мрачно.

Да и что я мог бы ей иное ответить? Не рассказывать же ей, как за свою складную кровать вместо трех рублей я согласился взять у старьевщика две шпаги с маркою «Гамбург». Шпаги были совершенно похожи одна на другую. Только, если всмотреться, одна из

них была цельная, а другая складная с тремя кнопками в рукоятке. Кнопки были белые, слоновой кости, что ли, и это меня более всего раздражало. Если надавить одну кнопку, треть лезвия уходила. Надавить другую — исчезала следующая треть. И, наконец, вся троица скрывалась в рукоятке.

— Вы ж этим какие деньги будете зарабатывать! — сказал мне ласково старьевщик.

Я убого скучал по ласке и по надежде. И поэтому я больше для себя ответил:

— Но ведь одной шпаги мало?

И тогда старьевщик прибавил мне растрепанную книжку, изданную, как помню сейчас, Холмушиным в Москве: «Руководство по черной и белой магии с присовокуплением карточных фокусов».

— Тут и найдете теперь вашу подробную жизнь, молодой человек.

И почти угадал ведь старик. Действительно произошла отсюда часть моей жизни.

Квартирная хозяйка моя страдала животом, и ночью по всей квартире горела только пятилинейная керосиновая лампочка в уборной. В моей комнатушке, конечно, ни лампочки, ни керосину нет. Тщетно в ту ночь хозяйка стучалась в уборную. Постоянно слышала она оттуда суровый голос: «Извините, но у меня, кажется, дизентерия». Это я изучал черную магию

Утром я пошел в Народный дом, где труппа актеров из пяти человек ставила «Красный фонарь», «Евгения Онегина» и «Горе от ума». Когда я сказал Пудожгорскому (это был режиссер), что могу глотать шпаги, он косо улыбнулся.

— Шпаги, что шпаги? Когда это всем известно, что немецкая работа. Вот если бы вы могли гипнотизировать массы. Вынуть, скажем, глаз из орбиты и вновь его вставить на прежнее место. Вот это, понимаю, сбор... будет!

— До глаз я еще не дошел,— ответил я мужественно,— но я могу безболезненно прокалывать руки, грудь, щеки стальными дамскими от шляп шпильками, подвешивать на них гирьки до трех фунтов.

— Чего ж вы не говорили раньше?

— У меня шпилек нет.

— Достанем. У наших актрис. Как же вы,— спросил он не без уважения,— до шпилек дошли, а до глаз не можете? — Он вздохнул.— Впрочем, на все наука и время.

И вот почему хозяйка читает громадную афишу По этой афише мне, старому и хитрому индусу, вменяется в обязанность: «глотать горящую паклю, шпаги, прыгать в ножи и *прокалывать безболезненно* свое тело дамскими шпильками, подвешивая на оные гирьки до трех фунтов весом». Должно было еще в афише значиться, что я беру раскаленное железо голыми руками, но такого опыта я не мог проделать. Подвела «Черная магия» Холмушина. Там говорилось, что нужно натереть руку яичным желтком, смазать клеем и посыпать «одной частью крупно истолченного порошка осолодки». Я так и сделал в точности. Затем накалил легонько самоварные щипцы и приложил к ладони. В комнате запахло горящим мясом, и хозяйка прибежала на мой вопль. Я мочил руку в простокваше. Хозяйка, поджав тощими руками живот, соболезнующе смотрела на меня и на испорченную простоквашу. Мне тоже было жаль простоквашу. Я был голоден и думал с презрением, что только наружные и внезапные мои страдания заставили хозяйку пожертвовать мне простоквашу.

Один раз в три дня меня кормили обедом в монастыре, что стоял над зеленым Тоболом. Были в монастыре зеленые колокола и откормленные сизые голуби, на которых облизывались кошки и я. Между прочим все, что я видел тогда, мне хотелось съесть или выменять на съедобное. Монах, наливавший мне в деревянную чашку постных щей, спросил:

— Занозил, что ли? — и добавил с любовью: — Не из плотников?

— Итальянская гангрена,— ответил я с пересохшим горлом.

Монах умилился глазами. От жалости и от удивления дал мне лишний ломоть хлеба.

— В Италии-то,— сказал он с презрением и любопытством,— совсем, говорят, нету деревянных домов?

— Окончательно,— подтвердил я,— камень и вулканическая лава.

— Выходит,— спросил он с легким страхом,— там и плотников нету?

— Тебя как зовут-то? — спросил я.

— Евсей в пострижении буду.

— Плотник, что ли?

Монах обрадовался, положил мне еще ломоть. Подобрал полы подрясника с замасленной скамьи.

— Как же, как же... пермской я, пермской. У нас там все святители кельи рубили! Христос ведь тоже плотником был.

Евсей низко наклонился ко мне, сунул еще ломоть и тихонько спросил:

— Ты вот книги, поди, читаешь: потому — очки. А не прописано там где-нибудь, действовал Христос фуганком или топором все чесал?

Я промолчал, а после обеда Евсей отозвал меня в сторону, к монастырским воротам, где выли слепцы и ерзались жирные голуби.

«Поди, парень,— подумал я,— ты и в бога не веруешь?»

Я был сыт, весел, тайное звание факира выпрямляло мою жизнь, я часто думал об Индии, сочиняя вступительную лекцию к моим опытам. Все же мне не хотелось обижать хлебосольного Евсея, видимо, ушедшего в монастырь только потому, что и Христос был плотником.

— Ты в театре был когда-нибудь, отец? Ну, на представленье?

— Не доводилось.

— Я тебе билет дам, Евсей!

— А ты что там робить-то будешь?

— Огонь глотать и тело колоть без боли...

Евсей отшатнулся. Серенький истрепанный подрясник сразу стал светлее его конопатого лица. И бороденка так резко выделилась, будто выстругали ее. Руки были у него легкие, но все-таки он не мог их поднять, чтобы перекреститься.

— Сатана-а,— прошептал он,— ты чего смущаешь меня, сатана неверующий! — Затем он выпрямился, кинул вперед руки и глухо проговорил: — Я не знаю, зачем я тебе надобен, а я тебя обличу. Иль ты меня бога лишить хочешь? Бога я тебе не отдам. Ты хитришь, сатана!

Он вытянул легкую свою руку, я вложил туда контрамарку и ушел.

Едва появились на дощатых заборах широкие мои афиши, как в номерах, где стоял Пудожгорский, обнаружились какие-то ветхие старушки, желавшие меня видеть — мага, чародея и отгадывателя. Пришел чиновник из уездного казначейства, просчитавшийся на пятьсот рублей и желавший узнать, вернут ли их. Пудожгорский взял с него рубль и сказал, что ответ будет завтра письменный. Являлись барышни за приворотным зельем. Любопытствующий купец, желавший знать: какова на вкус в Индии водка и почем бутылка и успеет ли он ее выписать к своим именинам. Сердце мое билось так же быстро, как моя слава И, как сердце, бились в кассе билеты.

Мальчишки, ловившие на железные обручи, обтянутые сеткой, раков из Тобола, думали ли они, что угрюмый человек, сидевший на яру над ними и тупо перелистывавший «Магию», есть тот знаменитый факир, чья молниеносная слава всколыхнула тихий городок?

Нас теперь трудно удивить. Как правило, мы перестали быть наивными. В последний раз я видел удивление на улице — это когда стали продавать свободно черный хлеб и еще, позже, когда из Бухары привезли в Москву слона. Но и то удивление было такого сорта: «Что, мол, слоны? Через год у нас сотня слонов от него расплодится. Только удивительно то, к чему бы нам слоны?»

Тогда были другие времена. Времена хуже, но смешнее. Я теперь горд и высокомерен и тоже научился не удивляться. Мне даже не умилительно вспомнить, как я мазал коричневым гримом лицо, навязал на голову зеленую повязку, пахнувшую клопами, ноги мои прикрывались кумачовыми штанами, вправленными в кавказские сапоги. Пудожгорский, заикаясь и подмигивая глазом, похожим на букву «з», хвастался сбором. Рядом с гримом на опрятной тарелке, вычищенные мелом, отвратительно блестели громадные шпильки. Тут же украшенные петлями из выцветших лент с остатками запаха гелиотропа лежали гирьки «от одного до трех фунтов». Были тут и немецкие

шпаги, и факел, и бензин, и ножи в обруче, через который я должен прыгать.

На сцене оркестр вольно-пожарного общества пил водку, закусывая печеными яйцами, и пальцами пробовал: настроены ли инструменты. Инструменты были духовые, и мне казалось, что музыканты вместе со мной понимают, что ничего из нашего представления не выйдет. Завтра на меня весь город будет показывать пальцами, мальчишки хриплыми осенними голосами будут орать: «Факир-р, стерва-а!..» Мальчишкам забавно, что к обтрепанным штанишкам вязнут осенние листья, а мне эта осенняя слякотная лирика давно надоела, я хочу хорошего жирного супа с клецками, папирос «двадцать штук семь копеек» и грубую книгу, которая бы над многим смеялась.

Флейтист, достаточно пьяный и мудрый, вошел ко мне и, взяв тяжелый звонок, ударил три раза. Он выматерил Пудожгорского, пытавшегося еще продать лишний десяток билетов.

Занавес, изгрызенный мышами и продырявленный пальцами драматических любителей, наблюдавших за сборами и за знакомыми барышнями, занавес, дергаясь со всей нервностью любителя, поднялся. Пудожгорский — во фраке и с бумажным цветком, половина которого отпала, чему публика беззлобно ухмылялась, с любопытством наблюдая, как во все время чтения Пудожгорский топчет этот цветок, причем выяснилось, что вместо лаковых ботинок на Пудожгорском новые резиновые галоши. Я не помню, что читал Пудожгорский, что пели после него и как жарко и душно было в зале. Я не трусил. Я помню отчетливо, что у меня было страстное желание не запнуться о кулису. Почему я боялся запнуться — не знаю. Может быть, грохот переставляемых декораций остался еще в моих ушах.

— Вы готовы?

По случаю парадного такого выступления Пудожгорский даже билетерам говорил «вы». И при этом еще картавил.

Я отложил шпагу с ненавистными тремя кнопочками из слоновой кости, вспомнил, что кровать моя скрипела со свистом, напоминавшим сверчка, и ответил:

— Сверчок.

Пудожгорский подумал, что так и нужно, крепко пожал мою руку и подтвердил с убеждением:

— Действительно, сверчок.

Вступительная речь моя (я помню ее от слова до слова) начиналась так:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Прежде чем начать свои опыты, я должен вам сказать, откуда и когда появились на земле факиры. В далекие, далекие времена жил на земле воинственный народ — индийцы. У них был обычай: прежде чем принимать молодого человека в войско, его подвергали различным пыткам и истязаниям. Например, надевали на голову мешок с живыми муравьями и с пением девушек обводили вокруг селения...

Дальше я говорил, что в моих опытах нет никакой магии или тайн и что тут дело только в личном гипнотизме, в силе воли, перешедшей к нам от индусов.

— Музыка, ма-аэш!..— неистово картавя, закричал Пудожгорский.

Я показал по рядам зрителей шпагу без белых кнопок, вернулся к своему столу, стал обтирать руки полотенцем и затем прикрыл им шпагу. Затем взял ту, что с кнопками, и, конечно, без труда удержал во рту рукоятку с лезвиями, аккуратно ушедшими внутрь рукоятки. Затем кнопки давил наоборот, и лезвия выходили обратно. Прыгал еще в деревянное колесо, уставленное с боков ножами, лезвиями *от меня*, так что если бы я задел нож, он, слабо укрепленный, просто бы выпал прочь из колеса. Но прыгать — это не сложно, нужно только упорство и чтоб тело твое привыкло из секунды в секунду повторять одно и то же движение. Позже я прыгал в это колесо так же беззаботно, как надеваю очки. Огонь глотать... и хотя сейчас трудно достать книжку по магии и Госиздат не занимается таким доходным делом, но мне рассказывать о магии не хочется.

Я устал, и пот выступил у меня на шее. Я боялся больше всего пота. Мускулы тогда скользят под пальцами, сам себя чувствуешь рыбой. Я выпрямился и начал считать, сколько народа сидит в первом ряду. Насчитал восемнадцать. Сколько мужчин и женщин? Попробовал их оженить, развеселился, и пот схлынул.

До этого случая я на сцене был однажды. В Павлодаре был цирк, и я вышел бороться любителем. Меня борец положил в пять секунд, шлепнул по заду и сказал: «Туда же лезешь, сопля. На ногах научись стоять прежде».

Нет у меня и сейчас любви к сцене. Пьяные музыканты ревели «На сопках Манчжурии», я наполнен был ненавистью и отвращением к этим гремящим трубам. Зал вонял вареным мясом и невыполненными людскими желаниями. Гремели громадные каблуки о деревянные полы, и мне, должно быть, казалось, что эту первую иголку, которую я должен воткнуть себе в грудь, втыкают эти гремящие каблуки.

Я не помню, думал ли я так,— едва ли. Помню ясно: тонкая слюноточивая боль ударила мне в веки, головка булавки запрыгала у меня в руках, я дрогнул было, но, взглянув на эти восемнадцать морд первого ряда, тупо, сладострастно, с верой в мою волю глядящих на меня,— я еще глубже воткнул в тело булавку. «Только бы не проткнуть артерии,— непрестанно повторял я,— только бы не проткнуть артерии...» Вот розовый язычок стали вылез из моего мяса, через мою кожу и, лениво-розовато блестя, пополз дальше.

Кусок груди величиною со спичечную коробку был проткнут насквозь.

Я даже почувствовал какую-то гордость и взял быстро другую булавку. Щеки мои горели, и рот пересох, но мне нужно было спешить. Пудожгорский глядел на меня из-за кулис с недоумением, и я понял, что забыл улыбнуться. Я стыдливо улыбнулся. Ряды захлопали, и я на мгновение подумал, что моей улыбке... Нет, это уже третья булавка была в моей груди, и я брал фунтовую гирю, чтобы подвесить на булавку. И тогда-то седая вековечная боль ударила мне в затылок и расплавилась по спинному мозгу. Мне показалось, что грудь моя сорвана,. и кровь хлынула. Я совсем не чувствовал тяжести гирьки, казалось, что громадный гвоздь идет в ребра. Я понимал, что вспотею от боли. А нельзя, может быть заражение крови. Я начал считать людей в первом ряду. Я не мог их увидеть, и тут, схватив тарелку, я быстро стиснул зубы и забыл про улыбку — неизменную цирковую улыбку, о которой тупоголовые идиоты так сожалеют,

не понимая, что улыбка — это торжество над собой и единственная награда своему телу, ибо, когда улыбаешься,— действительно бывает теплей.

Так вот, оскорбляя самого себя, я без улыбки с наглым упрямством и гордостью начал втыкать в тело булавки и навешивать на них гирьки.

Ряды кричали:

— Довольно, довольно-о!..

Какая-то белокурая чиновница упала в обморок, и никто не хотел ее выносить.

Тогда я выпрямился. Улыбнулся, насколько позволяли проткнутые щеки, и пошел вниз по ступенькам в зал.

Я прошел пять рядов и в шестом, направо, увидал рубленую бородку Евсея. Бороденка была вся потная. Глаза с распухшими веками отвернулись от меня. Он взмахнул руками.

В реве ладоней я не услыхал, что крикнул он мне. Мне было тошно, и я чувствовал, что весь рот наполнен кровью.

Я почему-то снял сначала самые легкие гирьки и вытащил булавки, которыми были проткнуты мускулы рук. Ушел в уборную и торопливо плюнул в полотенце. Нет, мне почудилось, крови во рту не было.

— Болит? — спросил Пудожгорский, пересчитывавший кассу.

— Не очень.

— Привычка. У меня тоже... Ишь негодяи, трехрублевку фальшивую подсунули. Мне жена говорила, рожать тоже страшно больно.

Он посмотрел поверх моей головы.

Позже, когда Пудожгорский отсчитал мне за выступление, в уборную пришел доктор Воскресенский: у него было всезнающее лысое лицо, он был членом общества любителей мироведения и очень интересовался Сатурном.

— Ну, конечно, вы извините меня,— сказал он,— я же думал — вы наркоман, и отказался дать вам рецепт на кокаин. Смотрю на ваше страдающее лицо и ругаю сам себя: кокаин умиротворяет боль, а вы работаете без кокаина.

— Никакой боли у меня не было,— сказал я, выпивая третий стакан воды,— вам везде кажется боль.

А дело в самогипнозе. Кокаин же мне нужен был для дезинфекции стали. Впрочем, я его достал и без вас...

— В нашем городе все можно достать,— ответил доктор с уверенностью.— Я вам про историю с Сатурном не рассказывал?.. Как мы без трубы...

— Мне некогда,— сказал я, натирая незаметно под шалью грудь йодом,— но все-таки расскажите.

Всезнающий доктор сел рядом и полтора часа рассказывал мне о Сатурне. Пудожгорский написал афишу о следующем представлении: «Масса новых номеров всемирно известного факира и дервиша...» Мне нужно было попросить у доктора рецепт на кокаин, но я ненавидел его всезнающую физиономию, его гуттаперчевый воротничок и длинный ноготь на мизинце; я знал, что ничего не скажу ему, и опять стальные иголки, не обезвреженные кокаином, вопьются в мое тело...

И я мечтал вместе с ним, что хорошо бы побывать в Пулковской обсерватории...

Наконец доктор Воскресенский убедился, насколько он умнее меня. Ему скучно стало разговаривать со мной.

Деревянные перила крыльца, мохнатые и пахнущие сыростью, последний раз затряслись от удара ладоней самоуверенного доктора. Пахнущий вином и ветром лист прилип к моему виску.

А я знал, что у ворот меня поджидает Евсей. Под тусклым фонарем я мог рассмотреть обрызганные грязью полы его подрясника. Он успел уже переодеться — должно быть, в монашеском одеянии ему было веселее.

— Я тебя понимаю,— схватив меня горячей рукой, выговорил Евсей.— Я тебя насквозь, как топор, понимаю. Я тебе раны-то смазать, может, деревянного масла принесу. Ты, брат... кабы ты в бога верил, ты бы апостолом, по крайней мере, был. Я тебе в глаза смотрел,— не сатанинские у тебя глаза... Смотрю — и думаю: тошная наша жизнь, пыльная. И скучно мне стало, парень... Раны твои смазать целительного масла принесу....

Масло я его не взял, а довелось Евсею оставить в моих руках свою душу. Был он сначала плотником по постройке нашего компанейского балагана на Славго-

родской ярмарке, а на Кулунду он поехал клоуном, в долине Рок-Сая был джигитом и сватом, и веселую историю его женитьбы, случившуюся на Семиреченском тракте, я расскажу позже.

1925

ОАЗИС ШЕХР-И-СЕБС

У Али-Акбыра, торговца виноградом из кишлака Шехр-и-Себс, заболела оспой жена Джаланум. Сам Али-Акбыр человек был рослый, красивый, с крашенными по-персидски ногтями. За жену, пять лет тому назад, во время голода и войн, он заплатил большой калым, и не фальшивыми николаевскими деньгами, а скотом,— и скот до сих дней обогащал его тестя. Поэтому Али-Акбыру жалко было терять жену, и еще жалко было потому, что во время войн много красивых женщин повымерло или же увезено в Афганистан. Теперь хорошую жену найти трудно, а молодежь растет тонкогрудая и тонкозадая. И Али-Акбыр сразу же позвал к больной местного святого Хуссейна, и не успел Хуссейн перевязать опояской живот и взять клюку, как Али-Акбыр оседлал лошадь и помчался за фельдшером. Фельдшер был русский, Герасимов по фамилии, а держал себя словно святой: собирался медленно, нехотя, а может быть — боялся оспы. Приехав, фельдшер потребовал, чтобы Джаланум сняла покрывало, а когда Али-Акбыр пообещал ему барана, фельдшер пощупал ее руку и сказал:

— Кризис прошел, выживет!

А еще раньше фельдшера то же самое сказал святой Хуссейн, и Али-Акбыру стало жалко себя, своих хлопот, трат,— и он выбрал фельдшеру для угощенья самого тощего барана и чай заварил жидкий. Однако через пять суток Джаланум стало хуже — и к вечеру она умерла. Ее быстро стащили к могиле, посадили и засыпали песком.

Али-Акбыр остался один. Мимо кладбища пролегала дорога в пустыню. Шел караван. Впереди, на маленьком ослике, низко свесив босые ноги, сидел карановожатый, седой текинец. К его седлу на волосяном аркане был привязан первый верблюд, к перво-

му — второй; верблюды шли так тихо, что слышен был шелест арканов, то опускавшихся, то натягивающихся. Текинец ехал сосредоточенный, спокойный, и длинная палка, знак его власти, чуть колыхалась в его руках. Медленно, друг за другом, то взбираясь на песчаные холмы, то пропадая в котловинах, то вытягиваясь в струнку, то образуя ломаную линию по извилистой дороге, верблюды уходили в пустыню. Было совсем безветренно, караван оставлял позади себя следы верблюжьих ног, но тотчас же след этот заплывал. На вершинах холмов синела легкая дымка, это был песок, поднимаемый дыханием пустыни. Увидав эту синюю дымку, Али-Акбыр потрогал рукой сочащееся тоской сердце — и пошел домой.

Поспевал виноград, и крестьяне-виноградари пришли вечером, дабы побеседовать о ценах и узнать, скоро ли Али-Акбыр поедет в город. Лампа горела тускло,— после смерти жены некому было почистить пузырь,— и в комнате пахло керосином. Чай пили, держа чашку за края донышка, и после каждого глотка громко крякали. И вот, наливая гостям третью чашку, Али-Акбыр сказал, что святой Хуссейн — обманщик и вор, хотя он и хорошо знает все законы бога. Крестьяне не поверили Али-Акбыру, но спорить не стали. Тогда Али-Акбыр поднял кверху торжественно палец и протяжно сказал:

— Когда у вас умрет еще пять человек и про каждого Хуссейн будет говорить, что выздоровеет, тогда вы не будете молчать, как молчите сейчас!

Но вот пять человек от оспы вновь умерло, хотя Хуссейн и говорил, что они выздоровеют, и все-таки крестьяне не верили Али-Акбыру...

Виноград поспевал, листья его приобрели цвет крови, а в жилах Али-Акбыра созрело вино желаний. Ему нужна была крепкая жена, и, хотя советские законы запрещают калым, все же на крепкую жену денег надо много, и Али-Акбыр стал часто посещать город. Виноград поспевал, но вода в арыке-канале Кочик спадала, и проходящие странники из-за Заравшанских гор говорили, что снега дотаяли и что осенью едва ли можно ждать разлива воды. Виноград зрел, но вода в арыке все убывала и убывала, словно виноград выпивал ее. И тогда крестьяне, все еще не ве-

рившие Али-Акбыру и все еще молча слушавшие его бранные речи, пошли к мечети и попросили святого сотворить молитву. Сам Хуссейн недомогал последнее время: он по всем законам прожил жизнь и с гордостью ждал смерти и рая, так как сам себя считал святым. Ему было обидно видеть, что крестьяне верят ему меньше и приношения их убавились. Ему не нужны были эти приношения,— многое из приносимого он раздавал,— ему жаль было крестьян, грешивших перед аллахом. Он сурово сказал крестьянам, что будет молиться и надеяться, что аллах услышит его молитву: вода прибудет и оспа прекратится. Оспа-то правда, давно ушла, но крестьяне не возразили ему И Хуссейн действительно молился всю ночь и еще половину длинного и жаркого дня. Он упал от изнеможения, и служка при мечети, его внучек, румяный Алимбай, почтительно увел его к тощему ложу. Отдохнув, Хуссейн опять долго молился, но молитвы его, видимо, не доходили до бога, так как вода продолжала идти на убыль и деревья оазиса Шехр-и-Себс начали увядать.

В те дни Али-Акбыр подыскал в соседнем кишлаке Учим невесту, именем Идрис, по красоте своей способную превысить красоту Джаланум. Калым за нее просили большой, и, как Али-Акбыр ни торговался, будущий тесть не уступал, а еще грозился набавить. Деньги доставались с большим трудом, винограду уродилось в этом году много, и цена на него упала Али-Акбыру думалось, что, если б Хуссейн хотел, он мог бы пойти в кишлак Учим к родным Идрис и упросить их уменьшить калым. Но Хуссейн — тунеядец негодяй и вор — умел только тянуть с вершины глинобитного минарета не нужные ни богу, ни людям молитвы. Али-Акбыр быстро научился говорить те богохульные слова, что теперь часто услышишь в городе,— и ему казалось, что правды он знает не меньше Хуссейна и, если б не виноград и не заботы о новой жене, ему б ничего не стоило превратиться самому в святого. Но Хуссейн, видимо, и сам чувствовал себя тунеядцем: на вопросы крестьян он отвечал угрюмо и, сухой и длинный, в зеленой грязной чалме, проходил улицей не в тени, как прочие люди, а по солнцу, словно ему мало было того жара, что был в его душе.

Однажды вечером, когда в виноградниках, недалеко от арыка, пало три вола и один из них принадлежал Али-Акбыру, Али-Акбыр заявил, что тунеядца и обманщика святого Хуссейна надо отвезти в город и судить по советским законам. Крестьяне, как всегда, покачали бородами, и нельзя было понять — согласны они со словами Али-Акбыра или нет. Веранда, где они сидели, была обвита виноградом. Солнце закатывалось, и тени от гроздьев темными пятнами сияли на огненных бородах стариков. Чтобы разобраться в том, что думали старики, Али-Акбыр соврал:

— Лучше самим отвезти, а то приедут пять милиционеров и заберут старика.

— Так,— ответили ему старики,— правильно,— и с тоской посмотрели на пыльный сухой двор и бурую глину стен, которую даже и солнце не могло озолотить.

А вечером, когда крестьяне собрались на намаз, Хуссейн сказал, глядя в небо:

— Я уже стар, я, видно, много нагрешил, и бог не принимает мои молитвы. В соседнем кишлаке Учим у меня есть родственники, я уйду умирать туда.

Крестьяне промолчали, а вечером после намаза пришли к Али-Акбыру.

— Вот собака и вор! — сказал Али-Акбыр.— Он врет от начала до конца, как врал всю свою жизнь. В кишлаке Учим у него столько же родственников, сколько у меня теперь жен. А разве кишлак Учим не имеет уже могилы святого Имъямина — Асалата-Будакчи и поэтому плодородие не покидает их полей? А какие святые могилы имеем мы? Сколько их у нас?

И старики пустыми глазами посмотрели на метущиеся сильные руки Али-Акбыра. В пустыне выли шакалы, огромная луна медленно поднималась на небо. Сухо шелестели вдоль арыка умирающие тополя. Крестьяне прошли к арыку, долго слушали вой шакала, и один из них сказал: «На луну воет, к смерти»,— и хотя такой приметы не было, но все ей поверили. Затем Али-Акбыр явился к Хуссейну, и они долго раскланивались друг с другом. Кланяясь, Али-Акбыр пустил в ход все красноречие, приобретенное им в городе, и спросил витиевато,— правда ли, что святой Хуссейн желает лишить святости и божеского плодородия кишлак Шехр-и-Себс и уйти в кишлак

Учим и если желает, то почему. Все в Али-Акбыре было необычайно ласково, и даже руки его смиренно лежали на животе, но, поймав под его тугими бровями неподвижные и угрюмые глаза, святой Хуссейн пощупал сердце и ответил, что он передумал и остается у себя на родине, и могила его, если бог удостоит, будет во все века прославлять кишлак Шехр-и-Себс. «Седые ресницы твои благословенны, и украшающая сердце тишина исходит от них»,— сказал Али-Акбыр смиренно, но по голосу и по тому, как осматривал святой Хуссейн длинный двор мечети, Али-Акбыр понял, что этой же ночью убежит святой Хуссейн из кишлака Шехр-и-Себс в кишлак Учим и будет там до конца дней своих проклинать нечестивых и нерадивых соотечественников. И, подумав так, Али-Акбыр испугался, ласково поклонился и быстро ушел. И наконец Али-Акбыр мог слышать из уст крестьян слова, доставившие ему много радости; и Али-Акбыр, как и подобает всякому мудрецу, ниже, чем всегда, поклонился крестьянам.

Сухой и быстрый рассвет ударил в тополя, стоявшие подле мечети. Раскрылась калитка, и Али-Акбыр начал локтем толкать крестьян. Служка святого, румяный Алимбай, вывел оседланного коня, а за ним показался Хуссейн. Лицо у него было усталое, скучное, ему, видимо, не хотелось покидать и своего ложа, и мечети, к которой он так привык. Служка протянул Хуссейну стремя, но здесь, из-за тополей, тихо вышел Али-Акбыр и длинной сухой палкой ударил Хуссейна в затылок. Чтоб не было крови, конец палки Али-Акбыр обернул тряпками. Служка с воем побежал в мечеть, один из крестьян пошел его уговаривать, а когда крестьянин вернулся, Али-Акбыр снимал уже с лица святого халат, которым он зажимал Хуссейну рот до тех пор, пока не остановилось старое сердце. И вот Хуссейн вернулся на свое ложе мертвым. Его обрядили в лучшее платье и собрали превосходнейших плакальщиц. К вечеру из соседних селений на похороны святого Хуссейна стал собираться народ, и многие завидовали кишлаку Шехр-и-Себс, приобретшему святую могилу, и только люди из кишлака Учим сомневались в святости Хуссейна. Затем Хуссейна закопали на том же кладбище, где Али-Акбыр некогда похоро-

нил свою жену Джаланум. Караван, возвращавшийся из пустыни, остановился подле кладбища, и каравановожатый, седой текинец, слез со своего осла и сотворил молитву.

В городе неожиданно поднялась цена на виноград, понадобилось много высококолесных арб, снег в Заравшанских горах начал таять, и вода в арыке Кочик поднялась на нужную для счастья высоту.

Плодородие и тишина спустились в оазис Шехр-и-Себс.

И в свое время посетило счастье и Али-Акбыра: он, с великой выгодой продав виноград, ввел в свой дом новую жену Идрис, красотой и полногрудием превосходящую несравненную Джаланум. В ограде был пир,— и гостям было зарезано четыре барана и жеребенок. Захожий певец пел песни о счастье и любви богатырей, и шепотом сказал юной жене своей Али-Акбыр: «Я украшу твою грудь монетами и счастьем, как великий и добрый богатырь в песне». И грудь Идрис содрогнулась, и сердце ее заболело неиспытанными страстями. На другой день, для счастья и плодородия, Али-Акбыр повел свою жену Идрис на могилу святого Хуссейна. Был на могиле глиняный невысокий памятник, незатейливая надпись, взывающая к людям о тишине и смирении. Ленты материй — приношения — валялись подле. Идрис, прикрыв шелковой чадрой угол памятника, смиренно молилась о счастье и долгой жизни, а Али-Акбыр стоял рядом, высокий, гордый и красивый, и красные ногти его лежали на русой бороде. Опять мимо кладбища шел караван в пустыню. От верблюдов оставались следы, но тотчас же песок засасывал их. Дыхание пустыни подымалось над далекими холмами. И тогда Али-Акбыр встал подле жены своей Идрис и всеми прекрасными словами, которые только имела его душа, поблагодарил бога и его святых за ту милость, что сошла на его дом. Затем он поднялся, вернулся в свой дом и лежал на коврах три дня и три ночи, наслаждаясь женой и своей силой. Приняв от жены восхищение и радостные слезы, он поднялся, совершил омовение, расчесал бороду и вышел на солнце, дабы исполнять обычную свою работу.

1926

ЗВЕРЬЕ

Накануне захвата станции Ояш отряд, в котором служил Павел Мургенев, справлял Октябрьский праздник. Подле двухэтажного волостного правления, чем-то похожего на кувшин, устроили митинг. Снег блестел тускло, как кудель. Мургенев с чувством произнес речь о наступлении, мужики заорали «ура», политрук благодарно пожал ему руку; Мургенев ответил ему с достоинством:

— На станции Ояш моя родина. Старик там и сестра...

Он хотел добавить, что старик необыкновенно горд и заносчив, но политрук уж говорил:

— Жаль — не захватили родину в день Октябрьского праздника.

Мургенев тоже посочувствовал ему.

Шли в обход Ояша. Шли знакомыми Мургеневу местами. Он увидал луг, с которого мальчишкой еще возил домой сено. Все такие же желтые дорожные раскаты вились у мостика через речку. Но мост был сожжен, и, видимо, из озорства, потому что ехать через лед речки было легче, чем через ветхий мостик. Подле моста увяз автомобиль. Клочья ободранного кузова жалко торчали из сугроба. Мургенев подошел ближе. Окровавленный платок с кружевной бахромой прилип к полузанесенному снегом сиденью. Но на все в этот день смотреть было весело. Весело разглядывал Мургенев и этот платок.

Обошли станцию версты за четыре. Спешились, потоптались. Покатили морозные пулеметы. Как всегда, начали с неохотой, затем разгорячились и, при взятии станции, убили несколько лишних человек. Опять Мургенев увидел эшелон с беженцами; сдающихся офицеров с пустыми кобурами; ввалившуюся бледность щек; в теплушках запах пота и пеленок. Его поразило только одно: неподалеку от станции, в сарае, дверь в который изображали жерди, прибитые к косяку гвоздями, он увидел несколько верблюдов, задумчиво вытягивающих к снегу длинные морды. Красноармейцев тоже, видимо, изумило присутствие верблюдов; двое даже принесли сена. Мургенев постоял у жердей, погладил верблюду теплую морду, подивил-

ся, что нет дверей: замерзнут — и, не досмотрев захваченные поезда, направился к родителям. Он уже сбегал по ступенькам станционного крыльца на площадь, по ту сторону которой виднелся одноэтажный родительский дом под железной крышей, но вдруг вспомнил, что отец был не только горд, но и любил пышность: шаровары, например, он всегда носил плисовые. Мургенев вернулся, попросил привести ему офицерскую лошадь. Красноармейцы разбирали вагон брошенного белыми полкового имущества; Мургенев пожурил их, но себе выбрал новый полушубок и сапоги. Поверх седла лежал зеленый ковер.

— Для веселья! — сказал подводивший лошадь, и действительно Мургеневу стало необычайно весело. Задорно блестела и звенела дорога. Старик, Алексей Дементьевич, стоял на крыльце, словно знал, что сын приедет, видимо, был рад, но дотронулся только до ковра.

— Колера-то какие, ядрена мышь! — сказал он и уступил сыну дорогу. Старуха засуетилась, заохала, на крыльях ее носа дрожали слезы.

— Крепко тебя ограбили, тятя, белые-то? — спросил, облокачиваясь на стол, Павел.

Прямо против него, на кровати, стонала его сестра Шура. Она была в тифу, но брата узнала, даже шепотом поздоровалась и опять забылась.

— Ограбили,— ответил старик недовольно.

Старик в чем-то хитрил. Боялся, как бы сын не захватил хозяйство, увидав пораженную гордость отца Павел улыбнулся и попросил поставить самовар. Сестра рванулась с кровати, то ли от слова «самовар» то ли в бреду. Павел подумал: может быть, она не больна тифом, а изнасилована? У отца правды все равно не узнать! Самовар заликовал, было тепло Старуха расспрашивала о войне. Павел рассказывал (отец опять мешал его мыслям), и получалось не так как было бы нужно. Нужно было бы рассказать действительно героическое, а он нес какое-то солдатское полувранье. У старухи умиленно слезились глаза, старик хитро улыбался. Наконец Алексей Дементьевич развеселился совсем, достал из-под пола бутылку самогона. Рюмка, остатком отбитой ножки насаженная

на черешок (из-под ножа, наверное), дрогнула в его руке.

— За ваше здоровье,— сказал он, и сын ему ответил тостом за республику. Тогда отец велел позвать родственников. Старуха засуетилась с ухватом. Какая-то незнакомая вошедшая молодка вызвалась истопить баню. Павел ущипнул ее за упругий бок, она сверкнула на него глазом, и Павел подумал: «Ночь-то нынче занята». Кровь поднялась в нем. И сразу он решил ночевать в бане.

— Затопи,— торопливо выговорил он и отвернулся.

Отец выдвигал на середину горницы стол; ложки радостно играли в руках матери.

Но тут в избу ворвался запыхавшийся красноармеец. Измятая записка упала на пол, он выкрикнул:

— Штаб сообщает товарищу Мургеневу: Воткинский и Ижевский полки ведут наступление на станцию Ояш!

За последние два месяца не было случаев перехода белых в наступление, и Мургенев не поверил бы, если б не знал, что Ижевский и Воткинский полки колчаковской армии состояли из рабочих, согласившихся покинуть Урал вместе с белыми, и что среди красных имелось невысказанное соглашение: не брать пленных из этих полков. Ходил слух, что каждому из солдат этих обреченных полков был выдан револьвер для самоубийства. Возможно, что полкам зашли в тыл и они теперь кинулись на явную смерть. Так, надо полагать, думали во всем отряде; даже посыльный, которого Мургенев никогда не видал растерянным стоял бледный, и пот увлажнял его молодую бороденку. Павел развел руками. Не без франтовства пристегнул он револьвер, вспрыгнул на лошадь, раздраженно скинув перед этим ковер с седла. Лошадь, играя, подпрыгнула; прыжки ему не понравились,— плеть тяжело упала на бока коня. К станции, на ходу затягивая полушубки, с обеспокоенными лицами бежали красноармейцы. С той стороны, откуда утром пришли красные, уже слышался вражеский пулемет Мургенев быстро нашел свою роту, она уже шла на правый фланг. Поспешно и молча шагали мимо эше-

лонов. Теплушки беженцев плотно молчали; солдат это раздражало, и один сказал:

— Кабы время, я б вам в окошко по гранате...

На лиловеющих снегах раскинулись цепи. Вдали замелькали желтые точки.

— Ижевцы,— сказал солдат, говоривший недавно о гранате.

Пулеметы усилились.

— Кабы мы артиллерию успели подвезти! — сказал все тот же солдат.

— Молчать в строю! — крикнул Мургенев.

Видно было, как передние цепи красных дрогнули, ринулись к станции. Мургенев закурил, закурил и весь отряд.

— В своих придется палить? — не унимался разговорчивый солдат. Никто ему не ответил, папироски кинули недокуренными, колебнулись винтовки. Но цепи выпрямились, остановились; звонкая команда донеслась версты за полторы. Рота Мургенева опять ухватилась за винтовки, и стало ясно, что перестрелка затянется.

— Вы бы насчет стариков,— сказал вдруг его помощник Аксенов.

Мургенев внимательно взглянул Аксенову в розовое молодое лицо, по которому было ясно, как вся рота радовалась тому, что у Мургенева такие хорошие родители. Мургенев развел руками.

— Пускай старики в тыл едут, пока идет перестрелка. Штаб наш от греха подальше на разъезд «четыреста шестьдесят девять» в десяти верстах, ушел, вот туда и пускай едут. Пока на полчаса можете побежать домой. Мы удержимся... Только площадью осторожней, неравно хватит...— продолжал Аксенов, и ему, видимо, хотелось покомандовать в таком опасном деле.

Мургенев подумал, закурил папироску, осмотрелся (никто в отряде и мельком не мог, конечно, подумать, что он трусит и потому уходит),— веселые и бодрые лица глядели на него. Он согласился.

Старик по-прежнему сидел на лавке перед столом, выдвинутым на середину горницы. Сестра стонала. Павел предложил, сам не веря, что отец поедет. Отец ответил:

— Куда нам ехать, земля для могилы везде одинаковая. Да и Шуру не бросишь, сынок.

Павел кинул о пол шапку. Отец поспешно и нежно подал ее ему.

— Шапка-то казенная,— сказал он. Поднял руки, чтобы обнять, но и тут, видно, загордился, — хлопнул себя руками по бокам и перекрестился в угол.— Бог спасет, может!

Павел выскочил. Старик отвернулся к окну.

— Герой. Гордый.— И тогда, подойдя к киоту, он одну за другой снял иконы, сложил их стопочкой на стол и проговорил: — Чего же нам одним в хозяйстве гибнуть, надо и богов по шапке, а, старуха?

— Тебе видней, старик,— недовольно ответила старуха, садясь к изголовью дочерней кровати.— А по-моему, не лез бы ты в войну-то. Лучше...

Со страхом Мургенев увидал, что за промелькнувшие полчаса многое изменилось на станции Ояш. Цепи ижевцев стлались уже по полю недалеко от семафора. Несколько красноармейцев из его роты, не слыша его и не узнавая, бежали без винтовок вдоль путей. Он остановил все же одного, спросил о своем помощнике Аксенове.

— Убит,— сказал солдат, отталкивая. Мургенев остолбенело застыл у станционного колокола. Пулеметная стрельба усиливалась. Толпа солдат бежала от станции вдоль дороги. Ижевцы, видимо, приняли это за какой-то хитрый маневр, потому что приостановили перебежку.

— Ваше благо... товарищ комиссар! — закричал выбежавший из помещения станции бледный шатающийся телеграфист.— У меня рука прострелена, больно!.. Штаб с разъезда вам телеграфирует: снарядов нет, снаряды в последнем вагоне... зеленый состав, под синим флажком.

И телеграфист побежал вдоль перрона, кинув к ногам Павла клочки телеграфной ленты.

— Идите вы, сволочи, со снарядами!..— завопил ему вслед Павел, для чего-то выхватывая револьвер. Но револьвер словно тянул его вперед,— и он побежал вдоль зеленого состава. Действительно, в конце поезда он наткнулся на теплушку под синим флажком. Почему под синим? Он подпрыгнул и сорвал с дверей

синий флажок. И с флажком в руке он побежал дальше. Залитый кровью кочегар катался на полу тендера.

— Куда? — сам не зная для чего, спросил его Павел. Кочегар, привстав на локте, указал на плечо и сказал спокойно:

— Никто, брат, тебя не увезет. Из всех паровозов пары выпустили, ни угля, ни дров. Не мешай.— И он со стоном опрокинулся.

Павлу было стыдно мешать его смерти: рана была ниже плеча. Паровозы безмолвствовали. Павел кинул флажок и вернулся к снарядной теплушке. Под соседним вагоном, плотно прижавшись к колесам, лежали два солдата.

— Взорвет вас,— сказал им Мургенев,— рядом вагон со снарядами, давайте отцеплять.

— И то взорвет, дяденька,— пискливым голосом сказал один из красноармейцев. Они поднялись и, мало понимая, что делают, подошли к нему. Мургенев указал им на крюк сцепления. Они сняли крюк и стали отталкивать вагон от состава. Вагон тронулся легко.

— Паровоз-то подают? — тоненько спросил красноармеец.

Павел не успел ему ответить: красноармеец лежал мертвым — пуля пробила ему шею. Его приятель взвизгнул, скорчился, подобрал полы шинели и так, оглядываясь на Мургенева, словно ожидая, что он выстрелит ему в затылок, уполз под вагоны. Мургенев поспешно спрятал револьвер и прислонился к стенке вагона. «Действительно,— пришло ему в голову,— зачем отцеплять вагон, если нет паровоза? Через полчаса, самое большое, ижевцы займут Ояш. Надо бы разорвать документы или лучше...» Он посмотрел: в револьвере было пять патронов. «Богацько!» — улыбнулся он, оглядываясь. Ни одной лошади не видно было ни на путях, ни подле станции. Идти через площадь в деревню?..

— Богацько! — повторил он вслух.

Вдруг он услыхал рев. Он увидал угол сарая, дверь, забитую жердями, и мохнатую морду верблюда в веревочной узде. Мургенев даже подпрыгнул от радости, поискал глазами между колес, но красноар-

месяц исчез. Ветер чуть шевелил солому сарайной крыши. Жерди были прибиты крепко; дабы их сломать, Павлу приходилось падать на них всем телом. Связанные попарно верблюды шарахнулись в проход. Мургенев схватил первую пару. Он подвел их к дверям теплушки, встал на ступеньки... Мургенев вспомнил о хомутах, а вспомнив хомуты, вспомнил и вагон — и, поспешно замотав повод за скобку двери, кинулся вновь в сарай. Там у туши убитого мотался, пытаясь оторвать узду, верблюд; его рев, должно быть, и услышал Мургенев. Хомуты висели на деревянном гвозде. Путаясь в незнакомой сбруе, Мургенев поспешно натянул на верблюдов хомуты, привязал длинную вожжу к уздечке; захватил буфер петлей веревки; вожжу закинул на теплушку. Зацепил вожжу за кромку и, подставив лестницу, вскарабкался на вагон. Усталость овладела им, он вспомнил о пулеметах — и по крыше вагона полз на животе. Он мало верил в то, что верблюды смогут везти вагон.

— Трогай! — заорал он, отчаянно мотая вожжами. Верблюды покосились на блестящие рельсы. Спокойствие животных на мгновение овладело человеком.

— Экий морозище! — сказал он. Вагон тронулся.

Больше всего, по-видимому, верблюдам было страшно видеть эти ровные блестящие полосы железа, что текли перед их мордами. Они им казались в одно и то же время и оглоблями, и кнутами. Верблюдам было тесно. Они толкались животами, а вырваться в сторону из блестящих стальных оглобель не могли. Павел пожалел: надо бы запрячь одного. Вагон двигался толчками, но все быстрее и быстрее. Мелькнули станционные постройки, водокачка. «Только бы,— подумал Мургенев,— верблюды не свернули в сторону или ижевцы не открыли по мне огонь». Он нащупал в кармане перочинный ножик: на случай, если верблюды свернут, перерезать постромки. Как он слезет к буферу по отвесной стенке — он еще не знал. Мургенев лежал ничком на крыше; пряжка пояса больно врезалась в живот, а подняться и сесть у него не хватало смелости. Теперь он разглядел верблюдов: один, правый, был бурый, лохматый, а левый — почти седой и гладкий, с высоко поднявшимися откормленными горбами. Увидав эти колыхающиеся горбы, Мургенев

вспомнил веселую бабу, которая должна была ему сегодня топить баню. Затем вспомнился отец, ему стало грустно, и он начал твердить: «Рельсы, рельсы...» — и скоро, верно, начал думать о рельсах. Вспомнил, как однажды проводник вагона сожалел, что за границей рельсы сдвинуты у́же наших и вагоны наши туда идти не могут... Бег вагона все убыстрялся. Он скоро заметил, что верблюды начали реветь и оглядываться. Буфер толкал их в задние ноги. Вначале Мургенев подумал: верблюды разогнали вагон, а теперь уменьшили шаг; но толчки буфера становились все яростней и яростней, и вскоре стало ясно, что за станцией Ояш путь идет под гору и разогнанный вагон мчится сам. Мургенев даже обеспокоился: скоро покатость кончится, вагон должен подниматься в гору, и что тогда —хватит ли у верблюдов сил втащить его? Но вагон все сильнее и сильнее толкал верблюдов, и уже появилась опасность, что вагон сшибет верблюдов, помнет или раздавит их, и они своими тушами могут задержать его бег. Столкнет ли один Мургенев вагон? Павел замерз и мелко дрожал, железный ветер свирепел, нужно было спускаться с крыши к буферу перерезать постромки. Он расстегнул ремень, зацепил его за доску набрусника, подумал и, скинув шинель (длинный полушубок, надетый им поверх шинели, он забыл в отцовской избе), привязал рукавом ее к ремню. Ветер на мгновение вырвал у него шинель, мотнул ею по воздуху· верблюды испуганно заревели, вагон зашатало. Потом Мургенев, осторожно вися на шинели и скользя ногами по гладкой стенке (со злостью думая, что шинель затрещит и вот-вот лопнет), стал спускаться. Шинель сильно пахла табаком. Наконец сапог его коснулся буфера.

Холод овладел им. Холод казался сильнее оттого, что вагон защищал от ветра... Он едва мог открыть перочинный нож. Кость рукоятки жгла ладонь, он обернул руку платком. Постромки то натягивались, то слабели — резать было очень неловко. Но вот наконец один верблюд ринулся вперед! Мургенев выстрелил, верблюды сразу выпрыгнули из рельсовых оглобель, кувыркнулись по насыпи — по одному с каждой стороны и, увязая в снегу, наступая на постромки, побежали в поле. В иное время Павел похохотал бы

над их прыжками. Буфер жег ему ноги, висевшая шинель хватала только до шеи, а стянуть ее он не мог, так как не за что было ухватиться, и если б она оборвалась, он упал бы вместе с нею под вагон. Теплушка неслась, отвратительное морозчатое железо свистело под колесами. Руки коченели, ему ничего не оставалось, как лезть обратно на вагон, и он полез. Он, цепляясь за шинель, подпрыгнул, насколько мог, и ухватился за кромку крыши. Здесь шинель затрещала, и руки его бессильно поползли с крыши. Тогда он схватился за шинель зубами, еще раз подпрыгнул — и снова повис у края крыши! Ему пришлось выпустить мешавшую движениям шинель, и она болталась меж его ногами. Несколько ниток соединяли рукав и те куски материи, что некогда закрывали грудь его и ноги. Он вскинул тело на крышу. Нитки лопнули, и на крыше, привязанный ремнем к доске, остался лишь рукав его шинели. Серое сукно долго маячило позади на шпалах. На крыше Мургенев привстал сначала, затем опять лег; поплясал — стало теплей, но вдруг он вспомнил, что там, под ним, полный, плотно набитый вагон снарядов. Снаряды эти сейчас мчатся на станцию, вагона уже не остановить, скорость его все увеличивается. На стрелке ли, дальше ли, вагон наскочит на другие вагоны, и снаряды вспыхнут, взлетят!.. Было ветрено, пустынно. Среди снегов, неподалеку от железнодорожных путей, бежал желто-лиловый проселок. Кое-где синели лески. Мургенев и не заметил, как присел. Он отвязал рукав, прикрыл им сначала шею, затем плечи, пытался прикрыть обессилевшие руки. Он лег, вытянулся и стал стучать в воздухе сапогами. «Замерзну, сука!» — подумал он и вдруг почувствовал ненужный стыд: на многих убитых офицерах он видел фуфайки, а вот сам не мог решиться надеть — все проклятая крестьянская гордость: и так, мол, выдержим. Мысль о взрыве владела им сильнее, чем мороз. Он всегда боялся грохота, и теперь смерть представлялась ему такой непрерывно растущей тучей грохота. Тошнота приступила к его горлу, глаза слипались. Вдали уже виднелись избушки разъезда «469». Он выполз на край крыши, спустил ноги, чтобы спрыгнуть. Ему неимовер-

но трудно было открыть глаза, но прыгать с закрытыми глазами было еще трудней...

Посреди проселка он увидал сани. Длиннобородый мужик в азяме стоял на коленях в санях и с ужасом крестился на мчащийся вагон. Ветер загнал лошади хвост к животу, и оттого лошадь казалась тоже испуганной.

Непонятная гордость овладела Мургеневым. Он собрал последние силы, чтобы послать озорное благословение мужику, но руки бессильно ползли по коленям.

Перед самым разъездом «469» путь пошел в гору. Три разведчика легко остановили вагон. Мургенева кинулись растирать.

Еще через час начался с разъезда «469» обстрел станции Ояш снарядами, доставленными Мургеневым. Громили ее весь вечер; зарево заняло полнеба — и рано утром поступило донесение, что станция противником оставлена. Днем, в числе прочих победителей, Павел Мургенев ехал занимать станцию. Руки его были забинтованы, а лицо густо смазано гусиным салом.

Станция, станционные постройки, поезда — почти все сгорело. Пахло тряпками, горелой мукой, мясом. Сохранилась только водокачка и на дверях ее вчера, должно быть, наклеенный приказ «верховного главнокомандующего». И почти все домики подле станции сгорели. Место, где стоял родной его домик, Мургенев едва нашел — сгорели даже деревья в палисаднике. Он узнал место дома по каменной бабе, которую когда-то в юности притащил из степи в палисадник. Отец за эту нечисть выпорол его, все собирался отвезти обратно в степь, да так, видно, и не собрался. Плоское лицо каменной бабы тоже почернело. Мургенев пихнул ее сапогом. Никаких следов не осталось от его родных, и никто не мог сообщить, живы ли они, умерли ли, или их увезли ижевцы. Среди пожарищ нашли десятка два обгорелых трупов, и никто не опознал их. Не опознал и Мургенев. Красноармейцы между тем в уцелевшем доме священника сварили обед. Пообедал и Мургенев. На вечер штаб назначил выступление: идти дальше, в тыл ижевцам. Вот и

вечер подошел, а Мургенев все еще тоскливо бродил среди пожарища. Попал он на станцию. Выступила луна. От ее сумасшедшего света составы поездов казались еще более обгорелыми. Где-то затянули песню и оборвали. Мургенев одрябло прислонился к теплушке и вспомнил, как вчера он точно так же стоял у вагона со снарядами. Револьвер и вчера был в его руке; в револьвере со вчерашнего дня изменилось только то, что вместо пяти пуль стало четыре. И огромная, как бы многостворчатая, скорбь хлынула в него. Шумное широкое дыхание послышалось вблизи. Он поднял голову. Огромный верблюд, тоскливо мотая головой, шел вдоль состава. Его лиловая тень прошла по ногам Мургенева. Сквозь заледенелые ресницы луна блеснула в верблюжьих глазах.

— Эх ты, зверье,— шепотом сказал Мургенев вслед верблюду. Ему хотелось что-то добавить, а что — он и сам не знал.

1926

ПУСТЫНЯ ТУУБ-КОЯ

Глава первая

Экая гайдучья трава! Не только конь — камень не в силах раздавить, разжевать такой травы. И не потому ль в горах скалы — обсыпавшиеся, обкусанные, словно зубы коней, что бессильно крошатся о травы Тууб-Коя.

И над всем, вплоть до ледников, такое же желтое, как пески Тууб-Коя,— небо.

Звезды на нем, словно шаянье сухого помета аргалов.

Да и то так ли? Потому что никто не знает, есть ли на этом мутно-желтом, гнилой соломы, алтынном жалком цвете неба,— есть ли на нем звезды.

И все же через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, сквозь уральские и иные степи пробрался в партизанский отряд товарища Омехина агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

Удивительнее его словес, которые, правда, стоили пятидесяти газет,— алебастровый, девичий цвет его лица. Никакие солнца никаких пустынь не могли потревожить его нежнейшей кожи, а он, нимало не млея, гордился своими словесами и особенно — способом своей агитации.

На трех ослах пригнал он свое имущество. На первом — «Командир» по кличке — имел Глушков «вполне исправный», по списку, пулемет. На остальных— кинематографический аппарат «Кок» и в туркменском пестром мешке — круглые ящики лент.

Ноги у Глушкова были босы, потрескавшиеся, в цыпках, а брюки он почему-то не подбирал, и густая желтая пыль была в отворотах — точно он нарочно насыпал туда песку. Вытянувшись, стоял он пред товарищем Омехиным, и было у него такое розовое лицо, будто явился он с ледников.

— Удивительный способ моего воздействия на массы заключается в объяснении событий предыдущего строя, демонстрируя вышеуказанные события и любовные драмы на мелком экране посредством домашнего электричества, машиной, приводимой в действие человеческой рукой, именуемой «Кок», что порусски значит: победа.

— Победа? — спросил Омехин и поглядел в горы Тууб-Коя, в ледники, что одни прорезали небо и куда бесследно ушли отряды белых.

— Несомненно, победа,— ответил Глушков, и зубы его показались белее алебастрового его лица.

— Тоды что ж,— сказал Омехин.— Мы не против буржуазной культуры, если она со смыслом... Показывай.

Больше года уже носился омехинский отряд по барханам Монголии, больше десятка месяцев жевали кони гайдучьи травы пустыни, и многое стал забывать товарищ Омехин. Так, пройдя несколько шагов, остановился он и поглядел на тех трех заморенных осликов, на жирных оводов, носящихся вокруг них, и на Глушкова, раскладывавшего по кошме аппарат «Кок».

— Поди так, про любовь?

— Преимущественно про любовь, товарищ.

— Зря. Тут надо про смерть.

— А мы подведем соответствующую структуру.

Одни сверкающие ненавистью к зною ледники, одни они прорезают небо. Высоки и звонки горы Тууб-Коя.

И, отходя к своей палатке, хрипло сказал Омехин:

— Разве что — подведем.

Глава вторая

В средине ленты, когда гладкий и ровный «трутень» объяснился в любви длинношлейфой даме, а соперник его — трухлявый лысый злодей — подслушивал за портьерой, когда Глушков совсем приготовил в памяти одну из удивительных своих речей, такую, что после десятка подобных совсем к черту бы развалился старый мир,— в отряд, пробравшись незнаемыми тропами, примчалось подкрепление — уфимские татары.

Экран потух, партизаны заорали «ура», и косым ножом семиреченский казак Лумакша перехватил горло кобылице. Казаны для гостей мыли так, будто собирались варить в них лекарство, и, по степному обычаю, сам Омехин первый кусок сваренной казы пальцами положил в рот командиру отряда татар Максиму Семеновичу Палейке.

— Вступаю под непосредственное ваше командование,— сказал Палейка, быстро глотая кусок.

— Кушайте на здоровье,— ответил Омехин, придвигая блюдо.— По поводу же картины замечу: с точки зрения человеческой целесообразности любовь вызывает жалость к себе.

— Зачем же... Жизнь любить не мешает, особенно — рожать. Не рожая — какая жизнь. По-моему, женщина у меня должна быть единственная. Чтобы сказать фигурально или, в пример, аллегорией,— присосаться к шее на всю жизнь и пить.

— Не одобряю,— возразил Омехин.

Он хотел было спросить о буржуазном происхождении Палейки, но здесь тонко, словно испаряясь в сухом, как пламень, воздухе, пропел горнист.

Всадники вспрыгнули на коней.

Казак Лумакша, резавший кобылу, привел двух киргизов. От страха стараясь прямо, по-русски, держаться в седлах, сказали они, что ак-рус — белые люди — с ледников пошли в обход омехинскому отряду, по дороге берут киргизские стада, и бии — старшины — собираются резать джатачников.

— Мы сами джатак,— сказали они.— Пусти нас, мы по вольной тропе пришли.

«Джатак — значит бедняк,— самому себе перевел Глушков.— Необходимо отметить и употребить в речи, как окончу картину демонстрировать...»

Дни здесь сухие, как ветер, тоска здешней жизни суше и проще ветра, и ветер желтым и крупным песком заносит конец ее.

Вот поехали утром еще трое партизан сбирать кизяки — топливо — и не вернулись.

В долине Кайги остались сторожа подле запасных табунов, пустые палатки, три пасущихся подле саксаулов ослика и агитатор Глушков, спящий со скуки на камне, подле смотанных лент.

Сторожа рассказывали сказки о попадьях и работниках. Неутолимая тоска по бабьему телу капала у них с губ, и Глушков проснулся от вопроса:

— Неужель такая баба растет, как на картине? Надо полагать, перерезали таких баб всех, а не порезали — мы докончим. Зачем ты, сука, виляешь, когда мы тут страдаем, а?

Проснулся Глушков, тесно и жарко показалось ему в грязной своей одежде, пощупал горячий и потный свой живот, подумал — разве можно, действительно, показывать в пустыне такие бедра. И с необычайным для него матерком добавил:

—...Вырежу прочь вышеуказанный кусок из ленты.

Тогда же.

На одной из темных троп шарахнулись в сторону копыта коней.

Темно-вишневый цвет смолистой щепы осветил узловатый подбородок Омехина, кровь на копытах коня и грудь человека, разрезанную в виде звезды. По челку утонула в груди человека конская нога.

Это был один из троих, ушедших утром сбирать кизяки.

Крупным песком заносится конец здешней жизни.

Палейка оправил ремни револьвера и тихо сказал Омехину:

— Предлагаю: труп в сторону. Пленных не брать.

От гривы к гриве, от папахи к папахе пронеслось с неясным шумом, словно вставляли патрон в обойму:

— Пленных не брать.

— Так точно,— прошептал задний в отряде, оглядываясь в тесную темноту,— так точно: пленных не брать.

В битве подле аула Тачи, как известно вам, был убит полковник Канашвили, зарублено семьдесят три атамановца и взят в плен брат Канашвили.

Горный поток тоже не брал пленных. Вода мутнеет от крови только в песнях, а пасмы туманов в горах были такие же, как в прошлый день.

— Расстрелять,— сказал, не глядя на пленного, Палейка. Он разыскивал тщетно спички, он не курил всю ночь, и, конечно, приятнее держать в руках папироску, чем шашку.

— Товарищ...

Омехин зажег ему спичку. Такая любезность удивила Палейку, и он даже поклонился:

— Благодарю вас, товарищ Омехин.

Омехин зажег еще спичку и так, с горящей крохотной лучинкой в руке, проговорил:

— Но, товарищ, поскольку она женщина, а не брат...

Палейка опять зашарил спички.

— Предлагаю: расстреляем через полчаса. Я ее сам допрошу. Выходит, не брат, а жена? — спросил он почему-то Омехина.

Тот тряхнул головой, и Палейка тоже наклонил голову.

— И жену... тоже можно расстрелять.

— Можно,— подтвердил Омехин. И тогда сразу Палейка почувствовал, что папироса его курится.

Был рассвет. Пятница. Татары умело кололи кобылиц, и так же уверенно, словно блеском своим сами себе создавали счастье, так же смело блистали ледники Тууб-Коя.

— Допросили. Чего ее караулить, мазанка у ней такой крепости: развалится, крышей придавит, и в расход не успеешь пулей ее вывести. Тоже строят дома: горшок тверже. Знает свое дело.

Палейка любил говорить о великой войне. Он рассказывал, как при взятии Львова за его храбрость полюбила его черноволосая мадьярка и как он на ней хотел жениться. Свадьба не состоялась: войска оставили Львов, но на память она дала ему дюжину шелковых платков песенного синего цвета.

Он вынимал тогда один из платков и, если приходила нужда, нос туда вкладывал, словно перстень.

Так и тут — он потянул палец за платком, галифе его заняли весь камень.

— Допросили, Максим Семеныч?

Палейка поднял платок. Пятеро татар, лениво переминаясь с ноги на ногу, ждали позади Омехина

— Допросить-то я допросил. Однако должен предупредить вас, Алексей Петрович, что указанная вами грузинка есть не жена, а сестра Канашвили. Зовут Еленой и, между прочим, девица. Она согласилась дать исчерпывающие сведения о состоянии бандитских шаек в горах, указать пути обхода и все связи бандитов с городом.

И по тому, как Палейка твердо выговорил последнюю фразу, Омехин понял — врет. Тянущий жар у него прошел от губ к ушам, упал на шею, и ему показалось, что он пятится.

— Я согласен на отсрочку расстрела. Я ее сам допрошу, товарищ Палейка.

— Очень рад. Вы, как твердо знающий политическое руководство, за долгое пребывание в степи изучивший ее... У вас связи с городом не имеется, если туда препроводить?..

Связь тут — красное знамя, да и то источили ветры и дожди.

Чудак Палейка, весенняя синяя твоя душа!

Омехин подошел к ветхой, словно истолченной киргизской мазанке. Несколько партизан заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки.

мазанки, перебивали очередь, переругивались, с силой рвали рукава друг другу.

— Черт, гляди, отмахнул на круговую от плеча! Зашивай теперь.

— А ты воткнулся головой, что клоп в пазуху. Ишь весь накраснелся, кровью налился. Надо и другим...

Испитой, бледный, как его старая потертая шинель, мужик тщетно проталкивался между двумя крепкотелыми татарами. Бока его шинели, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обеих сторон ремень, и локтями он упирался в стоящих рядом татар.

— Я совсем немного, братишки, одним глазком,— умолял хилый парень.— Дай-ка, ну-у...

Другой, тонкий, вертлявый, в короткой шинели, ухитрившийся придать ей вид щеголеватого кафтана, босой, угрем проскользнул между гладких круглых спин и отверстие отыскал совсем под локтем мужика. Сухие ноги кафтанника совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгнул от удовольствия:

— Ай, что за женчин... Все только пундрится и мундрится...

Столпившиеся захохотали:

— Неужели еще пундрится?! Вот стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушила, доведись до нашей русской бабы, а этой хошь бы што...

— Полька она.

— Может, и еврейка, только белая.

— А муж генерал, говорят. Его не поймали.

— Ха, что ей муж? Его и не было в отряде, она сама орудовала, как командир. Вот черт баба — в штанах, с ножом, а рожа крашеная...

Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу толкалась к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти. У одного старая, пробитая пулями шинель треснула, и фалда повисла до земли. Он, не оглядываясь, попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, рассвирепев, принялся лупить напиравших по чем попало. Серые

шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох.

Омехин, давно недовольно наблюдавший за солдатами, придерживая тяжелый наган, двинулся к ним.

— Обожди, не муха! Чего ползешь? Где караул? Ну, отойди, говорят.

Мужики шарахнулись, словно разлепились, и едкий пот нанесло на Омехина.

— Сплошь пундрит,— сипло продохнул кто-то позади.

Омехин обошел партизан и поискал отверстие в стене на уровне своего роста.

Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся.

— Куда вы смотрите-то?

— А ты пониже, пониже, брат.

Омехин недовольно примял немного фуражку на голове и, согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Мазанка совсем пустая. Пахнет в ней золой. Две грязные полосы сосновых нар, скорее — длинная узкая скамья, и на ней, теперь сразу стало видно, сидит женщина в белой черкеске. Две тугие косы прямой линией — по спине. Косы будто зеленые. Лица не видно: оно к свету от окна. На коленях — белая папаха. В мягкой расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом на плахе — круглая плоская голубая коробочка. В руках у женщины пуховка. Она водит ею по лицу, поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отходит от Омехина. Он оперся, видимо, тяжело: из ветхого глиняного кирпича стенки выдавился сухой треск. Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась. Еще сильнее запахло мокрой золой. Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза, или ресницы хватали до бровей.

— Ссс... скоты...— скорее свистнула, чем произнесла, она.

Лицо бледное, выжженное, неживое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза наездничьи, разбежистые.

Омехин отвернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное, молниеносное насекомое.

На его плечо по-дружески, но крепко легла рука Палейки.

Пальцы у него растрепанные и грязные, словно испаренные веники.

— Допросили?

— Собираюсь,— ответил Омехин.

— Может, препроводить ее при письме? Часть нежелательно возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?

Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:

— Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем... Да тут лавочка у ней, дальше коробки с пудрой не двинется. Да... Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу...— повторил Омехин.

Голоса негромкие, не дальше сжатых губ, короткого дыхания, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стенке мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар — она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно не удивительно будет, если переданное ею тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.

— Я вам не сочувствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения мне необходимо было бы знать первому...

Палейка вдруг круто, по-военному повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.

Омехин крикнул уже вслед ему:

— Обождите, Максим! Надо выяснить, чего недоразуметь. Верите ли...

Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.

— В лесу надо поговорить,— через плечо сказал ему Палейка.

— В лесу?

— В лесу. Здесь неудобно.

Глава четвертая

Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая нездешняя птичка выскочила из-под его куста.

«Хорошее место для могилы»,— подумал он.

Палейка, не по-солдатски широко размахивая руками, шел далеко впереди.

...Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст по меньшей мере. Собачий перегон — так называются пять верст...

Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Горы — как палатки, в которых спит смерть.

Одни ледники разорвали желтое небо.

Ледники холодом своим смеются над пустыней.

...К горам, что ли, он идет?

...Не дойдешь, брат, в такой тоске.

...Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит без того сухие губы. Птица у меня на родине, в Лебяжьем, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые, и я все-таки недалеко ушел со своей тоской...

Палейка, обессиленный, повалился грудью на землю.

Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. Теплый дождь — подумал с неудовольствием кустарник.

Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые, как дресва саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.

«Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а?..» — хотел было сказать он, и, как всегда при речах, потер он оземь и согнул правую ступню.

— Бывает,— промолвил он.

И так стало тихо, что от соседнего кустарника, вершка четыре от ствола, отскочила вдруг голубенькая мышка. Юхтач называется она, что значит — жадный. Задумчив и величав ее чуть загнутый нос.

Палейка приподнялся на локтях, вынул неслышно наган. Рот у него открылся: один зуб у него, оказывается, перерос другие. И главное — желтее всех.

Он повернул потную голову к Омехину и сказал:

— Пали!

Омехин хотел отступить, но Палейка приподнял на глаз мушку, и Омехин прошептал:

— Бог с тобой, Максим Семеныч, с чего я в тебя палить буду?

— Не в меня, в мышь. Кто попадет, тому она и достанется. Пали, ради бога.

— Спятил! Да никогда я в мышей не стрелял из револьвера.

— Пали! Считаю до двух. Кто убьет — тому. Система у нас разная. Пали, тебе говорят.

Мышь насторожилась, хвост у нее поднялся, она вздохнула, собралась бежать... и вдруг, не чуя себя, Омехин шепнул:

— Считай!

Глава пятая

Женщина лежала на лавке, подложив папаху под голову. Когда Палейка вскочил в мазанку и поспешно задвинул за собой дверь, она быстро поднялась и села, держась обеими руками за кромку плахи.

— Я закричу. Что вам?

Не отвечая, Палейка чиркнул спичку и зажег небольшой огарок, оглянулся — куда бы его поставить. Она прищурилась, словно приберегая глаза для разбега, быстро согнула в локте его руку и сказала:

— Стойте так!

Осторожно достала из кармана кофточки круглое зеркальце и пудреницу из бокового кармана юбки и, открыв голубую коробочку, не глядя на Палейку, неподвижно светившего ей, стала пудриться.

Когда нос стал белее лица, она губной помадой тронула чуть-чуть губы. Улыбнулась тягостно-легко.

— Теперь хорошо.

Спрятав пудру и помаду, взглянула на Палейку. Зеркальце осталось у ней в руках. Вытянулась и, еще притянув к носу зеркальце, тронула рукой грудь Палейки.

— Отойдите дальше.

Палейка, повинуясь совсем не ее руке, задевшей, словно пчела, отступил назад.

В зеркале брызнулась отсветом свеча, ему захотелось загасить — но губы ссохлись.

Она опять села и положила зеркальце на колени.

— Что же, вы опять молчать будете, как прошлый раз? Вам чего, собственно, от меня нужно? Я ведь знаю, куда вы меня утром отправите, и ничего вам не скажу. Я и ничего не знаю.

Она ненадолго задумалась. Опять словно водяной паучок скользнул на ее щеки. У паучка смешное имя—«мзя».

— Я хотела после себя оставить...

— Мне?

— Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить... я их люблю.

Она сложила на груди обе косы вместе, играя пушистыми концами.

«Хитра»,— со злостью подумал Палейка, ощущая теснящуюся в носу влагу растроганности.

И он сказал басом:

— Серьезнее вы ни о чем не попросите? Может, какие другие вещи есть?

— Вот смешно! Это очень серьезно...

— Неужели на меня нельзя рассчитывать в смысле легкой, предположим, помощи. Мы, в крайнем случае, где-нибудь и понаскребем.

— Помощь... фи! И притом... надо же понимать. Кто служит, вообще как-то действует в жизни вместе с хамами, сам теряет благородство. А у лишенных этого достоинства я услуг не принимаю. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок. Да, вот еще что: разрешите мне причесаться к завтрему, а то завтра я не успею. Подержите еще огарок.

Женщина спокойно, таким же заученным жестом, как ее слова, стала распускать волосы.

Палейка быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, сломляясь у потолка. Голова на потолке превратилась в чурбан. Он сел рядом с женщиной и, не давая ей опомниться, поймал ее руки.

— В помощи? Да? Фу, гадость какая, только подумать... Уходите. И вы еще прикоснулись ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткие, желтые... как окурки...

Она с отвращением вытерла свои пухлые руки о низ черкески. Вдруг зеркальце соскользнуло с ее колен, упало на пол и разбилось пополам.

Женщина испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами, пронзительно крича:

— От вас только несчастье, горе, потеря! Ненавижу, ненавижу! Убирайтесь! Знаю, что завтра расстреляете, знаю... и незачем зеркало бить!

Она бросилась на нары, подогнув под себя колени, и, уткнувшись головой в папаху, зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетали, увертливо развивались.

— Ишь, черт! — сказал хрипло Палейка. Горло у него было сухое, словно из папье-маше.— Ишь, черт, зеркало пожалела. Сплошь тяготение к суеверию.

Он слегка помолчал. Пальцы его нащупали в кармане платок. Мадьярский платок был последний. По бокам он обтрепался. Не будет больше таких платков у Палейки. И любви такой песенной больше не будет. Капут.

— Я его оставлю.

Женщина молчала.

— Я его тут рядом положу. Мне его невеста подарила. Теперь она, несомненно, померла. Я к вам даже не в смысле любви, а так, если что сможете почувствовать, то предлагаю вывесить на видном месте. Думаю: долго придется вам жить, так как, по некоторым соображениям, предполагаю отложить ваш расстрел.

— Я хоть в сапогах, а портянок не ношу. Уберите платок.

Палейка упрямо подошел к скамье, аккуратно разложил платок и плотно захлопнув дверь, строго сказал двум часовым татарам:

— Смотрите в оба, потому что — стерва.

Татарин только сплюнул через уголок губ.

— Знаем.

Он поднял винтовку и сплюнул еще.

— Все знаем, солай.

Увидав входящего, Омехин приподнялся с койки.

— Какова?

— Ничего.

— Говорили?

Палейка, высоко взметая пушистые брови, захохотал.

— Везет вам, товарищ Палейка, с бабами. И-и, везет. Я ведь как стреляю, а и то промахнулся, на ваше счастье. И в чего — в мышь. Она добровольно...

— Конечно.

— Сволочь бабы. Брата ухлопали, многих перебили, а тут на четвертый день... Вот и женись тут. Возни нам теперь с ней будет.

— Какая ж возня? Отправим по месту назначения.

— А вы как, товарищ Палейка?

— Побаловался — и будет.

— Да... будто и хорошо, будто и плохо. Везет вам с бабами, товарищ Палейка.

— Да, везет,— вздохнул Палейка.

Пески не стынут за ночь — как сердце. Пески разбредаются по всей пустыне, как кровь по телу. Кто убережет саксаулы от вихрей? Тученосно увиваются пески вокруг саксаулов.

Глава шестая

Деревянная койка была жестче седла. У постланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы, отпечатки этих толстых грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. Но почесываться приходилось не от одних швов. Омехин, ворочаясь, бормотал:

— Швы... вши...

Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но...

— Лешак те дери, таку жись! Сидишь, как вошь на сковороде — и жирно, и жрать нечего. Бабу бы по такой жизни.

«Военком рядом за стенкой, спит уже. Как боров, храпит, наверное...»

Омехин прислушался.

«И дыханья совсем нет. Значит, доволен».

— А ну его, сдался он мне!

Он достал махорку, выкурил трубку. Опять лег, накрывшись одной полой шинели. Духота — как в мелочной лавке. Промчался мимо патруль. Годы спал на шинели, не жала, а тут... И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице... А тут патруль. Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота... пауза... похоть... пахтанье... похоть...

Со скуки читал он словарик иностранных слов, среди которых все были русские... «Иностранные» напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.

...Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет — словно на пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь — словно каждый день пасха...

Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.

— Пойду, посмотрю караул.

Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.

Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов, и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне — там никогда не узнаешь эхо.

Омехин запнулся о порог.

Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекающий гогот слышался там. В кустарниках за лагерем выли приставшие собаки.

— Тише! Ну-у...

Кафтанистый партизан схватил его за руку и, со смехом указывая на троих татар, громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:

— Ты на них посмотри... ты на эти рожи. Хотел ка-а...

— Чего тут, парни, а?

В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей, наверное, было стыдно видеть себя плачущей, и потому она визжала непереносно высоким голосом:

— Изверги, палачи! Сегодня комиссар кидался, а теперь стаей хотят... Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же, сию минуту! Гадины!

Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:

— Ну?..

Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.

— Баба нету. Четыре месяца терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, комиссар щупал, надо нам мало-мало прижимать. Он...

Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.

— Он нож — пщак сюда, начал меня резать. Пошто нам нету баб?!

Кафтаносец даже взвизгнул:

— Эта рожа, браток, смотри, эта рожа! Бабу ему надо! Терпи, терпи так, как революция тебя терпит, а?

И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.

— Они для страха в воздух уф... Припереть ее чтоб.

— Запереть ее,— сказал Омехин с раздражением.— Запереть наглухо... Ты покарауль пока,— указал он кафтаносцу.

Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте, и видно было их, казалось, за десять саженей от мазанки, куда отошли Омехин, татары и Палейка.

Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлявый ветер чуть шевелил полы шинелей.

— Поскольку...— сказал Омехин, глядя на камень.

Свеча нагорела, и не находилось дурака снять нагар, и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение.

— Поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попустительство, не кончив ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеймит позором наш отряд,— я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание аккредитивов на анархические выходки — часовых: Гадеина, Алим Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но, принимая во внимание их несознательность, приговор считать условным. До исполнения дежурить над гражданкой... чем и загладить свою вину. Иначе — к черту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?

— Нет,— ответил Палейка.

Все так же глядя в камень, Омехин сказал татарам:

— Приговорены условно к расстрелу. Ступайте по местам и караул веди теперь безо всяких. Понял?

Татары вдруг взялись за руки и отступили.

— Ну?!

— Э, понял, Лексе Петрович, э...

И сутулый татарин низко, почти до земли поклонился.

— Э...

— Осмелюсь доложить,— сказал Палейка,— могли не понять. Может, разъяснить им?

— Какие там разъяснения, если о пощаде не просят. Ясно.

Глава седьмая

Утром от мазанки нашли следы, направляющиеся к горам. Скакали четыре лошади, а на самой легкой, на карем иноходце Палейки, мчалась сбоку трех, видимо, она — Елена Канашвили.

Всякие бывают события в жизни, как всякая вода в реках, но очень муторно было в это утро Омехину. Сидел он в седле, вытащив длинные сухие ноги по кошме, и глядел с раздражением, как Палейка выбирал в табуне лошадь.

— Каки события предпринимаешь?! — крикнул он ему.— Плохо, видно, с бабой спал, раз утекла. Плохо, видно, присосался.

Палейка с криком ударил укрючиной в табун. Кони метнулись, из-за палатки послышался топот копыт, и Палейка выехал на неоседланной лошади.

— Ка-амандер... Без седла ехать хочешь?! Не овод. Дать ему седло!

Татары подхватили Палейку.

— Дарю тебе на счастье свое седло,— сказал Омехин.— А коня не дам, прозеваешь.

Вслед за Палейкой помчались еще шесть всадников.

Палейка метался один, без дороги, натыкаясь на кусты, камни, рытвины. Дергал за уздцы коня,— тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте, пытался даже сбросить непонятного ему, по желаниям, всадника.

Он словно бежал в догоню за скрывшимися и в то же время словно скакал от Омехина.

Но все-таки на крутой горной тропе, подле горы Ай-оль, Омехин догнал его. Оборачиваясь на топот, Палейка крикнул:

— Они, Алексей Петрович, убьют нас, как тараканов. Четверо их.

Омехин в седле сидел так же уверенно, как за книгой, за словарем иностранных слов, который он небывало презирал. Ноги его плотно сжимали бока и были четырехугольные, тупые и скучные.

На шестой версте от лагеря, в нескольких шагах от тропы они увидели труп бежавшего часового Алим Каши. Череп его был разрублен саблей. Скользнувший дальше клинок рассек гимнастерку и обнажил впалую, чахоточную грудь.

— Тоже баба понадобилась,— не слезая с лошади, сказал Омехин.— Я думаю, отказался с ними в горы дальше идти. Не захотел быть предателем рабочего класса. Потому закопать его, а то волки сожрут.

Чернели вдали сухие выветренные скалы. Очень сильно, до кровавых ссадин надо было сжимать бока коня, чтобы еще и еще сбирал он растраченные силы.

И вот у Агатовой скалы еще распростертое тело партизанского коня и всадника — часового Гадеина. Это был красавец саженного роста, веселый и хохотун. Скрюченные руки его запутались в поводу. Обезображенная голова коня — рядом.

Гадеин еще жив. Он поднимает омертвевшие веки и чуть слышно, словно веками, спрашивает Омехина:

— Стрелять пришел? Зря я от твоей пули бежал. Лучше от своей пули азрак — азрак капут. Он говорит: бежим, убьет, все равно расстрел. Каши говорит — бежим, Закия говорит — бежим, все равно расстреляют. Ха, куда свой полк убежит татарин?.. Ха... Закия баба нет. Закия баран. Закия мне в башку расстрелял, как баба просил. Не стреляй, Алексей Петрович, в морду, стреляй прямо в сердце.

— Да,— сказал Омехин, подбирая свои повода,— кончится скоро. И верно — не понял, что значит «условно». Что значит условно? — обернулся он назад.

Бойкий пензенский паренек выпрямился в седле.

— Условно,— значит, товарищ комиссар, которых убить бы надо, да пожалели оттого, что хорошие ребятишки.

Ближайшая гора прикрыта до пояса кустарником, словно юбкой, а дальше голая, скалистая. В кустах паслась лошадь. Высоко подымая пухлые губы, она весело щипала колючую траву. Появление людей ее не встревожило.

Она отдохнула, освежилась и радостно заржала. Далеко от лошади, впереди, на каменистой тропке лежал вниз лицом труп. Он врылся в расщелину камня грязными пальцами.

В него было всажено — в спину, в шею и в голову — четыре револьверных пули. Совершенно бессмысленно, тщеславно.

— Это баба стреляла,— сказал Омехин.

Дальше уже шел след одного коня.

Омехин посмотрел в горы. Куст окончился, и обнажился голый камень. Высоко, где-то в снегах серел аул. Дымок виднелся среди скал. Вечная жара веяла от камней.

Омехин натянул левый повод, а сам откачнулся вправо.

— Будя! Дальше нас самих пристрелят. Вертай, товарищ, обрать. Лошадь забери. Жалко мне твово иноходца, Максим Семеныч, но, бог даст, поймам когда-нибудь ее.

Позади его в спину он услышал шепот Палейки.

— Товарищ, вы заметили — у последнего-то в руках волосы ее...

— Ну?

— Он ведь был самый некрасивый. Закия, который всех убил. Он ее за волосы успел схватить...

Омехин осадил коня, поравнялся с Палейкой и наклонился к нему так, что почувствовал запах кумыса и курта.

— Ну, а если даже и за волосы... За волосы таких баб бить надо, а не помирать.

Глава восьмая

До потока, что проходил у самого стана, они ехали молча. И когда копыта разбудили деревянный самодельный мостик и вода словно забурлила еще быстрее, Палейка догнал Омехина. Держась за луку его седла, он забормотал:

— Я ведь вам все наврал, Алексей Петрович, как есть наврал. Может, она ему жена, может, сестра... или польский шпион. Не спал я с ней, и ничего не было, и зря вы в мышь промахнулись. Лучше бы мне промахнуться. Я ей только синий платок подарил.

— Ну?

— Чтобы она показала в руке, если захочет вообще с симпатией, а она...

Омехин вдруг тяжело повернулся в седле и огорченно будто крикнул:

— Увезла?!

Сухие скулы Палейки вспотели, повод скользнул, и он соврал:

— Сожгла. Пепел мне показывала потом, после татар. Пепел. От шелку сколько пепла? Как от папиросы.

Вязкая теплота наполнила жилы Омехина. Ему захотелось спать, стремя отяжелело и словно стопталось в сторону.

— А ну ее,— сказал он лениво.— Надо протокол для отчета составить. Я еще хочу днем мазанку осмотреть, как они удрали. Татар жалко...

К двери мазанки, там, где скоба, был прибит тоненьким гвоздиком синий шелковый платок Палейки.

— Так,— проговорил Омехин задумчиво, глядя, как Палейка торопливо, даже не спрыгнув с лошади, сорвал платок,— так, посмеялась паскудная баба. Увижу — шесть пуль всажу.

Отъехав немного, он остановился, посмотрел на Палейку, покачал головой и вдруг, спрыгнув с лошади, пошел пешком к палатке. Какой-то проходивший партизан подхватил повод его коня.

Вечером Омехин взял винтовку, переменил обойму и почему-то снял с сапог шпоры, хотя он очень любил ходить в шпорах.

Ружье ему показалось очень тяжелым, ночь — непереносно душной, и только было хорошо то, что не видно было во тьме гор.

Он сел недалеко от мостика через поток. Воды словно убавилось. Пахла она цветливыми горными запахами. Омехин не спал вторую ночь, и потому все ему казалось почему-то соленым. Виски тучнели, и тьма ночи была непереносно тягучей.

Под ногами, казалось, сыпались-сыпались мелкие, острые, как иглы, камушки. Костры в лагере потухли, и скоро вернулся через мост патруль. Мужики громко хохотали, и один из них скинул в поток горсть горных орехов.

Так Омехин сидел долго. Ноги свела тесная боль в жилах. Ружье он отложил в сторону. Где-то на небе мелькнуло пятнышно зеленого с желтым рассвета, и здесь он услышал заглушенный топот.

Всадник медленно, со стороны лагеря, приблизился к мосту. Постоял немного и громким шепотом понукнул лошадь. Лошадь четко ударила копытами.

— Палейка, ты? — окликнул его Омехин.

Всадник дрогнул и неестественно громко выкрикнул:

— Я!

— Подними голову выше. Я тебе покажу, куда надо бегать.

Омехин плотно, согласно уставу, прижал к плечу ложе винтовки.

Лошадь шарахнулась от выстрела, прыгнула два раза и с пустым седлом помчалась обратно в лагерь.

Омехин перевернул труп, из бокового кармана гимнастерки достал пакет, завернутый в синий мадьярский платок. Там было немного денег и документы Палейки. И документы и деньги он кинул в воду вслед за трупом, а платок сунул в карман.

Затем он, неизвестно для чего, разжег костер из саксаула. Закурил и разложил перед собою платок. Достал веточку с горящим концом и проткнул платок посредине. Запахло гарью, и палочкой же Омехин швырнул платок в костер. Подошедшему же секретарю штаба сказал:

— Надо мне сегодня картину ту досмотреть, что татары помешали. Какая, интересно, мораль получилась из ихней любви.

— Нельзя ее досмотреть, товарищ комиссар,— ответил ему секретарь.

— Пошто же я не могу ее досмотреть?

— Оттого, что две недели назад уже как демонстратор, товарищ Глушков, отъехал в другую сторону, с вашего же разрешения переменив ослов на лошадей, потому что ослы, как известно, были задраны волками за отсутствием стадности и наблюдения.

— Две недели?

— Так точно.

— Ишь ты, жизнь-то как идет. Жизнь идет прямо...— но не докончил, как именно идет у него жизнь, так и не докончил товарищ Омехин. Только ухмыльнулся.

Камень в горах тугой и броский. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух, и облака, как пепел на костре человека, закрыли камни.

Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить.

И все же через гайдучьи травы, через пески откуда-то от Тюмени, через уральские и иные степи, через партизанский отряд товарища Омехина пробирается дальше агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

1925

ПЛОДОРОДИЕ

I

Прибежал сынишка Алешка. Весело тряся недоуздком, радостно крикнул, что Серко разорвал путы о камень и ускакал в гольцы. Смеяться было нечему. Мартын со строгим лицом повернулся к сыну и нехотя вытянул его по потной спине недоуздком. И когда ударил, стало так тоскливо и жалко — то ли сына, то ли затерявшуюся в горах лошадь. Он перекрестился на видневшийся через забор крест молельни и сказал кротко жене:

— Ты уж обедать не жди... Дегтем бы смазана была, тогда бы не угнала, а то теперь овод поди ее к лёдову затурил. Вот гнилота: путы — на что волос, а и то сгнил. Скоро и пригоны порушит... Работаешь, работаешь...

Жена его, маленькая, болезненная и тощая, словно недосиженный цыпленок, зная, что напрасно говорит и напрасно сердится, далеко брызгая жидкой слюной, крикнула ему:

— Заработался, леший!.. Мотри — толстый, как церква... Ишшо дите беззащитное бьешь... Ты бы себе за свою леность по мусалу съездил! Ох, пропасть бы мне скорее...

Чтобы подняться к гольцам, нужно было пройти через все село, через кладбище и сосновую рощу; оттуда начинался березняк, затем Святой Овражек и дальше гольцы. Мартын достал единственную новую ситцевую — в большой цветок — рубаху. Пелагея даже побледнела от злости, прижалась к голбчику, рот у нее пересох — и ей самой стало страшно своего гнева. Она ткнула ему вслед тощим пальцем, точно пронзая что, разглядела свой палец — и тонко, словно с большой высоты, завыла.

Улица шла по берегу озера, где по необычайно зеленой траве вверх днищами были раскиданы лодки. Над берегом и озером тлелся легкий, как дремота, туман. Отдаленные горы, как снежный обруч висевшие над долиной, тоже были в синевато-розовом тумане.

Один лишь бот, принадлежавший Мартыну, валялся ближе всех к воде, боком; днище было треснутое, пакля вылезла и — обиднее всего — кто-то нагрешил под лодку. Ребятишки, наверное.

Мартын хотел поругаться, но вспомнил, что не только бот, но и сети его давно сгнили. Было жарко. Собаки, высунув ровные розовые языки, лениво глядели на него, словно приглашая проходить и не мешать сну. Мартын бодро дернул плечом, оправил рубаху.

— Направлю вот, с понедельника али со вторника начну...

Ему неизвестно с чего стало весело. Он любил уходить в горы. Там легко думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в лености. Сельчане были староверы — кержаки по-алтайскому,— любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтобы упоминали часто о такой помощи. А Мартын все забывал, и благочестием его наполнить было так же трудно, как бочку плевками.

Когда он начал подыматься проулком к кладбищу, навстречу ему попалась Елена, жена начетчика Скороходова. Она была высокая, полная; льняные косы выбивались из-под длинного платка на синий старинный сарафан. Мартыну понравилось какое-то раздолье, несущееся от нее. Пухлые белые руки ее тихо потрогали маленький подбородок, когда над ней низко пролетела сонная ворона.

— Здравствуйте, Мартын Андреич,— протяжно сказала она, проходя плавно мимо него. И белые руки ее, казалось, неистово как-то улыбнулись.

— И-ех... касатка,— сказал Мартын ей вслед...— И-ех... Поповски дочери, что голубые лошади: либо добры, либо дики.

И вдруг у него громко — будто в реве — заныло сердце. Сначала он как будто сдержал себя, но мотанулось, словно щука на крючке, сорвалось — и понесло. Мартын глядел в радужные от древности стекла окон, и какие-то мелкие рыбешки дрожали в них. Солнце поднялось высоко; басом, точно бык, прокричал петух; мальчишка с псалтырем в обеих руках торжественно пробежал мимо Мартына.

На кладбище он посмотрел, как над могилами, старинными голубцами в виде маленьких домиков, опушались березы. Вспомнил почему-то, что если в радуге выделяется зеленый цвет — к урожаю, и посмотрел на небо. В Святом Овраге он послушал, не ржет ли Серко, хотя помнил, что путал его версты за три от Оврага на березовой елани — поляне. Подле одного пня, почему-то похожего на сига, он посбирал перезревшую, почти темную землянику. Ягоды были темные и приторно-сладкие. Он выплюнул их с омерзением и пошел по березняку выше. Затем вспомнил про разрушенный бот и решил, что тут в чем-то виновата Елена.

— Краля толстопузая,— уныло сказал Мартын,— тоже лезет...

И опять заныло сердце, и трава под ногами казалась жесткой, словно солома.

— Я те мурсало-то расквашу, попади на меня!

И он закричал так, что даже сам вздрогнул:

— Серко-о!.. Сер-ко!.. Ну-у!..

Эхо отчетливо, без перекатов, повторило его крик. Рассыпчато покатился камень. И эхо и тилилиньканье камней указывали на близость гольцов. Мартыну надо было взять вправо, а он полез влево по самой крутой тропе. Облепиха путалась в коленях, громадная паутина с жирным пауком посередине села ему на лицо. Жизнь свою, казалось ему, знал он, знал все свои нужды, знал все, что ему нужно делать... и все же долго бежал в гору, пока по крыльцам за ошкур штанов густо не потек липкий и словно связывающий ноги пот.

Теперь вокруг него были матерые лиственницы, кое-где с них пластами была снята кора (для покрытия хлевов), ярко-желтая смола походила на ледяные сосульки. Подосинники синели в траве, дятел говорил где-то о кладах. Мартын огляделся — и опять рассердился не то на лошадь, не то на Елену. Прохлада охватила его, он лег полежать — ко сну он был падок, но в боку вновь словно хлестнулась заноза. Он ударил по стволу лиственницы так, что на недоуздке осталась сера.

— Я те мурло-то расквашу! Краса, подумаешь! Алена, тридцать три года...

II

Осиновые листья лежали кверху изнанкой. Осинник и попавшийся овражек густо заросли пучками. Мартын, как дети, любил пучки. Сломал одну, есть не мог и, даже не думая о ней, полез влево. На самом дне овражка Мартын выронил пучку — и поскользнулся на ней. Упав, он вдруг ощутил мокрый холод в колене, наклонился ниже; прозрачный до того, что паутинка, упавшая вместе с сучочком, виднелась на донышке его, маленький ручеек пробирался у него под ногами. Овражек показался ему незнакомым. Жужжали пчелы,— должно быть, недалеко пасека. Он поймал пчелу, она ласково зашипела у него в ладони, будто торопя его выпустить,— и не укусила. Он последил за ее полетом и пошел по ручью дальше.

То, что тут тек ручей, казалось ему большим непорядком, и это даже заглушило его сердце и то, что он выпачкал штаны. Откуда ручей? Озеро в долине Кок-Таш наполнялось весной тающими снегами со склонов гор, осенью оно сильно мелело,— и тогда легко было ловить карасей и линей.

«Родник, видно, забил,— придется проследить. Да и Серко небось к воде вышел. Где ж, коли не у воды, искать коня».

Овраг скоро кончился, ручеек тек уже из березняка. Был он теперь шириной не больше пол-аршина, тек он медленно,— упавшие березовые листья долго цеплялись друг за друга, словно играя, а потом, качаясь, плыли дальше. А местами вода была столь прозрачна, что ее можно было заметить только по журчанию.

«Не иначе, родник».

И вдруг, выходя из березняка, он увидал болото, самое настоящее болото с мелкими кочками, поросшими остро пахнущей осокой. Это было уже совершенно чудно,— никогда по склонам гор, окружающих долину Кок-Таш, не слышно было про болота.

«Да заплутал я, што ли?» — и Мартын встревоженно поднялся на высокую безлесную скалу. И тогда сразу, поверх запахов хвои, снизу, из долины пахнуло на него цветущими хлебами. От волнения у не-

го словно колос прошел по горлу. Ему казалось, что сквозь синеватую пленку тумана, закрывавшую озеро и долину, он видит поля, плотно затканные колосьями. Звенят усики, подмигивает игривый овес, просо лохмато, будто староверческие бороды... Много телег едут осматривать поля, голоса звенят ясно, значит, будет ведро, будут закрома подперты кедровыми слегами, чтобы не развалились...

«Соберу зерно, ружье обязательно куплю, на горностая уйду в камни... а там видно будет».

Он вновь вспомнил Елену — и кинулся к ручью.

Болотом идти было трудней, осинник перегнил, часто нога вязла в кислой няше — болотной глине. Перед самым концом болота из осинника выскочил журавль. Нелепо расставляя ноги, он разбежался, оглянулся со страхом и медленно полетел. Поднявшись над скалой, на которой был Мартын, журавль тоскливо курлыкнул. И журавль, и болото, и тоска — все было зряшное, пустое. Мартын обрадовался гольцам, обширному серому полю, голым скалам вдали и твердому, с каменным запахом лишаев ветру.

А ручей уже был величиной с шаг и встречал его грохотаньем влекомых им галек.

«Чисто наважденье... и Серко не могу найти...»

Он поднялся совсем высоко — едва ль уйдет сюда конь. Болотце, через которое он проходил далеко внизу, закрыл туман. Показались впереди холодные, крытые рыжими лишаями, обдерганные словно, скалы. Сверху хлынул ледяной ветер, знобким коробом натянул за плечами рубаху. Мартын, вправляя рубаху в штаны, упрямо потряс недоуздком:

«Я-то узнаю, в чем тут запалошная события...»

Солнце поднялось высоко, но было холодно; шаг становился все легче и легче, но было такое чувство, словно он идти-то шел, а — словно часы — не сходил с места. Закопошилась знакомая всем долинная тягость, все же Мартын не повернул назад.

Слева из гольцев вышла темно-бурая гряда холмов. Ручей уперся им в бока. С самого высокого холма Мартын разглядел внизу, еще левее, начало пустынной каменистой долины, соседней с Кок-Ташем, называемой Талас. Она была необитаема, гола; холодные потоки вод с ледников устремлялись туда, чтоб,

соединившись в реку, направиться в Нор-Зайсан. На холме было еще холоднее, он вновь спустился за гольцы.

Наконец он увидал Тиляшские неприступные скалы. Они подымались в густое синее небо высотою в пять наивеликих сосен, вершины их походили на поставленные дыбом челноки; огромный беркут, словно часовой, нехотя и злобно кружил над ним. За скалами начинались ледники, незнаемое лёдово, вечные холода, смерть.

И здесь Мартын увидал: огромная, с часовню, глыба, выпавшая из скалы, открывала что-то похожее на окно или погреб. Там, похожие на синие нити в ткацком станке, блестели тускло льды, и оттуда-то хлестал на волю неизвестный ручей. Выше и по бокам ледяного погреба шли широкие, в ладонь, трещины, осыпался щебень.

— Дивеса!..— сказал со смехом Мартын. Он был доволен, что знает, откуда течет ручей. Он наклонился с розового, похожего видом на паука камня напиться к крошечному запруднику. Коршун отразился в воде, и ему показалось, что коршун летает над ним.

— Брысь! — весело сказал он.

Но вода была столь холодна, что словно камнем ударило ему в зубы. Спокойствие охватило его, он свистнул, подмигнул неизвестно кому и побежал вниз. На одной из еланей он встретил Серко, стоявшего по голову в траве и яростно отмахивающегося тощим хвостом от оводов. Конь, увидав хозяина, заржал; в редких зубах его торчали листья таволжника. Таволжник цвел, значит, хорошо пойдет в сети карась.

III

Утром он почистил Серко, и баба долго дивовалась на это. Дальше ему захотелось на озеро. Он вычерпал бот, кое-как затыкал щели куделью, Алешка сел за лопашные весла. В курье — узком протяжении озера, заросшем камышом, встретились рыбаки-сельчане, сытые, здоровые. В ботах у них стояли большие корзины, наполненные рыбой — золотисто-серыми ка-

расями и темно-янтарными линями. Похвалили Мартына:

— Надо, надо! Клев на уду.

Мартын смазал морду внутри пресным хлебом; вода, казалось, гнула прутья, когда он опускал морду, долго расходились круги по воде. Утро было крепкое, как холст; кудерочки облаков ходили стайками. Жить бы, поживать да посмеиваться в такое утро да в таких местах.

Ресницы от теплоты слипались, словно березовые мочки. Мартын начал смазывать вторую морду, но вдруг опять защемило сердце, он отодвинул горшок с тестом и посмотрел на горы.

— Парит, Алешка.

— Но, парит! — возразил ему Алешка.— Я вижу — на сеновал хошь. Сичас ветер с лёдова подует, жара-то и схлынет. Я самолов поставлю.

— На поле надо сходить... поворачивай-ка, Алешка.

Алешка обиделся.

— Дай хоть морду спущу.

Он ловчее и быстрее отца поднял широкую плетеную, похожую на корчагу, морду. Мартын удивился на его сноровку, но было обидно, что сын не почитает его. Гляди, лет через восемь прогонит отца на полати и возьмется за хозяйство. Мартын сказал ему об этом.

— И будет...— уверенно ответил Алешка.— Лежи.

Мартын рассердился, выругал его.

Вытащив бот на берег, Алешка взял нож и пошел в березняки за вениками, а Мартын направился на пашню. Погонка хлебная — концы колосьев, образующих ровную земле плоскость,— блестела, словно начищенная; изредка над ней выныривали от легкого ветра князьки—более высокие и крупные колосья. Все было как нужно: в цветенье дул легкий ветер, погода ясная, в колосе завязывалось доброе зерно. Пахло теплой соломой и сухой землей, в пыли играли воробьи, пепел выстукивал «вот идет, вот идет...».

Мошки вились табуном, бабочек-белянок было много — все к урожаю, к ясности, а сердце у Мартына захолонуло еще больше. От жары, что ли, или устал, много пробыв над водой. Он вернулся домой,

влез на сеновал,— баба только что привезла накошенной травы. Трава была мелкая, точно волос, и пахла медом. Он тупо выслушал бабью воркотню, даже не обругал. Угрюмо смотрел он на ветхую крышу сеновала и так мотал головой, словно крыша могла сейчас упасть и раздавить его. Так он пролежал до вечера, а вечером поел картошки с луком, переложил топор под лавкой лезвием к стене и вернулся вновь на сеновал.

И весь следующий день пролежал Мартын. Баба начала беспокоиться.

— Болит где, што ли?

«Разве к доктору съездить?» — подумал Мартын. Но доктор жил далеко—за двадцать верст, к тому же Мартын думал, что доктора могут помогать только в животе, до всего остального они еще не дошли.

— Чего ж лежишь ты тут, будто лёдово!..

При этих словах жены Мартын вспомнил синюю стену льда, выдавившего дно скал, холодный ручей, бьющий с рокотом из-под льдов.

— Ты мне на завтра хлеба отложи. Мне надо в камни сходить.

Утром он, верно, ушел в камни.

«Выкупаться, гляди — поможет»,— думал он, идя Святым Овражком к болотцу.

На болотце была уже довольно глубокая топь, кое-где по открытым местам ветер, прорывавшийся через осинник, колыхал по воде осоку. Крякали утки, легкий пар подымался от затопленных пней. Мартын обеспокоился, что придется далеко обходить болотце — не раздалось ли оно еще в ширину. Поток за болотцем стал еще шире, он увлекал с собой камни величиной с гусиное яйцо, с шипеньем рыл в гольцах свое логово. Камушек, где еще недавно Мартын стоял и пил воду из потока, был под водой и, казалось, вырос. Лед под скалами словно сел ниже, и отверстие погреба расширилось. Мартын сунул в поток руку, ее захватило, словно петлей, и повлекло...

А тоска оседала на душе все ниже и ниже, как эти льды. Мартын вышел из тени скал, и ему сразу стало теплее, хотя с ледников через скалы несло холодом.

«Жара-то какая... лёдово-то тает как поди там... Ишь, ведь камень проело, чисто крот...»

И он подумал, что сейчас начало самой жары, льды начнут таять по-настоящему недели через две...

Солнце упало в погреб, и льды ощерились, словно клыки. С металлическим звоном откололась глыба величиной с бочку и, качаясь, выкатилась по потоку на гольцы.

«Вот потечет-то... Ведь эдак-то...»

Он хотел пошутить, что теперь им не надо набивать на лето погреба свои льдом, но вдруг мучительная мысль опалила его сверху донизу так, что заныли икры:

«Ведь этак-то в долину река пойдет...»

Он еще не мог понять, как это пойдет река в долину, через матерую черную землю, через эти нивы и покосы, где колос тяжестью в человечью руку, а сено на вилах словно бобровая шапка.

Он, не оглядываясь, кинулся вниз по гольцам.

Пробежав сосновый лес, он выскочил на дорогу. Здесь догнал он Турукая-Табуна, Микиту, веселого мужика. Турукай был мужик никчемный, пустой, и если б не тесть да не отец, он бы всегда сидел подле озера с удочкой, рассказывал сказки да ловил окуней. Собой он был какой-то мочалистый, постоянно кашлял и много врал. Турукай сидел на возу березовых жердей; увидав Мартына, он заулюлюкал, заорал; лошадь, привыкшая к его выходкам, только повела ушами.

— Мартын, друг сердешной, таракан запешной, откедова? А я как раз сотой воз жердей в этой неделе везу, да едва под пропасть не попал,— медведь, сукин сын, лезет из черни... ладно лошадь ученая. Садись, подвезу.

Мартын сел. Нежная белая кожица на жердях во многих местах облезла, показалась другая, зеленая. Мартыну, кто знает почему, стало жаль березки, да и брехняка Турукая тоже было жаль.

— Река идет в долину-то,— сказал он тихо,— из лёдова идет. Сейчас сам видал.

— Ну, река! Плоты, значит, будем плавить. Я, брат, мастер по плотам... раньше, до революции, меня

купцы нарасхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданым... тыщи!

Он уперся руками в бока и долго хохотал.

— Али мельницу открою на шастнадцать поставов, с аликтрическим освещением. Брать буду по копейке с пуду, всем мельникам по округу конец. Еще убьют, пожалуй.

— Да ты не болтай, Микита. Я те всурьез говорю — река.

— Взаболь? Ишь лошадь под тобой вспотела... как сел, так вся потом изошла... к сердешному делу, выходит.

— К сердешному? — переспросил Мартын.

Но Турукаю, видимо, стало скучно.

— Ко мне девка пришла ноне за яйцами, занять. Я ведь кур новых купил... голландских... десять рублей пара, каждая весом полпуда, небось. Я говорю девке-то — пойди на поветь, там ку́ры свежих яиц нанесли, собери сама... я оглобли строгал. Да правей бери — там они и несутся. А правей-то жерди разошлись, в повети-то яма. Она и бу-ух... только руками полснулась. И застряла, трафи ее, посредь жердей, юбка на голове, орет. Ногами машет, вертит, дрыгат в конец-то... в дождь ударило... едва со смеху не сдох.

Он долго катался по жердям, хлопал себя по ляжкам, визжал.

— Да у тебя, Мартын, мурло-то— чисто ты погань какую съел... Али идет вот попадья с работником, и встречаются им две собачки...

Но когда Мартын и этой сказке не рассмеялся, Турукай обиделся:

— Зболтанный ты какой-то, Мартын, скушно с тобой, чисто в туесе.

Он стегнул лошадь, жерди затрепетали, защелкали. Турукай запел песню. Кому тут говорить о мутном своем сердце?

Мартыну не спалось. А когда поднялся над озером месяц и погасил в воде лениво мигавшие звезды, стало так тоскливо, что заныли пальцы. Он пошел по селу. Подле изб, как и везде у сибиряков, лежали напоказ богатства все: плуги, косилки и жнейки. Они

портились от погоды, месяц блестел тускло и кроваво на ржавчине. Ворота высокие, как у крепостей с железом крытыми кровлями. На бревенчатых заплотах сидели кошки, сытые, толстые.

Ночь шла под Ивана Купальника. Девки в эту ночь сбирают двенадцать разных трав, кладут под подушку—завечают свою судьбу. Девки шли в обнимку с парнями, с полными горстями трав, тихо, без голоса, словно скотина с водопоя. Кое-где в палисадниках тихонько, истошно охали, и тогда сразу тяжелел живот у Мартына. В одной избе проснулась баба, вспомнила, что завтра Иван Купальник, и, голая, на месяц вышла к окну, поставила на подоконник под иванову росу пустые кринки,— от ивановой росы снимок-сметана делается толще. Груди у ней не вместились бы и в кринку, она сонно, медленно качалась и не замечала стоявшего под окном Мартына. Окна везде были настежь, и казалось—в вековечном сне храпят кержацкие избы. Спокойно дышала скотина во дворах; тоже, если не идет в хлев,—к добру, к ясности. В одной избенке мельтешил жировик, там вдова шинковала, но пили там тоже тихо, будто больше для сна. В окне Мартын увидал мужа Елены, начетчика Скороходова; он уговаривал соседа идти домой. Мартыну захотелось выпить, но кто ему поверит в долг? И тогда он озлился, выругался и пошел к скороходовской избе. Он перелез палисадник, черемуха хлестнула его по горячему лицу, он поднялся на завалинку. Плахи завалинки качались (землю, чтоб не прели бревна, выкинули от плах и стен), пазы пахли мхом, а изба, вся наполненная месяцем, пахла хлебом и человеком. Елена лежала на кровати, и пухлые руки ее свешивались до полу, словно ловя косы. Ребенок, посвистывая носом, спал на голбце. Месяц ушел за облако, и Мартыну было приятно видеть темное жерло избы. Только еще сильнее пахнуло оттуда человеком.

— Экая сыть,— уныло сказал про себя Мартын, плюнул в выставленную на росу кринку и пошел обратно.

Парни и девки расходились по домам. Девки зыбались чреслами, шел от них плотный запах кислого хлеба, а парни словно спали.

Мартын остановился перед молельней; прямой раскольничий крест скосился от древности. Мартын в бога не верил, и ему казалось, что все верующие притворяются, но сейчас он обидчиво сказал:

— Видно, и бог-то тоже спит. У одного меня, што ли, сердце-то ныть обязано...

Безгромовые зарницы мелькали над белками, беззвучно качались камыши, и выпрыгнувшая из воды рыба словно растаяла в воздухе.

IV

Мартын сидел на заплоте, он веревкой перехватывал матицу, чтобы потом попытаться с лошадью вместе потянуть и выпрямить покосившиеся ворота. Мимо прошел Антип Скороходов; он был сильный, плечистый мужик, в проседь, картуз низко сидел над длинными, словно огурец, ушами. Отойдя несколько шагов, Антип остановился, подумал и, одернув пиджак, вернулся к Мартыновым воротам.

— Мартын, я ведь тебя, как птицу, могу с заплота стряхнуть,— сказал он, положив крепкие волосатые руки на бревна.

— А стряхни,— нехотя сказал Мартын,— может, ворота выпрямишь. Мышь скирдой не задавишь.

Скороходов повернулся к нему спиной и сказал, глядя на озеро:

— Колдуешь все... деревню обещаешь затопить...

Мартын озлился и закричал:

— Кабы да мне грамоту да обученье, а я бы вас, толстопузых чертей, всех превзошел. Ты вот начетчик, Писанье наизусть выучил, почему ты понять не можешь, что деревню-то зальет. Вот к брюху бабищи твоей подойдет, тогда и засикильдите.

— Ну! А ты, Мартын, старайся, старайся.

Он наклонился к нему, огляделся по сторонам, и на висках у него показался пот.

— Ты вот по горам стал похаживать, а я тебя понимаю... На воде-то ты глаза отводишь, а главная мысль твоя — металл. Я тебя без хитрости: бери меня в пай на золото. Работников наймем, брата пошлю, сам все дела буду вести, как по ниточке.

В горах там вокруг прииска. Были когда-то прииска и в пустынной соседней долине Талас, куда бежали потоки с ледников. Из таких сел, вроде Ильинского, на прииска народ больше уходил зряшный, пустой, у которого с хозяйством ничего не выходило. «В металл пошел» — было вроде ругани. По правде сказать, богатеями с приисков и стараний не возвращались.

— О золоте не спишь, а того, леший, не поймешь, что скоро, месяц, два али раньше, деревню затопит.

Антип погрозил толстым волосатым пальцем:

— Мартын, не хитри. Говорят тебе: в пай пойду.

Глядя ему вслед, трудно было понять — поп ли это, купец или знахарь. Пиджак длинный, волосы тоже длинные, в одной руке пук травы и кореньев, а в другой — кнут.

Мартын разозлился на ненужные мысли и на то, что подумал: «Хорошо бы с ним в пай Елену будешь каждый день видеть». Он кинул нагретую солнцем веревку на землю, погрозил кулаком воротам:

— Вешаться на такой махине только!

Поглядел на горы.

«Сам уплыву, тони все барахло, а не пойду».

Но через день он взял лопату — и пошел.

В Святом Овражке пучки уже подсохли; ему захотелось есть. Он остановился, подумал, не вернуться ли ему домой за хлебом. В кустах рядом треснул сучок, кто-то фыркнул. Мартын раздвинул кусты и увидал обвитое паутиной лицо Антипа Скороходова. Скороходов был тоже с лопатой, руки его беспокойно перебирали черень, а фигура была строгая, и голову он держал немного набок, словно читал молитвы.

— Дай, думаю, посмотрю, где это ты металл, Мартын, роешь.— И он осторожно вздохнул.

— Пойдем, чего тебе за мной следить,— сказал Мартын.— Хлеба ты не захватил?

Антип указал на оттопыренную пазуху, Мартын кивнул и пошел вперед.

Болотце было сплошь залито водой. Вода, видимо, не успевала испаряться и, несколькими струйками теряясь в траве, искала выхода в долину.

— Видишь? — указал Мартын.

— Ну?..

И по губам Антипа Мартын понял, что думает он совсем иное и едва ли видит воду и думает о ней. Из кармана у него торчал завернутый в тряпку нож, и нож-то особенно разозлил Мартына.

— Долго мне еще с вами, дураками, возиться! Понимаешь?

Антип не обиделся на его ругань, он как-то не по характеру торопливо поддернул штаны и ласково заглянул Мартыну в глаза.

— Это тебе, начетная твоя дурь, должно быть, дороже металла. Ручей-то течет в долину, а долина-то как блюдечко — ни вытека, ни втока. Ты вот попробуй капать в блюдечко по капле... капай да капай...

— Здесь, што ль, Мартынушка, россыпь-то?

Мартын яростно плюнул.

— Дурак!

— Где ж?

— Выше.

Мартын и не повел его к Тиляшским скалам: все равно — метла метлой, а не человек. На самом низком холме, из цепи закрывавших проток в долину Талас, Мартын ткнул перстом в землю и сказал:

— Здесь. Рой, да глубже.

Он сел рядом на камень и тоскливо глядел, как моталась в руках Антипа лопата. Прорыл тот не больше аршина, лопата зазвенела и сломалась.

— На породу наткнулся,—с недоумением сказал Антип.— В другом месте разве порыть, а то пласт-то тонок больно.

— Не надо. Не прорыть, значит.

Долина Талас лежала перед ними — пустынная, бурая и тихая. Сколько воды может принять, а поди ты!

Антип тем временем схватил лопату земли и побежал к потоку. Там он пустил землю по шапке, долго рылся в ворсе и, вернувшись, потряс черенком перед лицом Мартына.

— Нету металла-то, ведь нету.

— И не было,— сказал Мартын, вставая.— Пойдем домой. Я своей силой думал отвести, а теперь не иначе — взрывать... Со стариками бы ты поговорил.

Антип вдруг задрожал, побледнел:

— Ты у меня не хитри, ты у меня глаза-то не отводи... Ты указывай, коли сговорился.

— Укажу-ка я тебе одно место,— сказал тихо Мартын и тоже начал дрожать,—откуда мысль твоя пошла... да небось сам знаешь. Иди, я на тебя да на твою бабу... не работник.

Скороходов вдруг заругался громко, всеми матами,— он, видимо, и сдержать-то себя не мог, да и не хотел. Так он шел за Мартыном до самой колесной дороги через весь сосновый бор, ругался, пока Мартын не удивился:

— Ну, и жаден же ты, Антип! Как суслик. Благословись, огарком очертись.

V

Пашни начинались сразу за поскотиной. У ворот поскотины часто любил сидеть Турукай: можно было остановить каждый воз, въезжавший и выезжавший из села, поговорить и сорвать что-нибудь. Турукая все любили за сказки и за то, что он многому верил. А не верил он только в смерть, и такие сказки, где говорилось, как и где помер, он не рассказывал и говорил, что их бабы-старухи выдумали.

— Я,—говорил он с полной верой,— не помру. Пробогохульствую и в лешие или водяные предназначу себя —только меня и видали.

Поскотину караулили всегда мальчишки. Турукай рассказывал им сказки и подговаривал обворовывать огороды и маковые поля. Мальчишек часто ловили; кто знает, может, Турукай же и предавал их. Пороли их мокрой крапивой. Турукай долго потом издевался над выпоротыми.

Когда Мартын подошел к поскотине, Турукай широко распахнул ему ворота, поклонился в пояс и вдруг захохотал:

— Баба сейчас Скороходова на пашне лупила, только что прошел впереди тебя, весь-то будто каменный. А ты все, Мартын, металл ищешь. В прошлом году попал я в Таласскую долину, смотрю — на дороге самородок лежит, никак не меньше куриного яйца. Я его бац в карман, а карман-то с дырой. При-

хожу домой, а там ветер в кармане. Слез-то пролил сколько, жалко!

Мартыну после Антипа как-то весело стало от турукаевской брехни. Глаза у Турукая были веселые, ясные, сам он весь словно на гору вспрыгнуть хотел.

— А ты, Мартын, разрыв-траву такую поищи. Все тебе клады раскроет, от болезней излечишься и любую бабу приворожишь.

— Нет такой травы, чтоб приворожить. Я бы поискал.

— Я тебе говорю — есть. Я одного старика видел, купец-скопец, в городе. Листок дал один махонький,—клад, грит, можешь достать, любую бабу али болезни. А у меня страх тогда живот болел! Мне бы про клад надо сказать, а потом на эти денежки из Питера докторов выписать, а я и брякни: брюхо, мол, хочу залечить, понос несусветный. Листка-то как не бывало, а и болезнь-то как теленок языком слизнул. Да...

Мартын потрогал его за плечо и сказал:

— А ты, Турукай, в партию не хошь?

Турукай даже зажмурился от радости.

— В партию, Мартын, хорошо-о... Волостным председателем...

— Я те на самом деле говорю: давай по селу-то партию устроим, зажмем им гасники-то,— прервал его Мартын.

Турукай заморгал, посмотрел в сторону, подергал локтями.

— Давай. Однако и чудно! Сколько лет жили без партии, а седни только оказалось — нельзя без нее жить. Я в ней кем буду? Я ведь тоже грамоту-то хоть и проходил, да все церковнославянскую, да все за заботами-то из головы выскочило.

— Научишься.

— Это я могу. Учиться я могу здорово. В три дня до всего дойду.

Он яростно сплюнул, засучил рукава.

— Мы им, сукиным детям, покажем. В шелковых рубахах скоро ходить будут, а там страдают. Да-а...

Вечером было тихо и пасмурно. Турукай обегал всю деревню, наврал, что из города едут на трех подводах инструктора, что Турукай послал главному

по партии пакет, а что там написал,— добавлял он угрожающе,— потом разберутся. Старики, вышедшие из молельни, сгрудились и стали говорить о погоде, что пора перепахивать во второй раз пары, а под пшеницу троить кислые залоги — новые земли. Поговорили и о прежней жизни, и о том, что теперь так дорога мануфактура: рубль двадцать аршин В это время проходили мимо бабы, сговаривавшиеся назавтра идти по клубнику и по красильные травы. Среди них была и жена Мартына. Высокий старик с тупым и упрямым лицом, Митрий Савин, поманил ее пальцем.

— Ну, как Мартын-то? — спросил он ее строго.

— Не знаю, Митрий Василич. Все тосковал, по ком, не знаю, а вот теперь гневается, а пошто гневается, и ума не приложу. Вам, старикам, разбирать.

— Дурит он у тебя. Скажи, что, мол, в гости придем.

Идти им к Мартыну было до мучения тяжко. Они долго еще говорили о погоде и об урожае, наконец оправили сзади старомодные кафтаны и пошли. Мартын согрел в чугунке чай, старики поблагодарили, но попросили налить им вместо чаю кипятку. Но и кипяток они пить не стали. Спросили, много ли Мартын наберег на зиму сена; за него ответила баба. Тогда высокий старик, Митрий Савин, протяжно сказал:

— Мартын Андреич, ты бы эту штуку, што Турукай болтает, оставил. На чем свет, на том и позор, а на наши места тысячи народу зарятся. Наша земля-то клином впереди всех земель идет. Сколь лет без партии жили, а тут на тебе. Вон в Артемовке младший у Глафировых в город ушел, в комсомольцы записался да и женился. Пошел второй — на водке сгорел. Третьему только счастье: жена тихая, работящая, сам дома сидит — пимокатное рукомесло изучил. Тебе и помощь устраивали, и хлеба давали, и еще дадим, коли надо... скотину для работы можно определить... А коли сознаешь ты, што не можешь хрушкую лямку тянуть, шел бы в металл. Семью-то твою не забудем...

Старикам не хотелось говорить с Мартыном, но времена дикие: если не партия, сожжет еще, а потом

такие законы отыщет, погорельцев же судить и будут.

— Не хочу металлу! — вдруг, подбочившись, закричал Мартын.

И кричать-то ему не хотелось, да и подбачиваться-то, сам знал, смешно, по-турукаевски выходило, а вот понесло как-то.

— Не хочу. Разговор буду с вами иметь.

Он вспотел даже, но локти задрал еще выше. Старики, все так же легко вздыхая, смотрели в сторону.

— Имею я желание ехать с вами, старики, в горы. Для полного маршрута. Лёдово на долину идет.

— Веками лёдово в Таласскую долину шло,— осторожно сказал Василий Тюменец, толстый, со слезящимися алыми веками старик,— а теперь што ему запритчилось к нам поворачивать...

— Прошу встать! — закричал вдруг Мартын.— Алешка, собери к завтрему телегу.

Старики пожевали губами и попросили выехать пораньше, до жары. Когда они ушли и баба, вздыхая протяжно, стала убирать со стола, Мартыну стало стыдно, что он так кричал на стариков, которые ничего не сделали ему плохого, ломался, словно пьяница, и себя показал дураком. «Завтра,— решил он,— буду степеннее». Но утром он опять задурил: надел новую рубаху, занял у соседа ременный пояс с блестящей пряжкой, по деревне ехал и громко кричал, упрекая стариков. Ехал он медленно, и ему хотелось, чтоб его видела Елена,— он даже остановился против ее окон, будто бы поправляя шлею. Окна были раскрыты настежь, но Елена не обернулась; она садила хлебы в печь, и мелькала перед темным жерлом печи круглая, посыпанная мукой, лопата. И тут Мартын не вытерпел; указывая на ее зад, он подтолкнул самого молчаливого старика, богомольного Сидора Лабашкина:

— Цело-то, цело-то како, мотри! Тебе бы такое цело. Не уцелел бы, дядя!

— Отвяжись, лихоманка, креста-то на тебе нету,— строго сказал ему Митрий Савин.

— И не будет! — закричал Мартын.— Всю деревню переверну, легче. Мне ради такого дела... никого не жалко! У меня душа горит! Я на все согласен!

Но и тут Елена не обернулась.

За поскотиной поехали быстрее. Черная пыль огромным хвостом, словно тень, волоклась за телегой. Старики глядели на поля и говорили: цветы пахнут сильнее с каждым днем, значит, колос наливается полней, тяжелей; что коготки рано развернули венчики — овсы будут питательны; к теплу — мышь оставляет траву, пищу снаружи, а не тащит внутрь норы; что кошки крепко спят — тоже к теплой зиме. Трещали звонкие кузнечики, высоко выпрыгивая промеж колей дороги. Небо было душное, хотя и раннее, и почти желтое.

Но вдруг громадная лужа воды преградила им дорогу.

— Объезжать, что ли?! — закричал вдруг обрадованно Мартын.— Дождались! Выбирайте теперь имя реке, крестить ее надо, старые черти!

Старики охнули. Прямо через поле богомольного Сидора Лабашкина несся с шипеньем и пеной ручей.

Тогда Мартын указал на небо и начал по пальцам пересчитывать приметы:

— Горы-то в ясности— жара, кошки-то спят долго — к теплу, мышь-то сено снаружи держит— к теплу... А лед-то тает, лёдово-то идет — конец вам подходит, а?.. Буде с бабами валяться, буде... дай другим, а?

Старики молчали, а старик Лабашкин слез с телеги, ухватился руками за смятые, подмытые водой колосья и тихонько, по-ребячьи, завыл.

VI

К ручью сбежались мальчишки, сразу появился подле ручья мусор,— пашню, чтоб не пропадала, наскоро скосили и стали сушить пшеницу для корма на поветях. Рев быстро прекратился, и никто не верил, что вода в озере может подняться. Тогда Мартын воткнул в воду размоченную вешку, вода в сутки поднялась на полвершка. Ему не поверили, и старик Митрий Савин сам воткнул вешку и весь день

сидел подле нее, не спуская глаз. Вода поднялась по его вешке на вершок.

Турукай-Табун, согнув палец, помчался по деревне с криком:

— Братцы, на вершок! А с завтрава будет по пол-аршина подниматься, там еще камни обрушились, я сам видел.

Турукаю не поверили, но старики съездили в горы, посмотрели поток.

— Што, назвище какое будет? — сказал им ехидно Мартын.— Назовем ручей-то Бабьим, а?

Антип Скороходов закричал ему:

— Колдун, сукин сын, наколдовал, а теперь смеешься! Цена зайцу две деньги, а бежать за тобой — сто рублей.

— Одна пора в году — страда,— вздохнул Митрий Савин. Мы к тебе, Мартын Андреич, опять вечерком-то заглянем.

— Загляните, угощеньем не обидим.

Елена как-то встретилась; попробовал Мартын сказать ей что-то, да получилось очень обидно. Она оправила платок, шевельнула плечом и, сказав с отвращением:

— Пела бы жнея, да горлышко пересохло,— пошла прочь.

Позже Мартын подобрал нужные слова, но не было случая переговорить, да и нужно ли было с ней говорить — он не мог понять.

Старики опять, как и прошлый раз, сели по росту — низкий ближе к божнице. Опять отказались от чая, и Митрий Савин сказал:

— В город, што ли, тебя послать...

А молчаливый Лабашкин наконец вымолвил:

— По вершку в день — так вот и смерть человечья.

— Что в город! — возразил Тюменец со злостью.— Богатеи, скажут, кулаки — тоните, ни дна вам, ни покрышки. В городе народ обнищал, на достатки зарится, за ситец вон по рупь двадцать дерет.

Тогда Митрий Савин тряхнул большой головой и сказал резко:

— Што там с души-то кажуху сдирать, надо дело... Придется тебе, Мартын, как ране говорил, партию по селу доспеть.

— И на самом деле, Мартын, партию.

— Партейному, бают, сплошь вера и помощь.

Тут постучали в окошко, и внучек Лабашкина прокричал, что вода поднялась еще на полвершка. По всем приметам выходила длительная засуха, для хлебов хорошо, а для льдов...

— В волость разве, в камитет...

— Во-олость... Соберут савет, таких же талегай, как мы, писарь резалюцию напишет, а она месяц до города пройдет, а через месяц-то вода будет на улках. А то из города приедут, инструктора какая там, заездят по страде лошадей, обожрут, да и видал их.

— Своими надо силами.

— Своими...— длинно вздохнул Лабашкин.

Тут опять строго заговорил Митрий Савин:

— Однако можно в городе и помощь кому деньгами там, али чем оказать. Найти наших, которы на металл ушли, выменять у них пузырек металлу, все равно в Китае дороже не дадут. И не монета, а лестно. Кто откажется.

— Да што в лёдово понимают, што они могут доспеть, коли там сам бог больше... Надо такого человека, штоб с леригией подступиться мог.

И Лабашкин опять надолго умолк.

— Допоручить Мартыну,— сказал решительно Савин,— составить партию. Надо выбрать кого.

— Турукая я взял,— сказал Мартын.

— Турукая можно в пугало, а не в партию. Турукая ты для нашего веселья оставь. Окушков Егор победней всех.

Тюменец замахал руками:

— Не пойдет Егор, рыбалку и самогон любит. Ему бы воды побольше, он на воде и спать будет.

— Мир заставит — пойдет.

— Разве мир.

Митрий Савин загнул палец,— пальцы у него были длинные и сухие, как щепы.

— Значит, один есть, с Мартыном двое. Надо бы с металлу, которы победнее, привести.

— Металл сейчас не бросят. Сейчас с гор вода двинулась, для промывки золота самое время.

— Тогда Семенов: он все Советску власть хвалит.

— Семенов гундосый и храпит, скажут — пьяница, а то еще что похуже... Не допустят.

— Монополку-то сами ж открыли.

— Так это не для пьянства, а для аппетиту.

— Оно и верно,— сказал Тюменец,— аппетит, пока с ног мордой в канаву не летит.

Сидор Лабашкин неожиданно оказался смешливым,— долго, держась за живот, хохотал он. Наконец осел, вспотел и стал креститься.

— Прости ты, господи, грехи наши... Тилиграмму послать в Москву, кто у них там главный, ему... так, мол, и так, тонем.

— Покедова проверят, все лёдово стает.

Мартыну надоело слушать, он стукнул кулаком по столу.

— Да што ж эта вы никому не верите! Я вам бабьи слова говорю, что ли? Я о бабах вам?..

Митрий Савин посмотрел на него спокойно и спокойно же ответил:

— Мы стогам верим да скирдам, да богу.

Потом все же решили послать в город делегацию. Выбрали четырех, которые побородатей да похудее. Долго смотрели на Мартына и наконец сказали, что может и он поехать, только чтоб был посмирнее. Пиджаки надели погрязней, долго разучивали, как вначале нужно хвалить Советскую власть, как благодарить за благодеяния, за агрономов, за школы, за свободу религий, а позже добавить, что агрономы-то почти не заезжают, урожаи совсем плохи, а то ведь многое можно сделать при урожаях-то... И про тракторы, мол, слышали. А всему, мол, этому мешает наша темень, наступают на нас льды с белков, топят селение. Налогу не сможешь заплатить, не говоря уже о тракторах. Нельзя ли помочь взорвать Оленью гряду, отвести поток в пустынную долину Талас.

На постоялом дворе в городе было грязно, прокурено, клопы не давали спать, а днем ходили какие-то слепые и продавали пакеты — по двадцать копеек пакет. Слепые были навязчивы, ругали мужиков буржуями. Потом пристал какой-то тощий человек

в солдатской шинели и татарской шапке, в треснутых очках. Он пообещал, что если в Совете ничего не получится, у него имеются нужные люди. Все ж нашли в Совете необходимого человека. Сказали ему так, как решили в селе. Необходимый человек долго думал, послал к другому, тот думал не меньше, и оба, видимо, ничего не могли придумать. Первый спросил, порывшись в каких-то бумагах:

— Работников много имеете?

— Какие ж та работники, все сродственники, семьи опять большие.

— Но есть? Обсудим...— и велел прийти через неделю.

«Взятку бы дать,— подумали мужики,— да страшно».

Пришлось ждать неделю, а там еще пять дней — через пять дней обязательно. Тем временем тощий человек в солдатской шинели привел другого тощего человека, армянина, должно быть. Они написали за трешку два прошения и добыли откуда-то двух подрядчиков по подрывному делу. Подрядчики с карандашами в руках сели за стол, вынули из-за пазухи узкую книжку, разграфленную красными чернилами, и долго прикидывали на уме. Поговорили в соседней комнате, еще посчитали и запросили за взрыв Оленьей гряды и вообще за «урегулировку» всего вопроса — три тысячи. Пятьсот сейчас, тысячу на месте, полторы тысячи после благополучного окончания работ. Старики крякнули и дали сто рублей. Подрядчики заявили, что обсерватория предсказывает грозы и бури, что на дворе уже падера — дождь и что другие и за пять тысяч не возьмутся.

А вечером прискакал из Ильинского Егор Окушков и привез два пузырька намытого подле болотца, за которым начинались гольцы, самого лучшего крупного красного золота.

VII

В Совете, перед двумя необходимыми людьми, Егор Окушков, тряся пахнущей рыбой шапкой, рассказал подробно, как его односельчанин Антип Ско-

роходов нашел подле болота россыпь, как они вдвоем начали промывать и в первый же день намыли два пузырька. Пузырьки эти они решили подарить народной власти и ей же заявить об открытии новых приисков. Необходимые люди взволновались, из соседних комнат выскочили стриженые барышнешки. Тряся кудельками, они щупали пузырьки и взвизгивали. У Мартына от этого шума и от того, что не он, а Антип Скороходов нашел золото, разболелась голова, поднялась изжога. Тут прибежали фотографы и сначала сняли Егора Окушкова, а потом и всех ильинских мужиков. Мужики кланялись, благодарили — и в тот же день поехали обратно.

А в городе после их отъезда стали рассказывать легенды о новых приисках — что будто бы какой-то поп намыл в два дня золота на сорок тысяч, что сельский писарь вымыл самородок чуть ли не с лошадиную голову. В газете появилось объявление, приглашающее не верить вздорным слухам, и оттого им поверили еще больше. Заскрипели телеги, направляющиеся к селу Ильинскому; беззаботные мечтатели, соорудив котомки, бросали службу и пешком направлялись в гору. По дорогам ночью горели костры, было несколько лесных пожаров.

Пришедшие на прииска останавливались подле поскотины, здесь их встречал Турукай. Он рассказывал необыкновенные события, был каждый день пьян. Хлеб и молоко в селе стали продавать втрое дороже, и бабы завели себе шелковые московские платки.

Затем приехали три молодых инженера и в первый же день напились, собрали девок со всего села и неумело плясали русскую. Девки визжали, парни лезли обниматься с инженерами, жена Скороходова, Елена, не отходила от самого старого инженера в синих брюках и белой шелковой рубахе. Мартын прошел мимо гулянки раз-другой, никто не позвал его. Турукай блевал, нехорошо ругаясь, руки у него были почему-то в сметане. Инженер со Скороходовым и его женой (ехидно, как показалось Мартыну, виляющей бедрами) ушел в избу.

Мартын дома застал полный порядок,— казалось, жена без него лучше управлялась с хозяйством.

О партии никто с ним не говорил, не говорили и о золоте, один раз только жена упрекнула его:

— Как же так, Мартын Андреич, ходил ты, ходил, а металл-то нашли другие.

— Нету никакого металлу,— закричал уныло Мартын,— врут они все! И себе врут. Бабьи разговоры, брехня...

А это походило на правду. Из Ильинского на приисках никто не работал, изредка старики ездили в город — будто бы продавать нарытое золото, а на самом деле гоняли скот. Да и прибылью воды в озере никто не интересовался. Попробовал Мартын поставить измерительную вешку, подошел Митрий Савин и, тихо сказав:

— Не гневи бога, Мартынка,— вырвал вешку

Потом строго посмотрел на него и спросил:

— У тебя... как ее... эта, партия-то, сбирается?

«Сбирается!» — хотел крикнуть Мартын, а не мог. Он подергал только реденькими своими бровенками.

— Ты ужо, Мартынка, живи один, а то тоже — партия сбирается... Болото!

Отошел подальше, отвернулся и начал расстегивать штаны. Вода в озере была прозрачная, холодная. Мартыну тоже хотелось искупаться, но казалось, что Митрий Савин занял своим телом всю воду, что это озеро, а не Митрий Савин, крякает.

К белкам, к лёдову, на прииска ему не хотелось идти, да и ему ли верить теперь в свое счастье. Попробовал походить с бреднем по озеру и вытащил мертвого карася. От карася нехорошо пахло, и грязная чешуя осталась на ладони, как перчатки. Долго держал его в руке Мартын, даже не заметил, как выдавил глаза. Кинул его в озеро — и заплакал.

VIII

На Флора и Лавра почти совсем закончились уборка и кладка хлеба, загородили остожья вокруг хлебных кладей и зародов сена. Глянцевитые березовые жерди остожий, казалось, дрожали, как опояска на туловище тучного человека, полевые мыши отъелись так, что с потом влазили в свои норы. Разгоро-

дили поскотину, и на Флора и Лавра скот весь день отдыхал. Сделали очистку скотных дворов, поправили постройки. Мужики начали осматривать сани, пошевни, плести короба и пестери для возки мякины.

Ничего словно и не случилось в Ильинском. Вода из озера вышла почти на улицу, приходилось, как в весеннюю грязь, идти вдоль завалинок. Колеса уходили кое-где по спицы в воду.

— Тепла ж,— говорили мужики нехотя,—тепла ж, хоть и из лёдова идет...

А Мартын так и на поле не заглядывал. Нехотя пришли мужики на устроенную бабой помочь; отработав, не остались даже на паужин. Мартын, когда увидал пришедших мужиков, их походку, тихие злые голоса,— даже Турукай-Табун и тот отворачивался,— опять заманило его в горы. Баба справилась почти одна со всем полем. Один раз только Мартын нарубил ей сухостойных дров для сушки снопов в овине. Баба остригла овец, выбила луком шерсть и начала катать потники. Кисло запахло в избе...

— Заели вы меня,— сказал Мартын, а баба ничего не ответила.

Широкая отводная канава по ту и по эту стороны высокого холма, загораживающего сток вод в долину Талас, была готова, и на воскресенье приисковые люди назначили взрыв середины холма, заграждающего соединение канав, взрыв тех пород, которые было трудно и долго бить киркой.

Как и тогда, когда он впервые увидал вытекавший из ледника поток, Мартын надел лучшую цветную рубаху, взял за пазуху ломоть хлеба и направился в горы. Главную улицу, затопленную озером, нужно было обходить, да и никто не встретился Мартыну: с раннего утра почти вся деревня, кроме самых ветхих стариков, ушла в горы, к холмам.

Как и тогда, шумели на кладбище березы, легкая дымка стояла над горами, и только, словно вспарывая долину серебристо-синим ножом, несся через Святой Овраг, через поля неизвестный ледяной поток. А когда Мартын обогнул болото и вспомнил, что сегодня потока не будет, завтра и послезавтра вода в озере пойдет на убыль, озеро встанет в свои берега, на токах загремят цепы и громадные телеги, кован-

ные железом, повезут зерно в город,— засосало у него опять сердце. А поток по гольцам, казалось, понимая свои последние часы, несся с тоскливым грохотом, фыркал пеной и голосисто ржал в березняках. Мартын постоял, посмотрел. Юркая синичка дрожала на камешке. И тогда Мартын с ясностью до боли припомнил эти месяцы, свою короткую славу, и власть, и то, что он ничего не мог сделать из этого,— получилась только одна мужицкая злоба к нему да вконец разоренное хозяйство. Опять чувство тоски до слез охватило его сердце.

Зачем ему идти к холмам? Мужики посмотрят на сбегающий в долину Талас ледяной поток, меж собой одними хитрыми глазами рассмеются над глупым городским людом и разойдутся. Позже и городские уйдут, останутся одни Тиляшские неприступные скалы, за ними — ледники, готовящие к осени метели...

Мартын вернулся к опушке болота. Сонно трепетали осины листьями, пьяной сытостью пахло из болота. Мартын сел на поваленную осину, спустил ноги к потоку. Зеленая ящерица осоловело заметалась между камешков, среди его ног. Он злобно каблуком отдавил ей хвост. Хвост остался трепетать, а ящерица скрылась. А деревья в болоте все хлопали и хлопали, словно уходящие-входящие в комнату дверью. Мартын сидел и думал все о том же. Он зажмурил глаза,— поток булькал водой, будто наливался в бутылку. И Мартын вспомнил, что за все это время он ни разу не напился пьяным... Надо бы уйти, лечь спать дома, что ли, но где-то внутри была еще надежда, что спускающиеся с гор мужики остановятся подле него и кто-нибудь скажет: «Ну, спасибо тебе, Мартын, все ж много ты доспел для общества...»

Зеленые тени листьев были у его ног, затем поползли по лицу за спину и, наконец, совсем скрылись. Небось уже давно за полдень, обедать пора. И в это время маслянистый какой-то гул донесся с ледников. Поток словно колыхнулся, а затем зажурчал еще сильнее.

— Черта взорвете! — сказал Мартын со злостью.— Смыло бы вас лучше, как щепки, небо коптите только...

Что-то темное и высокое мелькало среди осин. Мартын пригляделся. К нему, выбирая место посуше, спешил какой-то человек. Позади, быстро махая ручонками, бежал мальчишка.

Мартын вытянул шею, мотнул головой и грубо выругался. Это была Елена. Должно быть, она давно не бывала в горах или же радовалась, что пятилетний сынишка, как большой, не отстает от нее. Лицо ее пылало румяным удовольствием, платок она держала в руке, и льняные, былинные косы были страшны, как ледники. Как шиповник-колюка на вилах, а одета в багрянец.

— Чего сидишь там?! — крикнула она издали еще Мартыну.— Домовничать осталась, да в деревне-то, будто в колоде,— тихо. Мотька зовет: пойдем, мамка, да пойдем,— ну, и пошла... Верно я иду-то?

— Верно,— хмуро ответил Мартын, отворачиваясь.— Туда и дойдешь, иди. Ждут тебя.

— Ты что ж на бревне-то уселся? Я думала — водяной или горовой, колдуешь все...

— Нога подвернулась,— соврал Мартын.— Да все равно у них ничего не выйдет.

— Не выйдет! А сколько хлопотов убухали да металлу.

— Металлу?! — удивленно спросил Мартын.

Елена поняла, должно быть, что сказала лишнее. Она ни с того ни с сего наклонилась к его ноге.

— Я ведь кое-что в костоправстве мерекую... Дай пощупаю, кость-то цела?..

Мартын увидал ее пухлый, розовый, слегка влажный затылок, крутые плечи. Складки сарафана показались ему мокрыми; башмак у ней со щеголеватым высоким каблуком поднялся над землей. Притихло как-то все внутри Мартына, и он тогда взглянул на поток. Вода журчала тише, синие мокрые гальки на пол-аршина обнажились вдоль берега. Более крупные уже обсыхали.

Взрыв, значит, удался! Поток, значит, повернул в долину Талас.

И Мартыну почудилось, что он закричал — и испуганно и насмешливо. Он было и руки протянул ко рту — прекратить этот крик,— но рука и волосы были словно из металла... И вдруг он вспомнил, как мужи-

ки шептались с неизвестными шатунами из приисков, как однажды он встретил трех стариков, ехавших на трашпанке в горы,— лица у стариков были жадные и потные, руки их крепко охватывали шкатулку, прикрытую половиком.

Соленый пот злости наполнил его глаза. Он зажмурился.

— Отвели? Из-за баб отвели, кобылье! А кто указал? А?..

Захотелось пить. Ноги были тяжелые. Крутая шея и затылок с жирной складкой, склонившиеся к его ногам, словно взывали о жалости, а о какой и к кому — он и думать не мог... И он, понимая, что думать так нехорошо, глупо — все ж подумал, что теперь только Елена поняла, сколько она горя причинила ему, как испортила жизнь, какие принесла обиды,— и готова всячески наградить его. Ее широко расставленные ноги лениво и в то же время торопливо шевелились, выбирая место помягче. Казалось, дотронься до нее пальцем — и она упадет, но дотронуться не хватало сил, и было проще и легче пхнуть ее, дабы под сапогом почувствовать испуганное поганое мясо бедер! Мартын взглянул на ладонь, и то, что она была грязная и сухая,— это даже обрадовало его. Он плюнул в пальцы и, весь трепеща от испуга и от какой-то непонятной радости, со всего размаху ударил кулаком Елену в розовый ее затылок. Кулак скользнул на шитье сарафана. Елена охнула, опрокинулась. Мальчонка завыл: «Ма-амка!..» Мартын наотмашь левой рукой ударил ее по лицу, а правой изо всей силы пхнул мальчишку за пень в траву. Елена привстала было, горло ее напряглось. Мартын схватил ее за косу, обернул вокруг шеи и притянул косы к березовому суку. Глаза у ней закатились, она захрипела.

— А, будешь, будешь!..— визжал Мартын, увивая косами сук.— Будешь перед каждым вилять? Я тебе колода? А?..

Холодная и какая-то тяжелая влага выступила у него на груди, сухой жар хлынул в ноги, и, путаясь в тряпках, захватив зубами косы, обвитые вокруг сука. Мартын дернул ее за ворот сарафана. Ситец

казался необычайно крепким, а в пальцах расходился, словно вода.

Мальчонка визжал в кустах: «Ма-амка!..» Тряпки пахли нехорошим потом, и странно было видеть на лице у этой красивой сильной бабы испуг и трепет и его, Мартынову, слюну.

Потом баба, неприятно расставив ноги, долго ползла вокруг березы, распутывая с ее сучьев свои косы. Большой клок волос, потемневший от слюны, остался на коре. Баба, схватив разорванный сарафан, как в мешок, уталкивала в рубаху огромные белые груди. Медленно локтем стерла с лица слюну и тогда завыла:

— Ой, матушки, ой!.. да што это-о!.. ой!..

Мальчишка визжал гуще ее и как-то жалобнее. Кончик носа у него был красный, и тут только заметил Мартын, как он походил на мать.

— У, падаль! Лезет тоже,— сказал Мартын и пошел к потоку умыться.

В ложе потока, во впадинах остались лишь редкие лужицы. Вода показалась ему удивительно теплой.

Баба, нелепо тряся задом и путаясь в юбках, бежала вверх. Мальчишка, смешно приседая, спешил за ней.

Мартын опять сел на бревно. Жар остался в пальцах, ему ничего не думалось и только почему-то жалко было, что он умылся. Он все соображал — и было такое чувство, будто он истратил последнюю воду Пить к тому же хотелось, а тут нахлынула такая слабость и дрожь, какой он не испытывал никогда

Огромная тишина повисла над пустым ложем потока. Казалось еще, что по невысохшим галькам скользит багровый осиновый лист, попрыгивает, лепечет, но все бесшумно и все зря. Мартын закрыл глаза, и многое в этом мире качнулось перед ним

Протяжно прокричала иволга, и Мартын подумал «Похоже, мужики спускаются...»

Мужики действительно, молча, держа руки за опоясками, спускались по гольцам.

Они остановились в нескольких шагах от Мартына плотной толпой. Кто-то из них дышал тяжело, со свистом и часто сплевывал. Мартын тупо открыл глаза и положил почему-то правую руку в карман. Вы-

шел вперед Скороходов, скинул кафтан, обшитый по борту и по вороту треугольниками.

— Ну, бей,— пробормотал Мартын.— Бабы жалко! Бей.

Скороходов побледнел, поднял руку, словно для приветствия, и нехотя проговорил:

— Што ж тебя бить... за што тебя бить...

Мартын зажмурился, качнулся. Так же, будто нехотя, Скороходов прошел мимо него и вдруг, быстро обернувшись, ударил Мартына в переносицу. Желтый, как смола, свет лизнул Мартына в затылок, он схватился за грудь.

— Не надо,— сказал какой-то лысый, изъеденный оспой старик.

Из толпы спокойно отозвались:

— Проучить не мешает, из-за него металлу сколь потратили... Ты ему, Семен, за металл-то...

— А, за металл! — взвизгнул вдруг Скороходов.— Колдун! Сколько денег из-за тебя... Животины сколь погибло...

Мартын только жадно хватал ртом, будто не мог напиться. Скороходов наклонился, схватил в руку гальку. Жидкая как будто кровь брызнула из щеки Мартына.

— Та-ак его! — крикнул лысый старик и, подпрыгнув, с разбега ударил Мартына в грудь.

Мартын заревел каким-то телячьим ревом, и так не переставал реветь он, пока его били сначала кулаками, затем подхватили и, подкидывая в воздух, бросали спиной на гальки. Голова мокро стучала, руки мотались — белые и слишком сухие. Лысый старик начал топтать ему руки, а затем крякнул и прыгнул на живот. В животе тоже нехорошо крякнуло, грязная жижа потекла из рта Мартына, а он все еще ревел нелепым своим телячьим ревом. Лысый старик топтался уже по голове, скользил с нее, словно с мокрого камня, а рев еще не прекращался. И здесь молодой курчавый парень, до того стоявший в стороне и больше всего оравший: «В морду ему, в морду!» — взял продолговатый камень, оттолкнул старика и, прищурив глаза, ударил камнем Мартына в висок.

Когда Мартын стих и перестал даже подергиваться, лысый старик вытер пот, оправил рубаху, перекрестился:

— Миром согрешили, миром и отвечать.

— Миром,— качнул головой курчавый парень.

Елена ж все время сидела на бревне, где недавно еще сидел Мартын. Мальчонка прятал у нее в подоле плачущее лицо. Волосы у нее были плотно убраны под платок, глаза сухие и ожидающие, и смотрела она поверх мужиков. Когда Мартын выпрямился и курчавый парень вынул из рта искусанные им пальцы и руки сделал ему крест-накрест, Скороходов подошел к ней, покачал головой и вдруг со всего размаха ударил ее в глаза. Она опрокинулась за бревно и долго лежала там, пока не ушли мужики и пока мальчонка не перевел весь свой голос. Тогда она оправила платок, взяла мальчонку за руку и стала спускаться в долину.

Долина опять наполнилась плодородной тишиной; опять на жнивье гоготали сытые гуси, и опять месяц в озере был тепел и походил на каравай, только что вынутый из печи.

1926

ПРО ДВУХ АРГАМАКОВ

С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Пожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно стряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.

Великое ли диво — пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга — больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.

Старуху одну, в зеленом казакине, полной семьей вели на пароход под руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.

Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переметы, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков. И к вечеру уже, когда и колоколенки, и яры скрылись в лиловом, пахнущем полынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.

— Ты ведь, поди, нашего хозяйства не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно по всему Яику. Ильбо от Разина — сказывают, великий он колдун был,— ильбо от чего другого прадед наш, Евграф Железнов, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи платили за породу. Табуны наши были в скольку сот голов — уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный, двухэтажный и под железной крышей.

Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два — Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце, бывало, отцветает, что солома, а Митьша — черный, чисто кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем, как Егорше в лагеря идти, «сам»-то и подарил им по жеребку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал — лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше — Игреньку.

И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру генерал оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» — «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.

Сколько раз казацкую жизнь спасали кони — я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полковую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два «Георгия».

Осенью пустили их ильбо самовольно приехали — не знаю уж. Подойти к ним тогда было — чисто сердце отрывалось. Ходят по двору: один — вправо, а другой — влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! Имущество, грит, с кыргызами да другими собаками делить не хочу».

И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу. «Утиши, господи, их сердца»,— молю. А самой все-то непонятно, все непонятно: как? из-за чего? Шире — боле. Я уж говорю Митьше: «Разделить вас ильбо что?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит: «Все народу отдам!» И в кого он уродился такой заполошный?

Тут еще одна беда — Егорова молодуха собою красавица была: лицо — чисто молоко, сама — высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митьшины кресты, что ли,— только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом, а она белки выкатила да на меня. «Ты, грит, старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он разор всему нашему роду, в большевики пошел». Мы тогда большевиков-то не знали.

Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла намеднись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление — по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».

Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянув.

Только не вышло у них, что ли,— не знаю. Вернулся Митьша — прямо на полати в валенках залез. А тут немного погодя и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железнов, слазь с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!»

Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полено и братаго — господи, родного брата! — по голове, и бежать! Ладно, у того кыргызский треух был. Охнул Егор и пал наземь, а потом через минуту, что ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказанья не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».

У нас конюшни-то на железных болтах были Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься, матушка. Буду я народным героем!»

И за дверь — тихонечко.

Я, как только очнулась немного,— за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой — у моей жены?»

Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивца и предателя. Прощай!» А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший — где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.

Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку те казачки, что за генералов были. Вот в погоню и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу — след, так и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим логом «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов» А генеральские казачки-то — шашки наголо, да — на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Хотел было Егор приказ отдать отступить, потому видит — не одолеть ему генеральских казаков.

Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супротивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали, вишь, конь коня, Серко — Игреньку. Закинул Егор голову да и спросил громко: «Брат Митьша, ты?..» — «Я,— отвечает тот,— я!»

Через всех казаков проскакал Егор к брату. «Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя

и за все семейство наше казацкое! Помирай от моей руки». И вдарил его шашкой.

Потом что?.. Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли брат своего брата не пожалел, значит, за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит. Генеральские казаки и сдались.

А Егор револьвер вынул, подходит к коню Серко. У самого слезы на глазах. Ведь конь — тварь бессловесная, ее винить в чем?.. И говорит Егор тому коню: «Конь ты, конь серый! Возил ты меня, возил и брата. И всю жизнь будешь ты напоминать об изменнике. Жалко мне тебя, но стыдно будет всем смотреть на тебя. Прощай!»

И убил коня.

... Сердце-то у меня с того времени будто полынью поросло. Все-то времечко на нем горечь горькая.

1926

О КАЗАЧКЕ МАРФЕ

У ворона вон гнездо куда какое крепкое, хоть и сдеяно из прутиков. От Каспия, когда подует ветер, камни несет в голову, столетнюю вершину ломит, как соломинку, а вороново гнездо серым цветом цветет, смеется будто — цело.

Только и ведь так бывает: подрастут воронята, перо сизым налетом покроется — раздерутся. С чего раздерутся — никому не известно; может, из-за какой ни на есть насекомой. Глядишь ты — в драке-то развалится тое гнездо — чисто скорлупа.

Я к тебе с гнездом этим не к примеру, а вот даве видела — нищая одна под ветлой плакала. Обличьем мне та нищая показалась знакома, а присмотрелась и — подумала: все нищие на одно лицо и на одну суму. А над ней писк, и в гнезде воронята дерутся,— выходит, конец лету... Вот и плачет нищая, что теплу конец, что сума снегом скоро покроется, сгинет: нонче и сума денег стоит... А до воронят ей — что? Воронят ей и в сказку вставить нельзя,— ноне в сказках-то ароплан подавай, в ковер-то-самолет не верят...

В нашем поселке Лещинском (это его в прошлом году — для смеха, должно,— хоть и назвали городом,

так ты не верь) строй глинобитный, деревянное только одно — пожарный сарай. Крыши одни только казачью удаль выдают — тесовые, а у богатых — крашеные.

Вот из-за крыши такой богатеем прослыл у нас Климентий Федосеев. А и было у него всей богаческой силы — что сыны покрасили ему крышу. Произошло их у него шесть человек, один другого на голову обгоняет — красавцы.

И только успели доспеть ему крышу,— даже скворешник не воздвигнули,— в тот же час как раз пришла ерманская война. Муторно стало смотреть Федосею на крышу, взглянет и слезами, бывало, зальется: «Лучше, грит, я, как расейский, вшивая губа, сидел бы под соломенной покрышкой...»

Судьба — не баба: слезой не возьмешь. А получилось так, что целехоньки пришли с фронта казаки. Как сказали Климентию, что видно сыновью пыль за ярмарочными балаганами,— силы в ногах ушли. Отправился он в избу, лег на скамью. «Я, грит, маленько вздохну». Да так с таким словом и помер.

Подъезжают сыны, смотрят на крышу — покоробилась та, облупилась. Думают — надо перекрасить.

Встречает их мать у ворот.

— Мир тебе, мамаша! — говорят казаки.— Что ж ты стоишь — и думаешь и плачешь?..

— А вот стою,— отвечает мать их Марфа,— думаю: помер счас от радости по вашим лицам отец. Неужто станете вы теперь, как у всех, делиться и рушить хозяйство в такую тяжелую жись?

Казаки и говорят ей:

— Вот тебе перед отцом и богом слово: будем жить по-прежнему сообща и тихо... Покой свою жись!..

Ну, а дни тогда — что торопкий да далекий путь: и лошади вспотели и телеги заскрипели. А ямщик-то гонит да гонит...

Ты и сам знаешь, да и повторить не грех: наши-то степи уральские — еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли, Маринка, жена Гришки, жила, тут Чапаев с атаманом Толстовым сражался и в Яике потонул.

Слово, что ли, дали, что не делиться, или так уж вышло — только довелось всем шести братьям Федо-

сеевым попасть в отряды к тому царскому генералу Толстову, которого большевики, сказывают, анафеме предали...

В бога, гришь, не верют? А как же они всех победили, коли в бога не верют? Может, вера в него другая — не наша, может, и скрытая какая — бог-то один: он знает, кому помогать. Знает.

Ну, и разбил тот ерой Чапаев толстовскую армию, казаков дивно перерубил и начал над всеми суды судить.

Забрал он всех шестерых братов (тоже ведь к горю, видно, их в бою-то пощадило), выстроил, посмотрел на них и приказал судить — истребить их без пощады, как комара.

Суд-то тогда был короче вздоха.

Спрашивают их судьи:

— Вы ли с нами воевали так, что от вас дух гнилой по земле прошел?

— Так точно,— отвечают те шестеро в голос,— воевали!

Прочитали им присужденную бумагу: так, мол, и так, за то, что воевали вы с нами, дается вам смерть — к расстрелу.

Надели казаки разом шапки. Самый молодой, так тот даже набекрень и чуб не забыл выпустить.

— Господи, благослови! — говорит.

Я беду свою тебе сказывала, а что моя беда перед такой смертью? Мошка! На ногах-то у командира опорки ильбо что еще хуже, а пала Марфа к тем опоркам, щекой прижалась, воет:

— Простите, христиане, хоть одну смерть, хоть одну жизнь-то оставьте. Буду служить за ту смерть всей своей кровью советской власти... хоть самого малого простите...

Сняли свои шапки перед советской властью пятеро казаков и в голос сказали:

— Просим!

Посмотрели красные командеры на малого, на бабу Марфу, значит, посмотрели, а той хоть без нескольких пятьдесят, а на тело и тридцатилетней не дойти.

— Ладно,— говорят,— прощаем одного: посмотрим на твою службу...

И верно: малого-то пустили, а остальных пришлось засыпать в одной могилке.

Пошел полк тот али дивизия дальше, а за полком отправилась Марфа. Остался младший дома хозяйничать, женился вскоре,— хозяин из него вышел ладный. Одно: к деньге был жаден.

Марфа-то сперва около полковых казанов ходила, а дале — позорище для казачки-то невиданное — и на лошадь вскарабкалась. Смеху-то, поди, много над ней было: как-никак — парень, а волос — седой. Шире-дале — ружье да шинель она себе обнаружила. И пошла с того дня об ней слава.

Бают у нас поселком: «Баба Марфа ротой командует и к советским отличиям представлена». Командовала ли она ротой — бог знает: слов ведь тогда много говорили, а еще более того — им не верили. Коли деньги без цены ходили, то слова — что?

Так, значит, с летошним снегом и перестали об Марфе говорить. Жена-то Василия Федосеева — невестка, значит, Марфы — даже в церкви панихиду отслужила.

Вот и вышло, что поторопилась. Война кончилась Народ про семена начал думать. Выйду это я за поселок, а мужики стоят да на землю смотрят. И диво было — страшная какая-то земля была: багровым бурьяном заросла, корни какие-то в ней ползут, толще руки. Вот и вышел так однажды казак Абрам Новопольцев на пашню посмотреть, а видит— по тракту тройка мчится, аж от лошадей пена клочьями летит. Комиссарам-то раньше не все радовались — вот и захотел Абрам посмотреть, кого это леший к нам несет. Заглянул в кошевку-то, а там — Марфа. В солдатской шинели с наличниками комиссарскими, вся грудь в орденах, рука на черной перевязи и — постарела.

— Как,— спрашивает,— сын мой Васенька живет?..

А у самой руки трясутся от нетерпенья, и больным локтем ямщика в спину торопит.

Ошалел Абрам. Еройски, видно, отплатила советской власти Марфа. Шапка у него аж свалилась, ничего ответить не мог, так и промчалась трашпанка мимо. Только через полсотни сажен услышала Марфа, как орет Абрам «ура»,— а не обернулась.

Греха, по-моему, в хорошем хозяйстве нету, а только нельзя, коли мать приехала, первым делом в трашпанку заглядывать, много ли добра привезла, и спрашивать: «Пенсию-то тебе, мамаша, большую назначили?»

Отвечает ему Марфа:

— Я, грит, не за пенсию, а долг платила...

Видно, такая горькая дорога вышла Марфе. Жаловаться она не жаловалась, выйдет на яр, подберет больную руку и в Яик смотрит. А разве казачке в Яик смотреть? Казачке надо робить. А тут невестка ее до самого худого горшка не допускала, а дале — лишним куском стала попрекать, расчеты стала вести на Марфину жизнь. Сын тоже посмотрит за обедом в сторону, скажет сурово так:

— Коли, грит, воевать, так надо, чтобы до победного конца. Зря, грит, домой калеки не приходят — в такую жизнь людей объедать...

У Марфы-то ложка тяжелей топора станет.

Сказали ей как-то старухи:

— Тижелова сына ты оставила, Марфа...

А она так выпрямилась, быдто поленницу уронила:

— Кому он и тяжел, а мне — легче его нету...

Так и пресеклись все.

Дале-то совсем замолкла Марфа. Вид делает, чтоб про сына не болтали чего: будто и кормят ее мясом каждый день, будто белый хлеб ей из города заказывают, а от платьев, от обновок будто отказывается. А сама все худеть да худеть, под конец одни глаза остались.

Земля (я тебе говорила) в тот год тяжелая была. Вот и соблазнился Василий на легкую работу: начал самогон варить. Граммофон купил на те самогонные деньги, двухлетку хороших аргамаковских пород, тарантас с крытым верхом. Как привел он тарантас да как устроил гулянку, так Марфа пришла в поселковое правление, попросила пакет, положила туда ордена свои и велела отправить в город самому главному комиссару.

Не знаю, что у них еще было. Сказывают, будто ударил свою мать Василий, а может, она его ударила,— только видал вечером в тот день шляющийся

Абрам Новопольцев, что подле кладбища развязала Марфа какой-то платок, достала суму, сломала с ветлы палку и ушла по тракту. За поселком суму-то надела, чтоб сына не позорить (а может, и врет Абрам), только где она теперь — никому не знаемо, разве что в новую войну объявится...

1926

ПОЛЕ

Отпустили Милехина на четыре часа.

— Опоздаешь — не в очередь в наряд отправлю,— сказал ротный командир, со стуком прикладывая штемпель на пропуск.

Да Милехину и часу было достаточно. Ротному он сказал, что приехали родные из деревни, и, сказавши так, соврал. Хотелось проветриться. В казарме особенно казалось темно от мартовского солнца, от грязных окурков на полу, от стен, серых от грязи. На классной доске (раньше здесь была школа) кто-то белой глиной написал нехорошее слово, а рядом на стене хлебным мякишем был прилеплен плакат: «Колчак несет колбасу, Советы — свободу». И когда Милехин захлопнул обитую рогожей дверь и пошел через большой двор на площадь,— ему было тепло, сытно и радостно.

Станция железной дороги была от города верстах в четырех, и через каждые полчаса в город ходила ветка. Милехину не хотелось дожидаться ветки, и он пошел пешком через огромную площадь к станции.

Сверху пекло солнце, а снизу морозило. Площадь уже оттаяла, и только бугор дороги лежал грязновато-желтоватой лентой на черной разбухшей земле. За тальниками — прямо на западе — мерзло синел Иртыш и видны были на нем разорванные кусочки дороги, как клочки бумаги.

— Тронулся ночью, должно,— сказал Милехин.

Но шипящего шума тронувшегося льда еще не было слышно.

«Скоро пойдет».

Милехин улыбнулся и почувствовал радость, словно лед принадлежал ему. Он, шумно бухая мокрыми английскими бутсами, шел по краю дороги, и снег ломался под его ногами. И треск этот доставлял ему удовольствие. Зеленоватая английская шинель, похожая на пальто, и голубые французские обмотки на икрах так не шли к огромной заячьей шапке с ушами и плохой рыженькой бороденке.

Над тальником мелькнула белым крылом чайка.

«Скоро пойдет»,— подумал опять Милехин.

На вокзале толпились люди с мешками, большинство женщин; солдаты с жестяными звездочками на шапках; три китайца продавали сигареты и семечки. С крыши капала вода, и часто с тихим звоном падали длинные ледяные сосульки.

Милехин постоял у двери третьего класса. Какой-то комиссар с желтым портфелем под мышкой, проходя, толкнул его и тихо проговорил:

— Извините.

Милехин, чтобы не мешаться, отошел и сел на подоконник. Бегали мимо с фонарями и какими-то черными ящичками железнодорожники, свистели на разные голоса паровозы, стучали буфера вагонов. Сверху, тихо и не спеша, грело и станцию, и грязные вагоны, и набухающую влагой землю большое чистое солнце.

Рядом упала сосулька. Милехин наклонился и поднял ее,— она была без пустоты внутри. Упала вторая, третья — все такие же.

«К урожаю,— подумал Милехин,— налив будет полон и умолот богатый. Штука-а...»

И ему вспомнилось, что снег тает не от солнца, а больше ночью, от земли. И тает дружно.

— К урожаю,— сказал вслух Милехин и, сказавши этак, подумал о деревне.

Подумал, что скотина у него вся ко двору — чалая и бурая, хозяйство идет хорошо. В прошлом году плох был урожай, а нонче должен быть хорош — март весь сухой, да вот коли апрель будет в сырости — благодать. А теперь — в такое святое время винтовку чисти, а то на часах у какого-нибудь склада стой. Ему стало нехорошо на душе, он поднялся, прошел

три раза по перрону и решил идти в роту. В это время его окликнули:

— Кольша!

Милехин обернулся и узнал одного из товарищей по роте, Федьку Никитина. Он месяц назад заболел тифом, и его увезли в больницу. Милехин подошел к нему, и они подержали друг у друга руки.

— Как живешь-то? — спросил Милехин.

— Ничо. В поправку на два месяца в деревню пустили. Поеду сейчас.

— Ты какого уезда-то?

— Татарского,— ответил Никитин с удовольствием.— Через полдня, брат, дома буду. А ты?

Милехин нехотя ответил:

— Ново-Николаевского... Двое суток надо ехать. Ноне поезда-то беда как ходют, а коли с «максимом», так и всю неделю.

— С «максимом», верна,— подтвердил Никитин и звонким радостным голосом сказал: — Айда ко мне чай пить.

Милехин согласился. Когда они шли, Милехин заметил, что Никитина пошатывает от слабости, а с лица он был такой, будто под венец шел. Милехин ему позавидовал.

За чаем Никитин, как и все послетифозные, ел много и угощал Милехина. А Милехин не слышал, что рассказывал ему Никитин про больницу, докторов, а думал о своей деревне.

И когда он вышел из вагона, распрощавшись с товарищем, то решил уехать домой с этим же поездом. Прошло три вагона, хотелось сесть в самом хвосте поезда, но не вытерпел, вошел в вагон, прошел одно купе и в следующем полез под лавку.

В купе сидело пятеро солдат. Один из них, с расщепленным носом, спросил:

— Куда ты?

— Домой,— ответил Милехин.

— А-а...— сказал солдат, а другой, макая сухарь в стакан с чаем, спросил:

— Далеко тебе?

— До Ново-Николаевска. Одну станцию не доехать.

— Далеко. Документов нету?

— Нету.

— И хлеба нету?

Милехин ответил со злостью:

— Ну, нет, а тебе чо?

— Лежи уж,— сказал солдат.— Как-нибудь доедешь.

Два дня пролежал, не вылезая, под лавкой Милехин и на третьи сутки ночью слез на Грачевой. От Грачевой до Крутого осталось пятнадцать верст, и утром Милехин был дома.

Милка завизжала и кинулась под ноги. Гусь испуганно бросился в сторону, под опрокинутые розвальни; на конском черепе, воткнутом на заборный кол, как и год назад, сидел воробей и чистил под крылышками. Сенька выглянул в двери и заорал в избу:

— Мамка, батя приехал!

Баба поставила самовар, принесла молока, нарезала калачей и, утирая в кути подолом глаза, спросила:

— Надолго те пустили?

— На двое месяцев,— степенно сказал Милехин, и ему самому поверилось сказанному.

— Война кончилась, што ли?

— Где кончать? По болезни пустили.

— Какая болесть-то?

— А черт ее знат. Докторам известно.

— Конечно, докторам известно,— всхлипывая, сказала Марья,— уморили человека-то, да еще и не говорят — чем.

— Ладно, не лопшись. Буде.

В деревне спрашивали:

— В кумынию не записался?

Милехин отвечал:

— Брюхом не вышел, говорят.

— Ишь ты...— удивлялись мужики.— А у нас тут бают — в Омске-то усех в кумынию пишут, а кто не хочет, тому затылок бреют и к немцам шлют. Не видал таких?

— Не приходилось,— отвечал Милехин.

— Набродь мутить народ, добра не жди.

Милехин подтвердил:

— Не жди...

Но расспросы скоро кончились. Начался взмет земли, и все пошли на пашню. Весна шла тихая, апрель сырел — падали недолгие, но хрушкие дожди

— Благодать,— не в голос говорил Милехин, чтоб не сглазить.— Оглобля за ночь травой зарастает.

— Дивеса! — охала баба.

Плуг упорно и бойко буравил черную землю. Бурко потел, и от хомута пахло остро и сладко. Поблескивал лемех, поблескивала влажная шерсть на Бурке, и Милехину казалось, что сама отваливается земля — надоело ей лежать. С озер пахло камышами, распускались деревья, а кое-где на них мокрели еще нераспустившиеся почки, похожие на больших жуков

И как-то не думал Милехин, что в Омске, во втором взводе, лежит у его нар винтовка № 45728 и что он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной Армии.

Куры сходили с насеста поздно. Баба улыбалась и тихо ночью говорила на ухо Милехину:

— Урожай будет.

— Ладно,— сонным голосом отвечал Милехин, и у него слегка щипало краешек сердца. Он притискивал к себе бабу и засыпал.

Когда расцвела черемуха, начали сеять. Утром с востока дул легкий ветерок — хорошо, зерна несло к западу, к покою; потом к полудню ветер совсем прекратился — еще лучше. Солнце стояло в теплом красном круге — смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна.

Потом Милехин пошел в поле и увидал густой зеленый подъем. С вглава — прозорного места, на котором он стоял, пашня походила на зеленую коломенскую скатерть. А по краям — акорье — черные, обгорелые лесины, как стаканы с кирпичным чаем.

— Видал ты...— с уважением к себе сказал Милехин и, вспомнив, что дома не поена скотина, пошел домой.

За воротами его встретил Сенька:

— Батя, там стражник.

— Где?

— В горнице... Шапка большая-я... Я боюсь.

— Не укусит,— сказал Милехин, подымаясь на крыльцо.

Милиционер повез Милехина в волость, а оттуда в уездный воинский комиссариат. Из уезда его отправили в губернию, и губвоентрибунал постановил: за самовольную отлучку из Красной Армии в момент напряженной борьбы с врагами социалистического отечества конфисковать в пользу государства половину его движимого и недвижимого имущества.

1926

ЖИЗНЬ СМОКОТИНИНА

Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову вместо сгоревшей новую избу,— насмешек над ними было много. Кричали, что осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться и поработать не зря. И все подолгу ходили подле накиданных холмом желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры.

Подрядчик, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький, широконогий старичок. Евграф был запуган войной, голодом, непонятными налогами, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил в волости, на совесть, лавку для кооператива, деньги назавтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь, кто виноват, и взыскивать не с кого. После этого он окончательно никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне рубки избы ему занедужилось, или он притворился, чтобы приучить детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.

Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил топор, выбрал потяжелее лесину и — ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево... Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле амбара ворковали голуби — и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники, видя, как старается их хозяин, тоже крепко ухвати-

лись за топорища. Они были со стороны, не любили эту сытую деревню, и им хотелось показать, как по-настоящему должно работать. А хозяин словно желал с ними потягаться.

Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, вдова: мужа у ней убили на войне, она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила,— говорили, будто бы волостной кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход? И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня. Собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось, и казалось — мели землю длинные каштановые ее ресницы... Обойдя груду бревен, сильно пахнущих смолой, она поравнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной, щепу, поклонилась им низко. Плотники взглянули на хозяина — тот горел над лесиной; думал он вырубить из нее матицу, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается.

— Баба-то будто окно, раму бы ей подходявую. тут тебе и тепло и светло будет,— сказал один из плотников, глядя вслед Катерине.

Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину.

— Кто ей щепу дал?

— Сама взяла,— с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы, кому захотят.

Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорол какую-то глупость,— Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:

— Кто тебе позволил щепы таскать?

Катерина плавно качнула плечами,— кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело, потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка,— и от этого ее движения словно что-то зарябило внутри

Тимофея. Он протянул руку — с бабами он был боек — и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, не так как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она будто и не спешила его оттолкнуть,— Катерина только сказала:

— Полно,— и выпустила щепу.

Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось...

— Иди ты, задавалка! — прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая, и казалось — похлопывает он себя поленом.

— Грош на разживу да щепочку на растопку,— насмешливо поддразнил его все тот же плотник.

Но Тимофей не огрызнулся.

Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой — выпить чаю; пойти на реку, что ли,— выкупаться.

— Канительше папаши получится,— сказал ему вслед насмешливый плотник.— Жоха вырастет для нашего сословия.

И все плотники согласились с его мыслью.

Отец лежал на полатях, и, когда сын вошел, он заохал, застонал,— Тимофею было противно видеть его притворство. Отец начал выспрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:

— Только и знаете чай жрать, а он два целковых кирпич!

Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог — выкупаться,— онучи были горячие и свернулись трубочкой,

отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по онуче.

Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбивая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки — ароматные жуки, носившиеся по вечерам,— тыкались, словно играя, в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить всю округу!

А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубу. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вздумалось Тимофею погулять по реке с бреднем, а как сунул ноги в воду, так чуть было не вытошнило.

— Поди ты,— смущенно сказал он, опуская бредень на теплый песок,— болесть какую, что ли, прилепили?

Вечером знахарная бабка спрыснула его с уголька, дала выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.

— Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не согласна. Перед мужем, грит, в обете. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли...

Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: «Полно»,— и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.

Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос, и зори были пьяны своей сытостью, весельем, как и поля.

Тогда Тимофей упросил отца справить ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках вроде того, что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску; хоть и парень будто бравый,— а подойдет седок — пьяный, дурак,— посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазы-

вал; подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча, как на перекрестке — не видя никого,— глядел на столики. Однажды в праздник довелось ему выручить семь рублей; пошел с приятелями по квартирному углу в трактир. Один из них, гундосый и прыщеватый, рассказывал, как он вчера испортил девчонку. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.

— Да брошу, ну ее... плаксива больно...— закончил гундосый.

— А не зажалеешь? — вдруг спросил Тимофей.

— Чего? — удивился гундосый.

Тимофей тряхнул головой — и потребовал стакан водки... Приятели тоже, за компанию, выпили по стакану. Тогда Тимофей сказал:

— А я одну... вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку иссох...

Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, что пить дальше — пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых... Многое хотелось ему рассказать, но так и не пришлось.

Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась, и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам, и какой-то старик в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: «Купец Гаврилов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели,— извозчик». И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком — пирожника — отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была единственная, тоскливая... Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетела, как цвет, оборванный ветром с шиповника: защипало в глазах... Крикнуть он было хотел, под-

хватил вожжи, и лошадь словно узнала ее,— смирная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали... А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: «Останови ее, останови!..» Румяный милиционер засвистал, сам забавляясь и суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.

Тимофея забрали в часть. Просидел он неделю, выпустили: решили — больной. Лошадь за эту неделю исхудала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь, пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился строить четвертую за этот год избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси; по утрам вдоль реки появлялась наледь, и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латаном платье проходила она селом, и казалось — дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволжника вверху оврага показалась пара волков,— никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы. Тимофей выстрелил, волки прыгнули, один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. «Завтра найду»,— подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но, когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела дожечь лучины. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и как бы пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет и на ее лицо и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами... даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась и руки опустились к бед-

рам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана,— Тимофею стало стыдно мерзко — и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек, стоит, как попрошайка под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.

Тимофей, дабы освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон и не мог припомнить — с картечью он или с дробью. «Все равно — три шага»,—подумал он, и та необычайная ясность — что приходила однажды на перекрестке подле зеленой церквушки — опять нахлынула на него.

Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея,— на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду — о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. «Как щепа за сердцем»,— сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой, невсамделишной, все думалось: надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать — он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась.

Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели откуда-то из-под Оренбурга необыкновенных аргамаков. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей,— цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску. «Полезай»,— сказал ему нетерпеливо самый молодой. Тимофей прыгнул: невиданная боль ударила ему в колени,—коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелькали фонари, кто-то выстрелил. Тимофея долго били кулаками, плетью, допытывались — где цыгане. Он сказал. Тогда его ударили в бок поле-

ном — и кинули в овраг, за селом. У него вытек глаз, он начал хромать — и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал, и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.

— Да, братишки, довела меня, подлюка! Идет, согласен непременно!— закричал он. Услышал свой голос — и попросил водки. Ему дали полстакана, и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его... Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до угла большой пятистенной избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий спокойный месяц, и лицо у Игната было тоже спокойное, и шуба его казалась синей, а воротник походил на облака.

— Не мешай жить,— крикнул Тимофей, ударяя его ножом.

Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал — горький снег во рту, шатающийся сугроб — и месяц скользнул у него между рук...

Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны — совершенно голые, как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали — отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых... Посмотрел сыну в лицо, перекрестил и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.

И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея готовила поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот. В сенях плотники стругали гроб, и насмешливый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили про-

ститься с покойником. Плотники, чтобы идти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням медовые запахи стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. «Полно»,— сказала шепотом Катерина и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб. Плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди — склонилась к полу.

И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.

1926

ПОЛЫНЬЯ

Жизнь, как слово,— слаще и горче всего.

Богдан Шестаков очень изменился за последний год. Когда он напивался, в голову приходили тягучие мысли о смерти, а подумав, он начинал драку. В деревне его стали бояться и хвалили только за то, что он дерется не ножом, а постоянно палкой. Девки приставали меньше, кто-то пустил о нем славу — порченый. И верно, всякий раз после пьянки его долго тошнило, и если выскакивал из горла темный сгусток крови, то становилось легче дышать... Кожа на его огромном скуластом лице казалась какой-то гнилой, а маленькие глазки смотрели так, словно дано было ему видеть мир в последний раз.

Был конец масленой, деревня много дней уже пила, дралась и, путаясь в огромных сугробах, орала озорные песни. Накануне прощеного воскресенья девки не пришли на вечерку, и Богдану хоть и скучно было драться без девок, но опять заныло сердце, опять в голове стало так, словно он стоял, наклонившись над бездонным оврагом,— и Богдан разогнал вечерку, выбил в избе окна и даже ударил любимого своего друга Степку Бережнова. Ударил в ухо, в кровь, а Степка парень был гордый, удара не простит,— и думал утром Богдан: теперь или Степку придется зарезать, или Степка зарежет его. Стало необыч-

но тоскливо. Плохо растапливалась печь. Мать, перекладывая поленья, сказала ему:

— Хоть бы ты долги за бочки собрал, кончат тебя скоро. Степка по селу ходит — не миновать, говорит, тебе ножа.

В свободное от хозяйства время Богдан бондарничал. Деньги за работу сбирать не умел, и часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань. И то, что мать не пожалела его, а думала больше о деньгах, тоже как-то расслабило Богдана. Вяло и нехотя натянув щегольские, с узкими голенищами сапоги, взял обеденный нож со стола, вытер его два раза о подошву, сунул за голенище. Мать только громыхнула ухватом. Размахивая сучковатым своим батожком, Богдан вразвалку, лихо играя плечами и удало посматривая по сторонам, шел по улице. В первый раз за всю его жизнь лежал у него за голенищем нож, и было непонятно чего стыдно и даже страшно. Казалось — выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан выхватил бы нож и даже едва ли поднял бы палку.

Деревня после вчерашней гулянки еще спала. Выйдет разве за ворота посмотреть погоду какой старик. Тупо стоит, распахнув тулуп и подставив солнцу сивую бороду. Снег тает у него подле валенок, валенки темнеют, и не видит ничего старик. Даже собаки не лаяли, словно и они страдали с похмелья. Казалось Богдану, разбежалась, перепряталась по сугробам деревня, словно вспорол он своим ножом мешок с пшеницей. Так Богдан дошел до выгона, там уж кое-где посерел снег: словно протерлась материя и выступила подкладка. Ночью, надо думать, выпадала пушная кидь — самый крупный снег, и обледенелая дорога казалась исковерканной долотом. И опять мысли, тяжелые горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть же в деревню было страшно до поту. Вправо от выгона белело кладбище, и пришло ему в голову, как трудно будет долбить ломами могилу, а копать ему могилу будут парни-сверстники (есть такой обычай: зарезанному приятелю сверстники копают могилу, чтобы подольше поговорить о покойнике). Степка первым пойдет по деревне... И тогда он подумал: «Надо обрат идти. Говорят уж, поди — от Степкина

ножа утек». И все ж не было сил обернуться к родным избам. Здесь он припомнил, что в Данилове — соседней деревне, верстах в пяти — сегодня престол и вечерки.

Богдан выпустил чуб из-под шапки, подтянул выше голенища, страх будто прошел, и Богдан направился по обширной снеговине в Данилово.

С легким хрустом скользили его каблуки по ледку дороги. Хруст льда был рыхлый, весенний, и рыхлые шелковисто-белые облака были в огромном небе. Конец снеговины был занят легким синеватым леском Дорога, словно утомившись прямо бежать по снеговине, начинала вилять и в лесок брела, как пьяная Лесок-ельничек был весь в снегу, в искрах, в фарфоровом блеске, поднимался он на холм бодрый, веселый, словно бы с пеньем. За холмом — поляна, а с краю ее — Данилово. Перед самым леском текла речка, занесенная пухлым снегом, убродная, словно стянула она со всей равнины на себя снега, будто нужно ей было прятать что-то драгоценное. Ничего-то в ней не водилось, даже пескари и те давно передохли, запутавшись и устав жить в неимоверно густых лопухах и водорослях. Через речушку лежал мостик, тоже занесенный снегом; торчали от него два столбика, а направо от этих столбиков виднелся сруб,— года два назад кто-то хотел устроить здесь мельницу, да так и бросил, неизвестно почему. Летом в этот сруб парни водили девок, водил и Богдан.

И вдруг влево от столбиков, в двух саженях, не более, увидал Богдан громадную, как большой двор, полынью.

Не меньше как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в нее всю свою злобу, накопленную за долгие годы.

А по ту сторону полыньи увидел Богдан большого сизоголового селезня.

Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью? То ли затосковал он в солнечной стране по родным лугам? То ли на самом деле должна

через несколько дней хлынуть весна? И селезень, словно смеясь над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, когда он выныривал, вода расцветала. Селезень крякнул, ударил крылом и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, словно по сердцу, непередаваемо разозлило Богдана. Он отпрыгнул, схватил ледышку и метнул ею в селезня. Птица нырнула, шесть темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал — не завести, видно, ему никогда дробовика. Он быстро начал собирать обледенелые комья снега, и ему было стыдно: большой парень, а, словно мальчишка, гоняется за селезнем. Но тут ему захотелось принести на вечерку в Данилово дикого селезня.

— Замучаю, гадина! — закричал он, продолжая собирать ледышки.

Селезень крякал, тревожно смотрел вверх. Рыхлые облака, словно пряди седых волос на молодом лице, продолжали скользить по небу. Желтый клюв селезня, подобный уцелевшему осеннему лепестку, тонул в воде. Богдан, весь потный, увязая в снегу по пояс, бегал с одного берега на другой и все не мог отыскать такого места, с которого он мог бы попасть в селезня. Подле кустика он ткнулся в настыль — промерзшую толстую кору снега. Богдан наломал куски этой настыли и долго кидал их в прорубь. Он скоро устал — и от злости на такую глупую охоту, и от мысли, что селезень может улететь. А селезень продолжал все нырять и нырять, и казалось — с каждым разом он остается в воде все дольше и дольше. И вот, когда он нырнул особенно надолго, Богдан, внимательно рассматривавший полынью и гадавший, где бы мог вынырнуть селезень, как-то невзначай взглянул на сугробы. По сугробам переметывался с тревожным шипеньем снег. Богдан поднял голову, и в небо, словно с сугробов, перекинулась волокуша. От солнца в мятущихся снегах осталось только пятно огненно-красной киновари. Края земли походили на завороты сугроба. Деревни не было видно.

Тогда Богдан поспешно отыскал свою палку, переломил ее, долго целился и так кинул ее, что палка завизжала. Селезень взлетнул на сажень. Богдану по-

казалось, что он попал ему в крыло. Да и селезень теперь не нырял, а чуть волоча крыло, плыл вдоль снежного берега. В воду с надутых, как капризные губы, сугробов сыпался снег. Стало тускло, как в сумерки. Очень ясно обозначались талые места дороги, и тут только Богдан понял, что, даже убив селезня, он не смог бы достать его из полыньи. Разве лесиной, но едва ли подыщешь такую тонкую и длинную лесину, которая могла бы достать до середины полыньи. Он почувствовал иней на шее, замотал крепче шарф, перетянул опояску, вдруг стало почему-то обидно, что на полушубке недостает трех пуговиц. И опять с непонятным страхом подумал о родной деревне, о Степке, опять тяжелые, как горы, мысли подступали к сердцу... От ножа ноге стало холодно, он достал нож и сунул его за пазуху. Посмотрел на полынью,— селезня за снегом не было видно. Богдан постоял, подумал и все-таки пошел в Данилово.

А ветер все усиливался, и не успел Богдан отойти десяти шагов от столбиков моста, как снег — мелкий, пылистый «блеска» — так ударил ему в лицо, что словно забил горло. Богдан долго протирал глаза и, протирая, не заметил, как очутился на реке. Потерялась лиловая тень мельничного сруба, да ельник куда-то исчез — и дороги под собой не нашел Богдан. И когда он, поддерживая для чего-то шарф на шее, кинулся вперед,— вдруг темная вода полыньи открылась у его ног. Снег медленно уходил в воду, так медленно, что казалось — прежде чем уйти, он скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей, и, уходя, не верит, что можно скрыться. Богдан, неотступно глядя на полынью, медленно шел вдоль берега и вскоре наткнулся опять на столбики. Он яростно сбил с одного из них снег. Он потоптался перед столбиком, даже как-то неумело приплясиул,— сразу стало веселей, и он вновь направился в Данилово.

И вновь, не успев отойти десятка шагов, сбился с ледка дороги (хотя вначале, прежде чем ступить, нащупывал впереди себя ледок, но ему быстро надоело нащупывать, сразу поверилось в удачу) и опять попал на реку, глубоко теперь, почти по пояс занесенную снегом. Идти вперед по реке было до обиды страш-

но,— каждый шаг, казалось, обваливался и катился в полынью. Мчалась округ него шипящая светлая темнота. Богдан остановился. «Господи!» — прокричал он приказывающе, повел палкой, и вправо палка его наткнулась на бревна мельничного сруба. Он хотел было войти туда, но вдруг зачем-то вспомнилось, как воняло в срубе, когда он водил туда девок, и как вонь эту замечали только тогда, когда шли обратно. И стало ему до слез обидно на Степку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. «Господи!» — опять приказал он. А поносуха все сильнее и сильнее крутила снега, притискивая к его телу кожух. «На дорогу от сруба надо брать влево»,— припомнил Богдан. А на дороге ветер был еще сильнее, поднялся, видно, последний зимний буран. Столбик вновь был занесен снегом, полынья исчезла. «Тоже, должно быть, занесло»,— подумал Богдан, и ему стало легче. Он присел на столбик, скрутил папиросу и, когда между колен в полушубке зажигал спичку, ветер дернул, вырвал кисет, обидно помахал им в воздухе и швырнул его к полынье, в снега. Богдану стало так тяжело, что он даже не обрадовался тому — на таком сильном ветру, закуривая папиросу, не испортил ни одной спички. «Затянуться напоследки»,— подумал он и здесь вспомнил опять Степку, свою трусость, и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику. Он уже и сам понимал, что не дойти ему теперь ни до Данилова, ни до дому, заблудится, сдохнет,— и все-таки пошел в Данилово. И верно — сразу же он спутался, упал, сразу очутился в сугробе, и вот снова перед ним — полынья. Она лежала такая же неподвижная и темная, как и раньше, так же неподвижно били в ней подземные родники, и так же нехотя принимала она в себя снега. Не колышась, плыла она спокойно среди этих взбесившихся снегов, плыла настолько неподвижно, что даже не отражала ничего, как глаз мертвого.

Сердце у Богдана вдруг словно прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился. И затем сразу нашло на него такое чувство, словно он засыпал после большого, наполненного усталостью дня. Вода на мгновение просветлела — и он неистово ринулся прочь. Но сразу же до истомы стало ясно: куда бы

он ни кидался, как бы ни бежал по сугробам,— везде под ногами обрушивались глыбы рыхлого снега, и вода открывалась ему. Попробовал было он закричать,— сразу от сильного ветра заныли зубы, и стало чего-то стыдно. Шарф стал влажным, и скоро обмокрела спина. «Добро — у сапог узкие голенища, а то бы снегу-то сколько набилось»,— подумал он, не замечая, что и узкие голенища были наполнены снегом, а теплые капли пробирались вдоль икр.

Он устал думать о дороге,— в голове у него остались только какие-то коротенькие мысли о столбиках. Ему казалось — ухватиться бы за столбик, и он не скатится тогда в воду. Виски были словно зажжены, а чуб лез на глаза, холодный и чужой. Несколько раз отскакивая от полыньи, наткнулся он наконец на столбики, упал и прижался лбом к обледенелому дереву, и на мгновенье вернулась храбрость, он полез было в карман за табаком. Скверно и долго выругался. Брань шла легче, чем крик, и он, длинно и долго ругаясь, звал на помощь. Показалось, что чем-то и кому-то он отплатил за свои муки. А веселый и свистоголосый ветер все так же несся над снеговиной, все так же блестящей пылью звенел на обледеневшей коре-чире, колол ресницы. Богдан отполз немного от столбика, от дороги; он ясно заслышал понуканье ямщика, храп утомленной лошади, ему показалось, что его могут растоптать, но тут лошади словно свернули в сторону. Он даже разглядел, как блеснули длинные оглобли, хотя и знал, что иной дороги, кроме той, на которой он лежит,— нету. Но он отполз еще два шага.

И опять темное жерло полыньи всплыло перед ним Обледенелый скат, спускающийся в воду, как бы дрогнул, в плечах Богдана словно что-то хрустнуло, и он торопливо поджал под себя ноги. И было время,— каблук уперся в какую-то ледышку или коряжку, а в полуаршине далее лежала вода, пахнущая почему-то тиной. Эта пахнущая тиной вода словно всосала все его мысли. Он долго, сгорбившись, сидел и неотступно смотрел в воду. А затем, как родник, со дна его души ударила в тело и смятенно пронеслась мысль, что сейчас каблук соскользнет с коряжки, кости и мясо — все то, из чего составлен Богдан, покатится по льду,

ветер, дующий в плечи, еще сильнее ударит в полы полушубка, и шесть огромных кругов, похожих на круглые перья, захлопнут его жизнь. Он стал тереть ноги, а пальцы без толку путались, и казалось — трет он сапог о сапог, как безрукий чеботарь. И когда подумал — «безрукий», все как-то вдруг рухнуло в его голове: дорога, ожидание саней, удаль его, и он хорошо понял, к чему это, словно пропели ему конец.

Тогда вправо, совсем против столбиков, подле большой, нависшей над водой глыбы снега (с глыбы тусклой струйкой сыпался в воду снег) Богдан увидел селезня. Птица, уткнув под крыло голову, тихо покачивалась на воде. Сверху она была вся засыпана снегом и как бы походила на свою белую тень. Богдан изумленно потрогал веки — снег словно посинел.

— Цыпа... цыпа...— позвал он вдруг и сам удивился своему пискливому голосу. Не успел он позвать птицу и трех раз, как селезень встрепенулся, снег с него скатился, и он медленно поплыл прочь. Богдану стало обидно, зло, он даже почувствовал жар в веках,— так напряженно вглядывался он в крутящуюся синеву. А более всего ему было обидно то, что он мог вспомнить сразу, как кличут цыплят, а как кличут утят — он не мог вспомнить. Селезень давно уже уплыл в снега, а Богдан все покрикивал: «Цыпа, цыпа»,— и, когда совсем обмерзли десны и ему пришлось замолчать, он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно. Он убрал с коряжки затекшую ногу. И оказалось — скат не так уж скользок. Опять усилилась метель, и вскоре он начал думать, что селезень почудился ему и что нет такого селезня совсем, а было ему виденье перед смертью.

Снег пожелтел на минуту,— надо думать, закатывалось солнце. А потом зашипело еще сильнее; казалось, снег был теперь с мелкими градинками,— очень больно колол за ушами. Долго так сидел Богдан. Снегу намело вровень с плечами, перекатывался он по груди. Спине стало теплее, и Богдану не хотелось вставать, уходить. Он всунул пальцы в рукава, надвинул шапку на уши и полузакрыл глаза. И тогда ему показалось, что коряжка выскакивает из-под его ног. Он шевельнул ступней: что-то похожее на льдину качнулось подле его сапога. Он наклонился — было

уже совсем темно — и неподвижной холодной рукой он скорее почувствовал, чем ощупал, перья селезня. Птица отошла от его руки и поползла, скользнула вдоль сапога к сгибу ноги,— видно, ей хотелось выбрать, где теплее. И Богдан вспомнил, как раньше сизое перо селезня чем-то напоминало ему венчик на лбу покойника. И огромная злость потрясла Богдана, он сунул руку за пазуху к ножу, но тут грудь его наполнилась каким-то кипящим теплом, тепло это хлынуло по рукам. В голенищах снег уже не таял, и не было ощущения, что портянки с ног разматывают по ниточке. Сугроб за его спиной почудился шире, тверже и чем-то напомнил баню. Небывалая доброта овладела всем Богданом.

— Ишь, черт,— сказал он шепотом и заботливо погладил селезня по крылу. Затем рука его спустилась к животу; живот у селезня был мокрый. Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и шея его бессильно падает на тыл Богдановой руки.— Полезай дальше,— прошептал Богдан и долго не убирал руки, пока селезень не согрелся и не взял голову под крыло.

Так человек и птица просидели всю ночь у полыньи. Вначале, когда Богдан перебирал затекающими ногами, селезень шарахался, а потом привык и только легонько крякал, и это смешило Богдана. Под конец даже Богдан решил, что селезень выведен при птичнике из яиц дикой утки, может быть, даже и улетел из птичника. Под утро Богдан вздремнул и, засыпая, подумал уверенно и весело: «Не замерзну». И он, точно, не замерз. К утру из-за лесочка, из-за холма, словно он там спал всю ночь, хлынул в снеговину теплый весенний ветер. Ветер тронул Богдановы ресницы. Богдан вскочил и начал оттирать снегом руки. Три пальца не действовали, посинели слегка и стали необычно гладки. «Придется обрубить,— подумал он,— и на ногах поди придется обрубить». И, оглянувшись, заметил он, что больше, выше всего снег на дороге, да и всегда весной, если идет крупный снег, больше всего наметает его на дорогу. Что ж тут позорного, если и заблудился. Тихий плеск послышался рядом — это селезень нырнул в полынью. Но он вскоре вынырнул, точно ему жалко было оставлять тепло и солнце, взглянул изумленно на человека и с громким криком

уверенно и быстро поднялся вверх, прошелестел над леском и понесся на холм, навстречу весеннему ветру.

— Ишь, черт,— сказал любовно, глядя ему вслед, Богдан.

Отмороженные пальцы начинали ныть, но Богдану было легко переносить эту боль. Идя вдоль каймы занесенной снегом дороги, он думал уверенно, что если уж теперь драка выйдет, так конец-то теперь Степке будет, а не ему, Богдану. И было непонятно, как он мог бояться своего села,— оно лежало в снегах такое теплое, пахнущее хлебным дымом,— как он мог думать о смерти, бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить... Он не знал еще, что будет делать теперь, но веселая уверенность наполняла его все крепче и крепче. Так, улыбаясь неумелой улыбкой, прошел он вдоль села, стукнул в окно и тихо крикнул:

— Мамка, неси топор да рукотерку!

Положил руку на бревно, на котором кололи дрова, отрубил три пальца и, перетягивая полотенцем руку, сказал ласково матери:

— Теперь удача мне во всем, работать ли, еще ли что, а коли со Степкой резаться,— обязательно ему конец, мамка.

А матери было страшно слышать его ласковый голос, тошнота подступила к сердцу от снега, залитого кровью, слезы текли у ней из глаз, а вытереть она их боялась почему-то. И так же ласково, в голос сыну, она спросила:

— Ливорвер, что ли, купил?

И, опять улыбаясь неумелой улыбкой, ответил ей ласково Богдан:

— А то как же... Не со слова же быть мне такому храброму.

1926

СЧАСТЬЕ ЕПИСКОПА ВАЛЕНТИНА

Епископу Валентину (умилявшему граждан молодой своей хилостью, от которой казалось, что голос епископа звучит как бы во вчерашнем дне) председатель церковного совета Трофим Николаевич Архипов сообщил, что паства, собрав последние крохи и скор-

бя сердцем за епископа, жившего у мужика, отремонтировала светелку, где ранее помещалась ризница. Епископа умилило все, даже голос Архипова (не одобряющий мир и трескучий по звуку), хотя Архипов, промышляющий кожами и кадушками, был во многом противен епископу. Архипов был мужик увлекающийся, горячий, религией он занимался не потому, что верил в бога, в боге он сильно сомневался и даже просматривал изредка богохульствующие журналы,— он был честолюбив, отважен. Отец Архипова семидесяти двух лет повесился в витрине своего магазина: всю революцию торговал старик, а вот на восьмой год слопали, не мог осилить их,— а также не мог осилить себя. Сын рос в отца.

Паства уважала епископа, епархия была маленькая, недавно образованная: в церковном центре не знали, что уездный городишко И. вот уже полгода превращен за ненадобностью в волость. Добро, если епархия насчитывала полтора десятка сел. Все ж епископ приехал в епархию свою с радостью, исполненный надежд и любви. Дело в том, что вот уже как год епископ полюбил девушку, назовем ее Софьей,— ничего в ней отделяющего ее от толпы иных девушек не было; она в меру боялась жизни, нежно берегла свое девичество, епископа, может быть, полюбила потому, что он был не очень боек,— и поцеловал ее один раз в щеку. Каждый день епископ Валентин писал ей письма, длинные, со вздохами, со следами слез и с надписью в конце каждой страницы: «продолжение на обороте». Шапка епископа, высокая, потертая, из поддельного котика, была починена ее руками. Епископ тихо любовался неровно лежащими синими нитками, привык за последнее время часто снимать шапку: перевернет ее в тонких и бледных ладонях, вдохнет холодный и необозримо широкий воздух пустынного городка,— печальные мысли все чаще и чаще посещали его голову...

В собор епископу Валентину приходилось ходить мимо дровяного и сенного базара. Ласковые запахи мерзлого леса и сонных трав издавна умиляли его. Он воспитывался в городе, в деревне бывал редко, мужиков привык жалеть по картинкам и книгам. Деревню епископ представлял кроткой и в то же время жесто-

кой, чем-то похожей на его детство, и когда его назначили в И. (он знал, что И. превращен в волость), он вдруг поверил, что счастье, которое его ждало с Софьей,— здесь, в простой и ровной, земной и скотской, то есть ясной по своим плотским желаниям, жизни. Счастье здесь придет и возьмет его дни без замедления. Несколько дней ему даже казалось, что он как бы возвращается в свое детство. Его комната у мужика пахла животными и картофелем, тихо превшим под полом.

А от него требовалось постоянно мыслить, что он, епископ Валентин, слуга бога и живой церкви, борется с тихоновщиной в своей крошечной епархии; что епархии, такие крошечные, открывают для прельщения глупых и неразумных чад блеском епископского служения. Хлеб и паства доставались с трудом (даже служение из великих церковных композиторов надо было назначать с выбором, ибо постоянно стоял подле хора агент, бравший налог за исполнение песнопений, а миряне в кружку опускали мелкие монеты, и больше всего раздражало, что вот уже год, но каждый день в кружке находят николаевский двугривенный, и никак не удавалось уследить, кто так озорничает), и кроткая радость, с которой он встретил мужиков, медленно угасала в нем.

Так и теперь, идя базаром, епископ Валентин холодно, с неясным томлением, переходившим в раздражение, разглядывал тощие воза, мужиков, завернутых в грязные бараньи шкуры, плохо выделанные и плохо скроенные. На многих мужиках уцелели еще солдатские шапки, а от былых бравых движений не осталось и следа. День был светлый, морозный и как бы далекий. За базаром, среди сверкающих сугробов, сразу же начинались две тропинки: одна черная (сажу роняли, должно быть, когда несли железные трубы и печь) к светелке; другая, желтая и широкая, к ветхому собору; эта тропинка, извилистая, была утоптана слабыми женскими ногами. Даже по тропинке можно было понять оскудение и пустоту веры! Собор блистал голубизной, древностью и веселым величием.

Длиннорукий мужик в черном тулупе, белой шапке с громадными наушниками, из которых один был полуоторван, носился по базару. Он наткнулся на пред-

седателя церковного совета Архипова. Архипов снисходительно оттолкнул мужика, мужик не отставал, и тогда Архипов окрикнул епископа. На Архипове были щегольские сапоги с выгнутыми голенищами, отчего сапоги походили на полозья, поставленные торчком. Епископ медленно благословил председателя.

— Еле отвязался, восемь копеек ему дай! Восемь копеек на земле не валяются. Морозно-с? — присвистывая сквозь редкие зубы, спросил епископа Архипов.— Мороз-то душу радует, если знать, что дома тебя ждет отдохновение. Я вам для светелки дров торговал. Мужик нынче пошел на деньги жадный, за сажень ломят бог знает что, им хоть церковь, хоть трактир.

Он бойко, одним глазом, посмотрел на епископа. Всегда такой взгляд смущал епископа Валентина. Всегда после такого взгляда Архипов начинал выказывать унижение, даже просил исповеди, отпущения грехов,— и невозможно было понять: смеется он или действительно томится в страданиях. Архипов, продолжая бранить мужиков за отсутствие веры, шагал по желтой тропинке к светелке. Любовь мужицкую он сравнивал с собачьей,— и здесь опять епископ Валентин вспомнил свою любовь.

Догнали их еще двое членов церковного совета: чахоточный с одутловатым серым лицом и до нестерпимости выразительными глазами, низенький, жизнерадостный и постоянно строящийся Любирцев и мрачный, непомерного здоровья и столетней, наверное, жизни и как бы каменноволосый Егор Чирков. Они были друзья, во всем почти соглашались, только святых уважали разных: один Николая Мирликийского, а другой Марию Египетскую. Архипова они чтили как знатока законов, а епископа сразу же, когда он приехал, хвалили за безбрачие: легче, дескать, с тихоновцами бороться. И епископ вспомнил — тогда же Архипов, уже какой-то тайной мыслью унизив себя, исступленно, полушепотом, воскликнул: «Смущение веры, думали, произойдет, ваше преосвященство! Вы будто пламень, ваше преосвященство». Епископ Валентин растерялся, и хотя не верил Архипову, подумал — «скажу им о Софье позже...», и чем дольше он жил, тем все труднее и труднее было признаться в своей

любви. Письма к ней становились все длиннее, часто в стихах. Она в ответ называла его своим Данте, а себя Беатрисой, письма так и подписывала: «твоя Беатриса», и это было неприятно и в то же время радостно читать.

Архипов, берясь за выпачканную известкой скобу низенькой двери, воскликнул:

— Нам ли, ваше преосвященство, не понимать ваших мучений? Живете вы у мужика, спите на досках, у Митрия-то клопов-то поди больше гвоздей, господи. И все из-за веры... Я же понимаю! Вера и терпение,— да мне ль не понять?..

Митрий, квартирохозяин епископа, был сапожник,— и клопов действительно было много. Помимо клопов, епископа мучила духота: кроме Митрия, в комнате спали трое детей, теленок, стояли вонючие кадушки с огурцами и капустой. Митрий, сутулый, с грудной жабой, сильно некрасивый, настаивал перед епископом и перед живой церковью, чтоб требовали христиане уничтожения икон: «больно святые ликами прекрасны»,— озлобленно хрипел он. Тоже, должно быть, любви в своей жизни не встретил.

Епископ Валентин благодарно взглянул на Архипова. Епископу стало весело. Перед тем как войти в светелку, он радостно оглянулся. Морозный и звонкий шум базара умилил его. Голуби, суетливо хлопая крыльями, носились над собором. Купол собора отдаленно напоминал крыло, голубое крыло. И в светелке, когда они вошли, все бледноголубело, даже сапоги Архипова и те казались нежными. Пахло известкой. И простая мысль, что наконец-то милые женские кудри упали на его жизнь, непреодолимо завладела сердцем епископа Валентина. Стих затеплился внутри его. Он присел на лавку. И мужики, словно поняв его умиление, тоже присели на лавки. Они глядели в пол, молчали. Снег от их валенок светло и тихо таял на пахучих сосновых досках. Да, такая именно тишина ему необходима. Маленькое окно, стекла, закапанные белой краской, которую, наверное, забудут отмыть и которую так важно именно не отмыть. За окном сугробы, крепкие, словно бы столетние. За ними чуть-чуть мерцают голубые локоны на главах собора, над

ними огромное российское небо. Тишина, умиление, вера... Он вздрогнул, обомлел.

Надо сказать мужикам о Софье! Он понимал, что теперь у него сил хватит бороться: как бы ни вопили тихоновцы о женитьбе епископа, сколько бы прихожан ни отвернулось от него, как бы ни позорили его святость. Возвышенная дрожь охватила его,— он перекрестился в угол. И то, что в углу не было образов, что епископ крестится на пустой угол,— мужики поняли по-своему, умилились, и только Архипов мельком подумал, что тут неладно, хитрый поп намекает и язвит, что вот светелку-то отделали, а иконы забыли поставить. Намекает на суету! Но Архипов верил в себя и знал, что он-то сумеет уровнять епископа. Излишне подобострастно Архипов проговорил:

— Тишина, ваше преосвященство, всего на свете слаще. Вот вечерком и сможете переехать. Помещение обширное. Одному скучно только мирянину...

Епископ смущенно осмотрелся: сводчатый потолок пересекала железная балка, тоже побеленная и как бы распухшая оттого. И епископ подтвердил, что да, комната, верно, большая, Архипов встревоженно взглянул ему в глаза (епископ понял, что сейчас, именно сейчас, надо сказать о Софье) — и опять смолчал. Архипов, должно быть, уже кое о чем догадывался. Он встал с лавки, и тогда епископ взял шапку, витиевато поблагодарил членов совета за хлопоты о нем и сказал, что пора идти на служение. Тяжело и устало бухал соборный колокол. По желтой тропе шли старухи в длинных черных платьях. На базаре, будто передразнивая благовест, лихо скрипели полозья. Члены совета отстали, епископ шел один, на душе у него было ясно, Архипов уже не тревожил его. Он с умилением думал, что вот: собор дряхл, служат в одном зимнем притворе, через весь притвор тянется к алтарю ржавая труба железной печки, и ладану никак не удается осилить запах сырых дров, а колокол гремит так, будто ему надо сзывать тысячную паству. Снег забился в калоши. Епископ остановился, и когда поднял глаза, перед ним стоял длиннорукий мужик в черном тулупе, недавно споривший с Архиповым. Полуоторванный наушник шапки болтался подле его инистой бороды. В руке он держал вареж-

ку, несколько монет позвякивало на дне ее. Лицо у мужика было веснушчатое, украшенное тонкими и веселыми губами, руки у него были упрямые, он взмахивал ими так, словно и посейчас не выпустил топора. Да и по всему можно было понять, что никакая работа ему не страшна, что к людям он относится снисходительно и многое успеет (и хорошего и плохого) сделать в своей жизни. Епископу Валентину подумать так о мужике было приятно, и он спросил

— Как имя-то твое, милый?

— Сумишев,— бойко, давая понять, что он все на земле знает, даже и то, почему епископ спрашивает его об имени, ответил ему мужик.— Сумишев, Митрий Максимыч, батя. Я вот с Архиповым говорил, Архипов твой... тьфу. Дай мне, батя, восемь копеек.

— Зачем тебе восемь копеек? — спросил епископ, думая в то же время, что в радости даже самые отвратительные голоса могут звучать прекрасно и что трудно понять: хороший или плохой голос у мужика.

Здесь подошел Архипов, но он не оттолкнул, как давеча, мужика, он наклонился к епископу и тихо сказал, что, верно, приходы бедны и епархия самая беднейшая, может быть, во всем мире. Жалованье епископу увеличат не скоро, причту где справиться. Он протянул синюю книжечку уложений о квартирной плате, и епископ смятенно прочел, что ему за квартиру надобно платить девять рублей за сажень. Он взглянул на Архипова,— «пять сажен»,— сказал тот тихо и оглянулся на прочих членов совета. Члены совета сжали руки. Сорок пять рублей! Мужики молча переглянулись. Сумишев тараторил:

— Развожусь, батя. Развод-то стоит семь с полтиной. Ну и наскреб я эти семь с полтиной, прихожу, едрена мышь! Надо им еще! Еще требовается двадцать копеек за прошенье писать. А зачем мне прошенье? Никак невозможно, оказывается, без прошения. А меня одна баба ждет разводиться да другая ждет — венчаться. Самогон для свадьбы приготовлен, пироги мамка печет, прямо как в песне... А у меня двадцати копеек не хватает, едрена мышь!

Сумишев скинул рукавицы, щелкнул пальцами и притопнул даже, не имея силы, должно быть, сдержать свое восхищение миром: таким шутливым и тро-

гательным. И дальше он уже говорил не для попа (да и поп-то глядел под ноги, слушая, должно быть, себя), а потому, что восторга у него так много, что стыдно и даже больно не поделиться им с прочими такими же счастливыми людьми. Он глядел на епископа — и тоже ничего не замечал в нем. Не замечал острого, усталого лица, красных пухлых век, длинного пальто с отрепанными рукавами и шапки в руках, шапки, снятой, несмотря на мороз и на то, что волосы у попа жидкие, серые... Шея епископа, закутанная грязным оренбургским платком, казалась необычайно длинной, а голова (все от того же пухлого платка) испуганной и больной.

— Чтобы мне да и двугривенного не хватало на свадьбу, как же так, едрена мышь! Я говорю писарю: «Ты обожди, гражданин товарищ, я сейчас». И на базар. Кричу: «Граждане, товарищи, дайте двугривенный на развод. У меня корова стельная, весна на носу, а по весне мне надо избу новую рубить, а от старой бабы как от пуха на воде: ни тебе колыханья, ни потонуть. С такой бабой мне какая выгода жить? С такой бабой мне разводиться давно пора!» Ну они кричат: «Разводись, Митрий Максимыч Сумишев! Давай шапку али рукавицу, оберем мы тебе на развод». Весь базар кричит, вот какой мне почет. Ну, пошел я по базару. Смотреть ведь, кто сколько бросит — стыдно. Обошел всех, гляжу в рукавицу, весит тяжело, а сосчитал — накидали мне двенадцать копеек. Восьми копеек не хватает, батя! Второй раз мне идти по базару амбиция не позволяет, да и ни кляпа не бросят. Не ехать же мне из-за восьми копеек в обратную! А может, к тому времени и девка моего позора не перенесет, откажется. Что мне, по весне без избы быть? У меня изба должна быть новая, не могу я в осиновой избе жить, я хочу в сосновой. Правда, батя?..

— Правда,— ответил епископ на громкий возглас мужика. Но епископу даже и думать не хотелось, о какой правде спрашивает его мужик. Надо было б епископу обернуться туда, куда смотрит Сумишев, Митрий Максимыч: грудастая с крепкими, как бы деревянными, ладонями девка, обутая в раскрашенную катаную шерсть, полуоткрыв жесткий рот, стоит у дровней и ждет своей ночи и своей избы. И он,

епископ Валентин, за восемь копеек подарит эту ночь девке. Горькая влага смочила б его сухие щеки. Но епископ, думая о своем, порылся в карманах. Попалось три копейки. Он сунул их мужику. Мужик, разгладив варежку, пересыпал деньги в карман, звякнул ими — «Ну, и за пятнадцать уговорю. Напишет покороче»,— и мужик быстро побежал к крыльцу управления. Епископ уронил шапку, Архипов подобострастно подал ее. И епископ, все еще тиская шапку, сказал:

— Я не лед, братия. Я не могу моститься без досок, без топора, без клина. Мороз умерщвляет меня. Деньги мои ничтожны. Я отказываюсь. Счастье мое, видно, опять у мужика на печи пребывать.

Он взглянул на реку, виднеющуюся за обрывом, снежную, пухлую,— и Архипов и другие члены совета вздрогнули: от радости и от беспокойства. Радостно потому, что стало ясным, что архиерей святой человек, мученик и подлая тихоновская паства кинет своих недостойных пастырей и перейдет на лоно истинной церкви, и беспокойно потому, что святой человек скоро поймет многие грехи, ранее им не замечаемые, многого потребует, возропщет, найдет других, более достойных сподвижников. Епископ опять уронил шапку. Шапку теперь ему не подали. Он склонился сам.

Мужики ушли далеко вперед. Соборный колокол трескуче гудел. Озябшие пальцы епископа неумело выдергивали из шапки длинные легкие и синие нитки. Поземка подхватила одну нитку. Легкое шипение перекатывающихся снежинок скрутило нитку, понесло. Сонная и пушистая туча подымалась из-за оврагов, из-за реки. Будет буран. Ветер обматывал синюю нитку вокруг тонкой вечернего цвета ветви, беспомощно тянувшейся из огромного сугроба. Какая пустыня, какое одиночество... И как тяжело жить, если счастье человеческое состоит в том, что ты не смеешь судить мир, не имеешь силы убежать от мира и должен подчиняться тайному тайных земли, малую каплю которого знают мужики... Снега темнели, туча надвигалась. Еще полдень только, еще бы сиять снегам... Купол собора походил на голубое крыло...

1927

БОГ МАТВЕЙ

Три недели уже, как полк пытался взять брод через речку Ик. А брод был отличнейший. Далеко, даже в пасмурные дни, блестело желтое песчаное дно речушки. И, глядя на этот веселый блеск, всем думалось, что только перейди брод — и начнется легкая, веселая война. Белые хлынут наутек вдоль железнодорожной линии, полк каждый день будет вбегать в новый город, хлебные эшелоны (как бы изнемогая от радости) сыто поползут на Русь!

Комиссар полка, Денисюк Александр Петрович, был спокойный и деловитый человек. Его огорчали неудачи у брода. И еще было очень огорчительно, что в увеличивающейся спешке никак не удавалось обновить справленные для праздников с великим трудом и великой экономией превосходные галифе и френч цвета подопревшей соломы. Едва выходил праздник, как приказывали наступать, а в эти три недели, как назло, не пришлось ни одного революционного праздника, а в церковные праздники надевать свои обновы Денисюку было противно. Деревня Талица, в которой стоял штаб полка, несколько раз переходила от белых к красным. Мужики устали от войны, и не было ничего удивительного, что однажды комиссару Денисюку доложили: на передовые линии явился из Талицы житель, Матвей Митрофаныч Костяков, называющий себя богом Матвеем, и заявил, что для пуль он неуязвим и воевать приказывает бросить!

Денисюк мало верил в культурно-просветительную работу, но когда появилось такое живое воплощение предрассудков,— он сказал с удовлетворением: «Ну вот, упрекают — не ведем, дескать, культурной работы. Мы им теперь такой докладик напишем, во-о...» И он велел привести бога.

Бог Матвей оказался небольшим мужичком, на голову ниже Денисюка. Бог был в чистой холщовой рубахе длиннее колен. Лицо у него было бледное, восторженное, маленькая, поднимающаяся кверху бородка сияла, вымазанная лампадным маслом, и уголки длинных губ тоже сияли. Денисюк любил довольных людей, он и сам многим был доволен — удачным продвижением полка, храбростью солдат и своей храб-

ростью. А он был действительно храбр, и храбр как то по-плакатному, очень весело: он бежал, например впереди полка с возгласом «за революцию!», он при этом делал какой-нибудь вызывающий жест в сторону белых — и это до слез почему-то и радовало и умиляло солдат. Денисюк был представлен к ордену, в газетах о нем писали несколько раз,— он тщательно вырезал эти корреспонденции и, наклеив на бумажку отсылал матери, домой. Бог Матвей ему понравился хотя Денисюка несколько коробила явная снисходительность Матвея. Между ними произошел приблизительно следующий разговор:

— Ты действительно сознаешь себя богом?

Денисюк сразу же почувствовал глупость этого вопроса, а Матвей, кажется, понял это, потому что он ответил с большим, чем раньше, снисхождением:

— А как же, я и есть — бог. Я тебе пришел сказать, что воевать не надо — глупость, а надо жить в мире и в радости. Вот и пуля меня оттого не берет. Приказал я ей меня не брать!

И он опять так посмотрел на Денисюка, что тот внутри как-то смутился, и опять снисходительно засияли уголки длинных губ Матвея. И Денисюк, понимая, что говорить не надо, все же сказал другую глупость:

— А я возьму и пошлю тебя на передовую линию.— И тут уже получилось совсем нехорошо, потому что бог Матвей даже отвернулся в сторону, словно ему стыдно было говорить: «Да ведь я же был на передовой линии, зачем же меня сюда приводить». И он пошел, еще более сияя бородой, лицом, губами,— солдаты, жалостливо и тревожно улыбаясь, пропустили его. Денисюк подумал, что самая пора сказать что-то очень поучительное, вроде —вот, мол, суеверия и тьма, как порог, всем под ноги смотрят. Тирада получалась длинной, неубедительной.

Штаб дивизии прислал спешную депешу,—его вызывали. Он забыл о боге Матвее, все же легкое томление где-то билось в Денисюке, оттого на заседании он, с несвойственной ему горячностью, доказывал необходимость немедленного наступления. Предложение его было отклонено. Имелись точные сведения, что белые готовятся перейти речку Ик. к броду подтяги-

вались значительные силы. Такие сообщения раньше всегда его ободряли — очень уж он был уверен в своем счастье. Теперь же он вернулся в полк встревоженным. С неприязнью к самому себе он выслушал сообщение политрука. Политрук Полтавский, плотный рябой человек с острыми и высоко поставленными ушами, часто говорил о себе: «Я как пиявка: кровь пью, но коли надо, и жизнь даю. Для успеха революции самое главное — беспощадность». Он и теперь повторил эту поговорку и добавил, что на передовых линиях солдаты смущены; перед окопами несколько раз проходил невредим бог Матвей. Политрук любил Денисюка, и говорить это ему, по-видимому, было неприятно, но в то же время он как бы любовался своей беспощадностью.

Разговор происходил в крестьянской избе. Денисюк вдруг разглядел, что все избы, виденные им в последние месяцы, внутренним убранством как-то очень похожи одна на другую: мужики прячут все лишнее, а остающееся необходимое во всех избах одинаково. Хозяин избы, должно быть, был очень религиозный человек — на божнице остался образ в серебряной ризе. Да и хозяин слушал их разговор с какими-то подозрительно спокойными глазами. Все это видеть и понимать было сильно неприятно Денисюку, но в то же время он сознавал, что ему ничего не придумать, и долго будут приходить ненужные мысли о крестьянских избах, об иконах, о хозяевах. Он поехал на передовую линию. Окопы были выкопаны наскоро и в песчаной почве, но они уже пахли жильем, портянками, окурки валялись всюду, и неимоверная толщина этих окурков напоминала о войне.

Бог Матвей сидел в окопе на пустом и очень грязном бочонке из-под селедок. Он с аппетитом ел большой кусок черного хлеба, макая его в чайник с чаем.

— Кружку бы дали ему,— неизвестно для чего сказал Денисюк.

Красноармеец, наблюдавший за едой бога, ответил и смущенно и почтительно:

— Дали ему кружку, а он, забывши, вышел в обход свой, у него пулей и вышибло кружку.

Рубаха на боге Матвее была уже грязная и измятая, особенно раздражали прилипшие к рубахе чешуйки селедок.

И Денисюку показалось, что солдаты на него смотрят теперь не с прежним любовным добродушием, к которому он привык, а добродушие их теперь какое-то нарочное. Вот они быстро столпились и стали просить табачку, хотя табак выдавали только вчера,— и это тоже взволновало его. Был ясный день. За речкой над окопами белых летела ворона, и отчетливо было видно, как, когда она взмахивала крыльями (несколько устало и, может быть, счастливо), от крыла отделялись перья; и вскоре одно перо выпало и, кружась винтом, медленно и как-то тепло падало на землю. Вспыхнул и погас пулемет.

Бог Матвей доел хлеб, собрал в подоле крошки, хотел их положить в рот, но выкинул за окопы.

— Пускай и птица поест...— сказал он лживым, видимо, несвойственным ему тенорком, а затем добавил уже деловито: — Ты не видал, я тебе покажу, Аликсандр Питрович. Воевать нельзя, Аликсандр Питрович!

Он одернул рубаху, оправил поясок, подвинул боченочек и, покрякивая как-то про себя, вылез из окопа. Сразу же белые открыли огонь. Бог Матвей, мелкими шажками, непрерывно вытирая губы рукой и озорно, боком, поглядывая на Денисюка, прошелся два раза подле окопов, постоял, подумал, улыбнулся хитро и туманно и, сорвав желтенький, неприятно пахнувший цветочек, вернулся в окопы. Цветочек он протянул комиссару. Денисюка поразило не то, что бог Матвей вернулся невредимым, а то, что красноармейцы не отвечали на выстрелы белых, и то, что он, комиссар Денисюк, не скомандовал им огонь. Надо было пожать плечами и уйти, увести с собой блаженного этого, маньяка, но он понимал, что сделать так нельзя: солдаты смотрели на бога Матвея жалостливо, строго и в то же время восхищенно. И его трепетно ожгла мысль: «Убегут!» Страх к нему приходил всегда, как и у большинства, после случившегося ужаса. Сейчас никакого ужаса не было, но все же страх овладел им. Грубо и сжато выражаясь, было такое чувство, словно солдаты уже бегут, бегут по нему, по

его счастью, топчут его заслуги перед революцией да и перед самим собой...

И он задорно, по-мальчишески, крикнул:

— А вот и кокнут тебя!

Бог Матвей даже притопнул ногой и так же задорно, чуть-чуть разве повыше, выкрикнул:

— А вот и не кокнут! Бог я или нет?

Денисюк обернулся к солдатам. Красноармейцы молчали. Но раздумывать было некогда, надо было спешить, он вяло сказал:

— Я вот тебе показательную штуку устрою.

— Чего? — оборачиваясь, весело спросил бог Матвей.

— Испытание,— твердо и резко ответил комиссар.

Тогда бог Матвей сразу стал тише. Он опять сел на бочоночек, сказал поучительно:

— Мы с тобой будто небо и земля: два быка бодутся, а никак не сойдутся... однако я с тобой разговаривать буду.

И он медленным и деловым крестьянским говорком стал рассказывать комиссару, как он думает устроить испытание. Он выбрал поле, сказав, что там тополь есть посредине, на ветер походит. Сравнение не понравилось Денисюку, он возразил, что такого тополя не заметил. Тогда бог Матвей добавил, что под таким тополем только поучать и притчи рассказывать. Есть у него одна притча... Комиссар поторопил его, и бог подмигнул: потом, дескать, расскажу Говорок у него был спокойный и твердый, и скоро Денисюк если не совсем, то во многом верил своей мысли, что бог Матвей перед самым испытанием струсит и откажется. Денисюк опять подобрел, уверенно похлопывая себя по кобуре кольта, шел он окопами, и жизнь опять казалась простой и веселой. Испытание назначили на другой день, при заходе солнца. Политрук Полтавский зашел вечером в избу, потоптался, заговорил о каком-то смешном письме и смущенно заметил, что икону-то с серебряной ризой хозяин не спрятал.

— Забыл, должно быть,— сказал он, подходя к печи и облокачиваясь с таким видом, словно ему было холодно...

Он быстро ушел, так и не сказав своих мыслей, хотя едва ли у него было что дельное — тогда присущая ему вера в свою беспощадность помогла бы ему Денисюк заснул быстро.

День вышел теплый, сухой. Когда Денисюк проходил под деревьями, на руки и плечи ему падали осенние листья — горячие, хрустящие, пахнущие странно угаром. Огромное поле дохнуло на него теплом. Тополь посредине поля действительно чем-то напоминал ветер. Вдалеке за звонкой, старческого цвета травой виднелся трепещущий багрянцем осинник. Солдаты были встревожены, глаза у них были опухшие: должно быть, спали плохо. Мимо к осиннику верхом на неоседланной лошади проехал бог Матвей. Ему днем выдали четвертушку мыла, он принес из речки, под обстрелом, два ведра воды на коромысле и выстирал рубаху. Она высохла, коробилась слегка — складки и сейчас явственно обозначались на боках. Лошадь он выбрал белую. Он и ее вымыл. Он приостановился и, не глядя на солдат, восторженно и весело прокричал, чтобы стреляли, когда солнце будет опускаться... Солдаты молча и встревоженно глядели на его острые лопатки, шевелившиеся под опрятной рубахой. Лошадь пошла рысцой. Денисюк взглянул на небо: солнце спускалось за спины солдат, богу Матвею, значит, оно будет в лицо. Денисюк приказал зарядить ружья холостыми патронами. На мгновение солдаты улыбнулись, но затем, должно быть, забыли о холостых зарядах и, крепко сжимая винтовки, встревоженно и устало глядели в осинник. Пение псалма донеслось из осинника. Ни комиссар, ни солдаты не разбирали слов, а они были такие:

Еще немного, и не станет нечестивого;
Посмотришь на его место,
И нет его.
А кроткие наследуют землю
И насладятся множеством мира...

Бог Матвей привык к псалмам. Он пел и в то же время думал, что вот песня, как лук,— без боли и печали приводит в слезы. Он действительно плакал и от гордости и от радости. А комиссар Денисюк ждал заходящего солнца, стоял в трех шагах от трепещущих

внутренней дрожью солдат и туманно думал, что вот этот рядом с ним, румяный и курчавый (Петров, кажется, по фамилии),— если не попадет в бога, возьмет да бросит винтовку и убежит из окопа. Пение усиливалось.

Голова лошади показалась из осинника. Медленно, на белом коне (багровое сияние неслось над его головой), появился бог Матвей. Сияние слепило. «Какая ерунда,— подумал со стыдом и злобой Денисюк. И он крикнул, глядя в землю:

— Пли! — тогда как выстрелы начались еще до его приказа.

Солдаты стреляли нестройно. Конь, привыкший к выстрелам, спокойно старался достать траву,—оттого руки у бога Матвея были напряженно вытянуты, и пение часто срывалось, и ему было обидно, потому что он думал, что солдаты могут принять это за трусость. Он продолжал пение, но голоса не хватало

Сияние все более и более било в глаза. И тогда Денисюк схватил винтовку. Он поспешно всунул боевую, сразу вымокшую в его руках обойму. Бог все двигался. Коня тревожили теперь близкие выстрелы, и он уже не рвал траву. Холостые заряды вышли. Солдаты с такими же лицами били боевыми, они, ясно, сразу не поверили, что им дали холостые. Больше всех спешил румяный Петров. Выстрелы все выпрямлялись и скоро превратились в залпы,—и когда три таких залпа последовали один за другим, разделенные ровными промежутками,— Денисюк кинул винтовку, взглянул в лица,—и отвернулся. Руки его тряслись и не попадали в карманы френча, лицо было мокрое. Залпы прекратились. Комиссар взглянул.

На земле, неистово мотая головой, предсмертно бился конь. Солдаты побежали, но бог Матвей поднялся. И солдаты на мгновение задержались. Ровное облачко дыма взметнулось над ними. Они опять побежали. Бог упал. Быстро — для чего-то поправляя револьвер — комиссар подбежал к богу Матвею. Плечо у него было мокрое и алое. Самодовольно и благостно улыбаясь, он пытался поднять руку — и не мог. На лбу у него, тоненькими тесемочками, был привязан осколок зеркала. Он увидал комиссара, улыбнулся еще самодовольнее и медленно проговорил:

— Ну что, парень, говорил я тебе — меня не снять! Кто меня снимет? Бог я или нет?!

И тогда Денисюк (понимая, что поступать так нельзя, но иначе он поступить не может) поспешно сунул руку в кобуру, и то, что она была не застегнута, чем-то ободрило его, может быть, как доказательство того, что все это заранее где-то далеко внутри его было решено,— поспешно выхватил кольт и одну за другой всадил в бога Матвея три пули. Оглянулся. И тогда все еще более построжали. Румяный и курчавый Петров оказался самым расторопным. Он побежал за лопатами.

Бога Матвея похоронили под тополем, могилу выкопали мелкую, потому что Денисюк торопил, говорил, что будет скоро гроза,— да и то воздух был сухой, по волосам нельзя было провести — они тревожно трещали: быть грозе! И с ужином он торопил и, не доужинав, вскочил,— диспозиции совсем такой не было. Но он приказал двигаться вперед, будто он боялся, что счастье уйдет от него.

Полк загудел одобрительно; замотались в руках винтовки,— и счастье, верно, не изменило Денисюку: к утру переправа была взята, белые отступили, кинув обозы и орудия,— а сам комиссар полка Александр Петрович Денисюк погиб как герой — впереди всех! Ему простили своевольство, за которое хотели судить, и хоронили пышно. Накрыв знаменами, несли через осинник, а затем по звонкой, старческого цвета траве к тополю, который действительно походил на ветер. Грозы так и не было, и стояла по-прежнему великая сушь. Политрук Полтавский сказал обширную речь, вытер слезы,— и многие вытерли слезы.

Громадная толпа окружала тополь, и никто не заметил, что могила бога Матвея была совсем сровнена шагами (к тому же песок быстро высыхает, рассыпается). Холмик бога Матвея исчез. А на могилу комиссара Денисюка однополчане желали положить что-либо достойное, и так как в тот день сбили самолет белых, то в холмик вкопали пропеллер самолета, химическим карандашом жирно вывели: «Пал смертью храбрых»,— и полк двинулся дальше. В тот день случился большой революционной праздник, и нако-

нец-то комиссару Денисюку удалось обновить свою одежду: и он гордо и прямо лежал в своей могиле, одетый в новый френч и галифе веселого цвета подопревшей соломы.

1927

СЕРВИЗ

Едва показался у дверей церкви сторож, намеренно грохочущий ключами (дабы отогнать дремоту), как к паперти уже подошла Катерина Алексеевна. Был какой-то маленький церковный праздник; звонарь долго выбирал, в какой бы ему ударить колокол; священник, страдающий одышкой, белоголовый и глухой,— запоздал: старуха многим была недовольна и кресты клала размашистые, твердые, и ей думалось, что все в церкви понимают и страшатся ее неудовольствия. И еще она думала, что она стоит вот в церкви строгая, прямая, во всем черном, а стеганая кофта ее, засаленная, с ленивыми заплатами, горбила ее и без того сутулую спину. Дряблые щеки ее были покрыты серым, грязного цвета, волосом, и острый нос ее всем казался распухшим и как бы потливым, и все оттого, что она редко мылась с мылом.

Опускаясь на колени, она каждый раз оглядывалась на Анфиску, девчонку, приставленную к ней; девчонка спешила ей помочь и делала такое лицо, какое делали все в доме, то есть что, дескать, страшно им гнева Катерины Алексеевны. А на самом деле Анфиска думала, что старуха притворяется, не богомольна она и в церковь ходит только потому — чем же она может отблагодарить хозяев, у которых чуть ли не пятьдесят лет служила она в кухарках и которые дали ей каморку за кухней, пищу и одежу до гроба и еще в прислужение Анфиску. Да и кому любопытно стоять в душной церквушке, пахнущей гнилым ладаном и дешевым воском, когда на улице август; зрелые, слегка желтые листья, устав от радостной жизни, лениво падают с деревьев, виснут на железных зубьях оград; листья эти пахнут плодами и плоды наполняют базары.

Громадная и солнечная осень надвигается на город; и город гремит, и гремят в небе птицы, и на ду-

ше тоже много шуму! А старухе холодно и на ногах у нее несколько пар чулок, все шерстяные и все один чулок на другой. Шлепанцы у нее тоже толстые, кошемные, без задков, и когда они выходят к порогу церкви, то всегда Анфиска торопит старуху, тянет ее за руку и взвизгивает: «Пойдем, пойдем!» Сразу же с паперти видны сады, ветви сияют солнцем и ветром, а старуха запинается о плетенный из веревок половик, и всегда Анфиска забывает посмотреть на ноги старухи, и каждый раз старуха оставляет здесь туфли и по улице идет в чулках.

А на улице Анфиске и совсем не до старухи, здесь на углах расторопные и веселые мужики с алыми пальцами продавали отяжелевшую запоздалую малину; покупатели со смехом смотрели, как малина вываливалась на землю из кошелки и лежала все такая же сочная и радостная. На лотках сиял голубым цветом виноград. Виноград запахи, должно быть, таил про себя, и Анфиска думала, что никогда рот ее не узнает этих запахов, и так же думали стоявшие подле торговца мальчишки, хотя были, говорят, случаи, когда торговец давал мальчишкам по ягоде или по две. Но стоять тут Анфиска не могла, надо было вести старуху домой,— да Анфиска и не завидовала мальчишкам, а была довольна их счастью, в которое, впрочем, она мало верила. И так же, как и всегда, и в этот день старуха, подымаясь на крыльцо, остановилась у дверей и пожелала вытереть ноги, дабы не наследить, хотя день был сухой и пыльный, но со старухой спорить было нельзя. Старуха ухватилась за скобу,— и тогда опять оказалось, что она забыла на половике в церкви свои шлепанцы. У Анфиски были всегда широко расставлены пальцы рук (словно между этими пальцами лежали еще другие, не видные никому пальцы, да и Анфиска, кажется, так и думала). Катерина Алексеевна посмотрела на эти напряженно рвущиеся в разные стороны пальцы и медленно сказала: «Иди». Анфиска и пошла, хотя ей и не хотелось.

В церкви теперь уже совсем сыро, сторож бродит и ворчит, детей в церкви он не любит, ему все кажется, что дети ходят в церковь воровать свечи (сторож — сапожник, были у него две дочери, а отца ос-

тавили, ушли на бульвар за веселой жизнью,— может быть, они и нашли эту жизнь, но только отцу не сообщали). В квартире же хозяев Катерины Алексеевны было пусто — кто ушел на службу, кто на свиданье, а кто просто на солнце, и Катерина Алексеевна, как всегда в таких случаях, прежде чем пройти в свою каморку, обошла всю квартиру. Дверь ей открывала кухарка, она теперь громыхала посудой в кухне. Кухарка была рослая, толстозадая и никак не могла родить ребенка, и муж ее, живший в деревне, грозил, что найдет себе другую жену. Кухарка говорила, что детей у нее нет от недостатка воздуха, она постоянно открывала форточку, чтобы проветривать, а хозяева запрещали ей открывать: они говорили, что из кухни пройдет холодный воздух в каморку Катерины Алексеевны и она может простудиться. Говорили они это не потому, что боялись, дескать, Катерина Алексеевна умрет, а потому, что не любили больных, от которых, казалось им, постоянно идет зараза, и хозяин, круглый и с зачесами на лысину, Федор Сергеич, даже ручку у дам целовать спешил первым, дабы не заразиться от остатков слюны тех, которые целовали руку раньше его.

Катерина Алексеевна же думала, что кухарка хочет ее свести со свету для того, чтобы самой занять каморку, и поэтому она не говорила кухарке того средства, которое, как ей было известно, способствует деторождению. И кухарка понимала это, и они много лет уже собирались переговорить друг с другом, и у обеих не хватало решительности. Комнаты были светлые, просторные, но почему-то оклеенные темными обоями с крупными неестественными цветами наверху, и все гости хвалили и радовались почему-то этой темноте и этим цветам, похожим на щепы. Лучше всего и веселей всего в квартире был буфет.

Буфет этот сохранился еще с тех времен, когда люди не стыдились того (как они стыдятся этого теперь), что они много и хорошо едят, а другие голодают. Этот буфет построили люди, которые ели много,— и когда Катерина Алексеевна остановилась против него, солнце целым окном падало на темный дуб; на резные листья, украшавшие боковые дверцы; на дверцы эти скользил деревянный темный виноград, и он то-

же сиял на солнце и, казалось, просвечивал. Ниспадающее почти до полу чрево буфета поддерживали вырезанные из дуба веселые ребятишки, животы у них были крепкие и круглые и на твердых щеках ликовал тот жир, который они хранили целые столетия. Полка, соединявшая две половины буфета, была толстая, из цельного дуба. Из громадной этой плахи можно было выстроить лодку или, скажем, уложить на нее целого жареного быка. Вот запах мяса наполнил бы целый дом; хозяин подошел бы с ножом, и гости бы, поглядывая уверенно на быка, придвинули бы к себе ближе рюмки... На этой доске стоял забытый соусник французского фарфора с бледными, как бы тающими, розами. Этот соусник был из сервиза, которым гордилась вся семья, много семей, много хозяев Катерины Алексеевны.

О, этот сервиз! Катерина Алексеевна служила ему полсотни лет, больше чем полсотни, семьдесят пять лет! Она пришла к нему впервые девчонкой из деревни, и кухарка, седая и ласковая, строго учила ее, как надо осторожно мыть сервиз, учила теми же словами, которые теперь говорит Катерина Алексеевна девчонке Анфиске. Много войн, банковских крахов, даже революций (во время которых исчезли из этой квартиры персидские ковры и керман-шали, сияющие белыми кругами, кашемировыми своими сердцами), многое прошло мимо этого сервиза, и бледные цветы его напоминали тонким и тощим своим владельцам, что есть розовые кусты, которые цветут даже зимой и не опадают в циклоны! Такие мысли многим людям доставляют удовольствие — и буфет цепко и радостно держал в своем животе глубокомысленные бледные розы...

Катерина Алексеевна хотела убрать соусник, чтобы не толкнул кто его случайно, убрать в буфет, она протянула уже руку, холодная гладь коснулась было ее кожи,— но тут она почувствовала мелкую и тревожную боль в боку. Боль эта быстро прошла, она сменилась тоже быстро промелькнувшим дремотным томлением. Но тревога осталась, и, не смея одолеть эту тревогу, Катерина Алексеевна прошла в свою каморку. Ход в эту каморку был через переднюю, в маленький темненький коридорчик, из которого одна дверь

шла в кухню, а другая к Катерине Алексеевне. Дверь была низкая, так что всегда приходилось наклоняться, и всегда Катерина Алексеевна, за шаг не доходя, наклоняла голову, а теперь она ударилась и, главное, почувствовала боль только тогда, когда остановилась у своей кровати. Боль ее не удивила, но ее удивило то, что она не могла понять, откуда эта боль, и еще то, что она не верила — боль эта оттого, что она ударилась о косяк!.. Ее все более и более клонило ко сну, было такое чувство, особенно в руках, что ею исполнена какая-то очень долгая и не столько утомительная, сколько однообразная работа. Пальцы, казалось ей, слипаются, а глаза — уже давно слиплись, хотя она все отчетливо и ясно видела. Окно было плохо промыто; следы от воды бороздили его,—ей захотелось открыть окно. Она и сказала об этом окне вошедшей Анфиске...

Деревья в саду уже оголились; потому что сад стоял на ветреном холме, и через стволы были видны главы далекого монастыря, главы эти тускло блестели, как созревшие плоды. Когда Анфиска повернулась от окна, старуха лежала вытянувшись, и у нее было такое строгое лицо, от которого только теперь Анфиска действительно почувствовала страх. Обе руки старухи были плотно сдвинуты: концы пальцев, грубые и толстые, были в морщинах и грязи. Старуха внятно и раздельно сказала Анфиске:

— Поди принеси тарел... да не из кухни, из буфета.

Катерине Алексеевне хотелось говорить, и ей думалось, что она говорит шепотом, потому что ей хотелось закричать не то с радости, не то с горя, с какого-то неизвестного чувства, которого она не ощущала никогда. Она поджимала губы, но губы ее лежали неподвижно, и она видела, что Анфиска суетится и торопится так неумело, что суета ее только путает ее движения, и когда Анфиска показалась в дверях с тарелкой в руках и бледную розу пересек переплет рамы, Катерине Алексеевне стало обидно впервые, что к ней приставили такого человека, который не понимает простых слов и простых желаний. Анфиска же видела на этом неподвижном и побагровевшем лице какую-то удалую злобу, и эта злоба была так ясна и

так томительна, что Анфиска, понимая, что надо бы бежать и сказать о Катерине Алексеевне на кухне, все же не имела сил бежать, и когда старуха сказала ей сердито:

— Чево принесла? Две надо принести! — Анфиска пошла и принесла вторую тарелку.

Старуха попыталась приподняться, Анфиска подложила ей под спину подушку, но этого показалось мало, и она положила еще стеганую кофту, а потом и валенки. И тогда старуха, преодолевая нестерпимую сонливость и стараясь как бы выпрямить свое стянутое в судорогу лицо и думая, что это ей удается,— разомкнула медленно слипавшиеся свои руки, взяла в каждую руку по тарелке, и когда она взяла эти тарелки, она ясно почувствовала — теперь ей бояться некого, она взмахнула яростно руками,—и веселая и легкая бодрость овладела ею, и сон дунул сухим ветром на ее глаза. Она уже не слышала, как стукнулись и разбились в ее руках тарелки и как большой палец ее руки упал на острый черепок фарфора и — не почувствовал острия. Лицо ее было багрово, и бледность начала медленно сходить с кончика носа на щеки. Белое это пятно ширилось, заполняло все лицо, а тело ее все выпрямлялось и выпрямлялось.

У табурета подле кровати стояла Анфиска, и ей было не страшно видеть то, как бледнеет это напряженное багровое лицо, а ее пугала до озноба непонятная мысль: почему же старуха разбила тарелки? И только тогда, когда она подумала, что могут решить, что тарелки разбила не старуха, а она, Анфиска, ей стало легче, и неподвижное лицо старухи показалось ей страшным и в то же время родным, и она горько заплакала.

1927

КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЧИК М. Д. ЛОБАНОВ

1

Кожевенный заводчик Михаил Денисович Лобанов владел многими предприятиями в Москве и других городах. Он имел длинный и низкий дом с таким огромным количеством комнат, что в нем постоянно пута-

лись, и все же супруга Михаила Денисовича, которую он прозвал Софьей Премудрой, всегда жаловалась, что в доме не хватает одной комнаты. У него было много коммерческих связей, большой и заслуженный кредит, но он как-то мало верил в мощность своего дела, хотя для сомнений не было и не могло быть причин. С женой своей он жил дружно; поссорился он с ней только однажды, когда жена, обладавшая просторными хрустальными глазами, в которых неизменно отражались и блистали газетные истины, прочитав статью какого-то именитого профессора, доказывавшего, что России пора выйти на американский рынок, воодушевилась этой статьей и потребовала, чтобы Лобанов немедленно вышел на американский рынок, и так как они давно уже собирались за границу, то чтобы внес на иностранные предприятия соответствующие суммы. Лобанов отказался вложить деньги в иностранные дела, но, чтобы не продолжать ссоры, он предложил жене обоюдоудобное решение спора: он вносит определенную сумму на текущий счет в один из американских банков, сумму, которая как бы показывала возможности его участия в американских предприятиях. Жена согласилась. Немедленно явился господин Ристер, представитель американского банка, немолодой уже человек, с пухлыми и короткими седыми бровями, чем-то похожими на пилюли. Господин Ристер оказался очень услужливым и очень осведомленным человеком с плавной речью, доказывавшей, что спасение людей только в том, чтобы вложить в «Экспресс-банк» соответствующие их общественному положению суммы, и Лобанов не без удовольствия согласился участвовать в этом спасении. Все же крупной суммой он не рискнул!

Его постоянно грызла забота, он даже боялся хворать, потому что тогда в доме окончательно уже невозможно было ни в чем разобраться, и становилась понятной страшная для всех домашних истина, что в кожевенном деле никто, кроме Михаила Денисовича, ничего не понимает и боится даже понять. И ему было тревожно и боязно лежать в кровати и думать, что ж произойдет без него с заводами и куда потекут деньги, и этих дум даже не облегчала мысль о радостях работы, о том, как на склады привозили растре-

панные гюки грязных и дурно пахнущих кож, на которых еще лежали куски земли Монголии, Туркестана или Урала, земель, куда он все собирался съездить, но съездить туда все не хватало времени. И вот эти грязные и противные кожи быстро превращаются в тяжелые и сияющие, как бронза, куски его славы, и марка его заводов гремит на полмира!..

Иногда, чувствуя, как невыносимо тяжело заглушать в себе заботы, Лобанов запивал, и тогда его тусклое лицо цвета пропускной бумаги с нездоровым румянцем и отвислыми щеками, его сильно худое и длинное тело, за которое приказчики называли его подсвечником, наполнялось ясностью. Софья Премудрая, блистая хрустальными глазами и помахивая пальчиком,— во всей ее фигуре запоминался этот указательный опрятный пальчик, похожий на пшеничный колос,— приходила его укорять. Она скорбно смотрела на пачку писем, лежавших без ответа, на сор и грязь, которые почему-то только сейчас замечала!.. Но водку он переносил с трудом, а самое трудное было опохмеляться. Он долго смотрел на водку, которую, чтобы выпить залпом, он наливал в стакан, и, только заслышав осторожные шаги жены, вспомнив ее восторженные хрустальные глаза с отблесками газетных истин, он зажимал пальцами нос, чтобы не чувствовать запаха, и глотал долго, пока опять все не становилось для него ясным и простым. Тогда он садился у окна своей рабочей каморки, и ему опять казалось странным, что огромный и низкий дом, с бесконечным количеством безвкусно обставленных комнат, могут занимать люди, почти неизвестные ему, хозяину, а он живет и работает в самой маленькой комнатушке и редко ему приходит желание выйти в так называемые «парадные». Вот дети, дочь и сын, неизвестно зачем и чему учащиеся, верхом въезжают в ворота. У них плохая посадка, но дворник, собиравший скверной метлой в железный совок замечательного цвета листья с осенних лип, не понимая того, что эти люди сидят очень некрасиво и тускло, кланяется им приниженно, низко... Дети проскочили через ворота, а дворник продолжал собирать необыкновенно прекрасные листья, думая, как и все, что листья эти — мусор и чепуха.

2

В революцию Лобанов потерял все: заводы, дом, жену и детей. Но через некоторое время, которому даже трудно дать сроки, потому что у одних людей страдание живет год, а у других — месяц или день, Лобанов начал разбираться в том, что произошло. Дольше всего и больше всего мешала ему в этом разборе мысль о покойной жене Софье Премудрой с ее маленьким отставленным пальчиком. Сына его убили на фронте, а дочь уехала с летчиком на Украину и жила там, по-видимому, столь счастливо, что не интересовалась отцом. Его давно выселили из длинного дома, с которым он расставался скорбно и от которого долго не мог отвыкнуть, он все путал переулки и все выходил на Пятницкую. Давно заняли его заводы и захватили его сейф и его знаменитую чековую книжку «Экспресс-банка», из-за которой произошла его единственная ссора с женой. Понемногу Лобанов успокоился. Один из его прежних приказчиков рекомендовал его, и он поступил на службу по своей прежней специальности в соответствующий трест. Он женился на вдове Марии Ивановне, некогда ухаживавшей за покойной его женой Софьей Премудрой. Мария Ивановна была женщина простая, с обширной спиной, за которую все ее называли грузчиком, с ней не надо было спорить о газетных истинах, она имела одну истину, к которой нетрудно было приспособиться: человек должен в первую очередь быть сытым, одетым, надо, чтобы ему было тепло, а обо всем остальном лучше не думать. Лобанов привык и даже полюбил коммунальную квартиру с ее постоянными ссорами и с возможностью наблюдать, как растут дети, как меняются взрослые и как люди постепенно овладевают искусством собственного достоинства, тем искусством, которое столь свойственно людям нашей страны.

Лобанов быстро увлекся своим новым делом и быстро превратился в крупного специалиста. Он много бывал на различных заседаниях, писал доклады, высказывал свои соображения, и он стал быстро замечать, что теперь отметено многое, что раньше мешало его работе, и в первую очередь отметены деньги,

ибо то жалованье, которого ему хватало только на одежду и тепло,— разве можно считать деньгами, когда прежде, например, он игрушки мог детям своим дарить вроде железной дороги по восьми комнатам с рельсами и со стрелками и с настоящим паровозом. Он понял, насколько путало его мысли его прежнее богатство, которым к тому же пользовались другие люди, его окружавшие, и пользовались неразумно, и вот это-то неразумие, как он понял теперь, больше всего и злило и заботило его. Поэтому-то он раньше запивал, и поэтому-то часто срывались те дела, которые он намеревался исполнить в ближайшие сроки. Теперь он постепенно отвык от водки и, случись захворать, мог хворать уже спокойно и не сопровождать свою болезнь выпивками и вздохами. Он лежал. В комнате было тихо. Он нашел покой. От всего его былого богатства и великолепия уцелели нелепые бамбуковые ширмы, за которыми и спит его жена Мария Ивановна. Цапли с длинными-длинными шеями сторожат ее сон, цапли на розовом шелке, проданные ему когда-то как древняя японская работа и на которых он недавно нашел немецкую марку, и то, что раньше разозлило бы его, теперь только насмешило... В коридоре играют дети, и на улице тоже играют дети, а под окном, как только распахнешь створку, дворник жалуется, что рождаются везде и сплошь двойни, и у него был такой обиженный голос, как будто эти двойни рождаются у него. В окно Лобанов видел небо, похожее на дерево, долго лежавшее в воде. Ему думалось, что в тресте плохо ли, хорошо ли, но замещают его и не сетуют на его болезни, и забавно было подумать, насколько там, в прежней жизни, боялись его болезни и насколько теперь молодые специалисты даже рады его заболеваниям и рады попробовать без него сами вести сложное и ответственное дело.

Одно только несколько смущало Лобанова: он теперь, как и раньше, считал самым прекрасным достижением человека возможность передвигаться и видеть океаны, неизвестные острова, людей, леса и степи, но путешествовать,— что он желал сделать давно и чего, как ему думалось, по недостатку времени он не успевал сделать,— он и теперь не мог. Но и эта смущавшая его мысль получила внезапно свое разрешение:

ему сказали, что трест желал бы направить его, Лобанова, в Париж для переговоров с французскими фирмами, которые хотели заказать на огромную сумму партию телячьих шкур, только что тогда входивших в моду. Из шкур этих выделывали манто и сумочки для парижских дам, а значит, и для дам всего так называемого цивилизованного мира. Лобанов, выслушав и согласившись на предложение, впервые после многих лет подошел к зеркалу в передней треста, где он мог увидеть себя во весь рост (дома он видел себя, только когда брился, и видел только свою бороду и свои несколько выпученные глаза), и здесь, разглядывая себя, он должен был признать, что он помолодел и кожа его с нездоровым румянцем, раньше похожая на пропускную бумагу, разгладилась и посвежела.

3

В Париже его, как и всех приезжих, знакомые повезли на площадь Звезды, где лежит прах Неизвестного солдата и куда двенадцать улиц непрестанно вливают двенадцать потоков автомобилей. Неподвижными показались ему эти двенадцать улиц, все странно похожие друг на друга, и неподвижно катились в запахе бензина похожие друг на друга автомобили. Улицы эти напомнили ему лица предпринимателей, которых он встретил немедленно после приезда и с сознанием превосходства над которыми он разговаривал сегодня о кожах и торговле. Он чувствовал в их лицах то беспокойство, которое владело им раньше, и он понимал, что эти люди так же, как и он раньше, мало видят жизнь и мало ее, хотя бы плотски, воспринимают. Все они обладают отвратительным пищеварением, глянцевитые лица их старательно выбриты и напудрены, духовно они замкнуты и одиноки. Лобанов знал очень мало истин, но те, которые он знал, он знал теперь твердо, он мог твердо и уверенно наслаждаться своим знанием, а они знали еще меньше его...

Он купил раскрашенную открытку с могилой Неизвестного и решил послать открытку жене. И на открытке неподвижно и странно торчала толпа раскра-

шенных автомобилей, и Триумфальная арка походила на подкову. Лобанов распрощался со знакомыми, несколько удивленными тем, что он не высказал удивления и восторга перед площадью Звезды, и зашел в кафе. Он хотел было купить галстуки, так как все сослуживцы в Москве просили его привезти возможно больше парижских галстуков, но в витринах, мимо которых он проходил, лежали такие неприятные и пестрые ткани, что ему казалось странным и смешным, что в Москве можно было бы надеть такие пестрые и безвкусные тряпки на шею. И в кафе многое показалось ему смешным и странным, и он с удовольствием вспомнил, что Мария Ивановна ничего из Парижа себе привезти ему не заказала, да и вообще Парижа для нее не существовало, а Михаил Денисович в ее представлении уехал в какую-то длительную командировку чуть дальше Волги. Лобанов выпил стакан плохого и крепкого кофе, от которого он давно отвык, и решил, что галстуки надо купить в магазинах, расположенных где-нибудь на окраине. Он встал, чтобы спуститься в подземную дорогу, но тут впереди себя, неподалеку от Оперы, он увидал здание с вывеской «Экспресс-банк».

Сначала ему стало неприятно, но затем он развеселился. Он вспомнил смешного господина Ристера со странными бровями, похожими на пилюли в облатках, он вспомнил, как у него ножеподобно разглажены были брюки, как он тогда гордился своей Америкой. Ему захотелось узнать: жив ли этот господин Ристер и узнает ли он своего бывшего клиента. Он зашел. Ему немедленно и чрезвычайно любезно сообщили, что Ристер здоров, благоденствует, получил большой пост и, если угодно, он может принять господина Лобанова через три минуты. И точно через три минуты его попросили пройти и любезнейше раскрыли перед ним дверь. Господин Ристер принял его с вежливостью, но уже более сдержанной и более достойной, чем вежливость служащих, встретивших Лобанова внизу. Забавные брови Ристера теперь уже совершенно походили на пилюли в облатках, причем, если можно так сравнить, в облатках, порядком зап-

лесневевших от времени и невнимания. Одет он был теперь небрежно, в стандартный американский костюм, которыми так гордятся американцы, но он еще более гордился своей заокеанской страной, своим благополучием и тем, что ни черта не понимает, что происходит в России, и не обязан понимать. Господин Ристер сразу же сказал:

— Вот видите, господин Лобанов, как хорошо, что вы послушались своей жены и положили деньги в наш банк.

Лобанову неприятно было сознавать, что американец переменит тон и разговор о деньгах, как только узнает, что клиент его советский подданный, и Лобанов сказал по возможности проще:

— Что же хорошего — все равно пропали.

И тогда Ристер сказал то, что решил сказать сразу же, когда узнал, кто к нему пришел:

— Если бы даже на земле произошел потоп, то и тогда ваши деньги остались бы у нас целы. Правда, я знаю, у вас конфискованы документы и, может быть, даже у вас теперь и фамилия иная, но я знаю и помню ваше лицо, а этого достаточно, чтобы вы могли хоть сегодня же получить лежащие на вашем текущем счету семьдесят пять тысяч долларов.

Он с удовольствием осмотрел обстановку кабинета и повторил:

— Да, семьдесят пять тысяч долларов с соответствующими процентами.

4

— Семьдесят пять тысяч долларов?

— Да.

Господин Ристер изумился, что Лобанов даже не знает, сколько у него лежит на текущем счету, но незнание это он приписал тем душевным волнениям, которые пережил и теперь переживает Лобанов. Господин Ристер почувствовал почтенье к тем воображаемым заплатам, которыми был покрыт костюм Лобанова. Ристер взволнованно прошелся по длинному и узкому кабинету, обставленному той широкой и неудобной мебелью, которая так характерна для всех

больших предприятий и банков и про которую все знают, что она и некрасива и неудобна, но которой все-таки продолжают обставлять. Ристер остался со своим мнением и впечатлением даже и тогда, когда Лобанов, как-то вкось оправив и без того удобно сидевший на нем пиджак, сказал, что он зайдет в банк на днях.

Лобанов сидел в метро скучный и усталый. Мир уже не казался ему теперь таким ясным и простым, каким он был недавно, он уже разветвлялся на несколько ручейков, и каждый ручеек медленно начинал шириться, и Лобанов вспомнил лица предпринимателей, которых он должен был встретить сегодня вечером, и лица эти, подумалось ему, конечно, более человечны и менее отчужденны. Усталость и духота метро овладевали им, мир же от этого не уменьшался в объеме, но как-то болезненно уточнялся. Мир опять наполнялся заботами и теми разговорами, которые Лобанов вел с предпринимателями, которым он мог выгодно продать кожи, но которым теперь не продаст, потому что он не сможет вести переговоров с прежней легкостью, а главное, с презрением, чем, собственно, он и поразил предпринимателей. Ему казалось, что он должен прекратить бессмысленное повторение: «семьдесят пять тысяч, семьдесят пять тысяч», хотя он ничего и не повторял, а все время думал об ином, главным образом о покупателях телячьих шкур. У входа в отель он остановился, и ему пришла забавная мысль, что он может потребовать сейчас на семьдесят пять тысяч долларов все, что бы ни пожелал, а что он может пожелать, он и сам не знал!.. Он уже старый и достаточно утомленный человек, а стоит, словно мальчишка, на улице и гадает, что же он может потребовать на семьдесят пять тысяч долларов. Ему стало неловко и стыдно.

Улица шла мимо него, разношерстная и развязная, люди целовались и плакали,— от счастья или несчастья, и никто из них не обращал внимания или притворялись, что не обращают, потому что почти все люди в этом городе постоянно и каждый день твердили себе: «Мы в Париже»,— и постоянно им казалось или старалось казаться, что они все иные, чем

они есть на самом деле. И Лобанов подумал, что вот он стоит на улице и размышляет над собой только потому, что он в Париже, а в Москве бы он так никогда не остановился.

Он вошел в свой номер, оклеенный невероятно яркими французскими обоями канареечного цвета с лиловыми пятнами. Но и в номере ему опять подумалось, что он может купить все, что хочет, и так как легкое, хотя и тревожное удушье мгновениями охватывало его, он решил, что легче всего отвязаться от этой мысли, если заказать что-нибудь. Лакей с втянутой верхней губой, настолько, что нижняя совсем подходила к носу, вошел шумно. Лобанов стоял, долго раздумывая. Лакей привык ко всему, он стоял, наклонив голову, рассматривая сапоги Лобанова, которые тот все собирался почистить с того часу, как переехал пограничную станцию, и которые все еще были не чищены. Он попросил наконец воды. Лобанов вынул открытку с могилой Неизвестного. Лакей принес ему воду. Лобанов прислонил открытку к стакану с водой, и ему почему-то подумалось, что с вещами теперь надо обращаться осторожнее. Он скинул сапоги. Удушье, сладкое и легкое, опять пронеслось по его телу, он прилег, как был, в платье на кровать. Неподвижно и косо отражалась в воде стакана Триумфальная арка, и неподвижны и неправдоподобны были раскрашенные автомобили. Лобанов прислушался, и вот что встревожило его: он уже не слышал осторожного шипения парижских улиц, точно город весь шел в калошах. Он подумал: не подойти ли ему к окну, но внезапно он понял, почему и что его особенно беспокоило в этот вечер: теперь опять нельзя будет хворать! Но как только он это подумал, ему сразу же стало ясно одно: он не сможет остаться здесь, за границей, вдали от родины и от теперешней своей работы и еще другое — ведь трудится-то он теперь гораздо больше и с большей любовью, чем прежде, чем в прежней жизни. И, наконец, как бы он ни старался мысленно уменьшить и унизить значимость производимого им сейчас труда, дабы найти этим умалением оправдание своей прежней жизни, но оправдания ей не было и не могло быть! И от этой охватившей его ясности и от уже принятого им внутренне решения

вернуться скорей домой ему стало легко, и он глубоко и свободно вздохнул, и тогда вдруг почувствовал остренький и хрустальный, все расширяющийся холодок у сердца.

Он обрадовался этому холодку. Он лег и вытянулся во весь рост. С полным удовлетворением он вдохнул в себя воздух и протянул руку за стаканом. Нестерпимая жажда овладела им, он задел за что-то рукой, что показалось ему чужим. Ему все вдруг стало просто и ясно, словно бы прорвало плотину, и его понесло, высоко и легко вздымая...

От его последнего в жизни движения вращательно колыхнулась вода в стакане, и поплыли вокруг арки автомобили, приобретая теперь истинный необходимый им цвет, и сама Триумфальная арка тоже поплыла, постепенно линяя... Официальная врачебная наука, представленная старепьким и подагрическим доктором отеля, признала, «что советский гражданин М. Д. Лобанов умер от так называемого разрыва сердца».

1929

Б. М. МАНИКОВ И ЕГО РАБОТНИК ГРИША

I

Встрече Бориса Митрофановича Маникова с его бывшим работником Гришей предшествовали многие размышления. Размышления эти особенно остры стали с того дня, когда он однажды, идя по Москве, подумал, что люди, населяющие сейчас Москву, для него существуют, а он для них нет. Может быть, они замечают его тело, которое говорит, питается, спит и которое они иногда могут даже назвать Борисом Митрофановичем Маниковым, но понять его или даже попытаться понять они не могут. И он ощутил, проходя по этим знакомым с детства улицам, что улицы вот уже десять или пятнадцать лет как заселены иным народом и от прежнего города остались только здания: так же мало меняется посуда, когда в нее наливают разноцветные жидкости... Борису Митрофановичу было уже свыше шестидесяти лет; сухой и жилистый, он походил на гребенку с поломанными зубца-

ми, громадные и прозрачные уши делали его лицо внимательным, приглядывающимся даже каким-то, а на самом деле он был рассеян и видел и слышал очень мало. Он жил за городом, в подмосковной деревне, вместе с сестрой своей Натальей Митрофановной с востреньким лицом и забытыми от юности черными бровями, и хотя она совсем стара, намного старее Бориса Митрофановича, часто прихварывала, любила знахарок и бабок, но по-прежнему в ней было много властолюбия, по-прежнему она любила думать и была уверена, что в теперешней жизни к богатству и славе все же можно найти, если поискать внимательно, ловкую лазейку и что ей еще не поздно найти эту лазейку.

Прежде, в прежней знакомой Москве, Борис Митрофанович Маников содержал «семейные бани» недалеко от Арбата, в одном из переулков. Дело это приносило большой доход и почет, да и отец передал ему это дело в исправности и без долгов. Борис Митрофанович выгодно женился, выгодно и быстро выдал сестру за торговца мебелью, почтенного и богатого человека. Этот почтенный человек и во времена нэпа лавировал вначале весьма искусно, но времена уже были не те, и он умер, говорили, от водки, но, надо думать, больше от огорчения, что не может угнаться за более молодыми и беззаботными. Имел этот торговец и зять Бориса Митрофановича забавную семейную тайну, которая и переехала даже с Борисом Митрофановичем в подмосковную деревню: как-то еще до революции приобрел торговец редчайшую кровать с редчайшими четырьмя миниатюрами по углам, а затем так ее ловко закрасил, так прибеднил, что десятки опытнейших финансовых инспекторов, много раз описывавших его имущество, на эту кровать не обращали внимания, а один даже спросил презрительно: «И зачем вы такую дрянь держите?» И сам торговец смеялся, и жена его Наталья Митрофановна смеялась, и когда-то смеялся и Борис Митрофанович.

Неподалеку от улички, на которой они жили, протекала под мохнатым обрывом Москва-река, напротив стояла каменная церковь, мимо, в дачные местности, проносились автобусы, а если взять от улички влево, то сразу развертывались лиловые кар-

тофельные поля, и когда поднимался туман или метель, то не видно было Москвы, ее дыма и света, и казалось, что они живут далеко в провинции. Наталья Митрофановна, поглядывая на эти поля, любила упрекать Бориса Митрофановича в бездеятельности, а он хлеб свой действительно добывал с большим трудом, перепродавая различную чепуховину на толчке, с лицом и взором аристократа, а больше всего он любил сидеть у окна и маленькими ножницами вырезать коньков из газетной бумаги, а затем, подрисовав им красным карандашом глаза и брови, уходил гулять и там незаметно разбрасывал этих коньков по дороге или по берегу Москвы-реки.

Весной тысяча девятьсот двадцать девятого года сидел, как всегда, Борис Митрофанович у окна и вырезал своих коньков. Конек за этот день был уже десятый по счету, когда он увидел подле палисадника человечка в стеженом картузе, с коротенькой ищущей походкой. Сестра сразу же догадалась, у кого может быть такая походка, и сразу же скрывающе заворошилась в спальне, и Борис Митрофанович отложил ножницы.

II

Борис Митрофанович вначале подумал то же, что подумала и его сестра: это новый, назначенный на место прежнего, видимо, непригодного, фининспектора, потому что тот, прежний, с белокурым чубом, похожим на крендель, даже сам любил говорить: «Возможно, что, и учитывая вас, ошибаюсь я, граждане». Но прежде чем Борис Митрофанович успел сложить свои мысли в одну фразу с тем, чтобы их передать сестре, он с острой неприязнью вспомнил длинную и волосатую шею человека, стоящего подле палисадника. И еще больше неприятно ему было вспомнить свою гадость, которая так выпукло обозначилась в этом деле с наглым и самолюбивым номерным Григорием Гущиным. Гриша Гущин был нагл и скуп, он получал отличное жалованье и все же, несмотря на запрещение Бориса Митрофановича, подрабатывал у гостей, приводя им в номера «девиц».

И вот не кому иному, как этому Грише, он, Борис Митрофанович, предложил отдать замуж племянницу свою Веру, которая воспитывалась у него в доме. А пожелал он отдать ее Грише, а не чиновникам-женихам, обильно посещавшим его дом, потому, что Вера была опозорена: возвращалась она от подруги как-то домой одна. Подле «семейных бань» строился чей-то громадный дом, стояли леса, и пьяные хулиганы затащили ее на постройку. Вера была сильна и высока, она лихо отбивалась и кричала, о лицо какого-то хулигана она сломала зонтик свой. Ее изнасиловали. Позже на крики ее прибежал полицейский, засвистал, и дело огласили... Стыд упал на дом Бориса Митрофановича. Женихи и раскрашенные открытки, которые посылались ей во все дни двунадесятых праздников, исчезли. Подруги покинули ее. Она сразу стала шлюхой, сразу же в ее походке и в ее сильном теле, которым раньше так восхищались, увидали похоть и сластолюбие. Знакомые отворачивались от нее.

Борис Митрофанович вспомнил, как его мучила гордость, никудышная гордость, которая и посейчас мучает его сестру, и она, так же как и он тогда, думает, что способна и своей гордостью, и своим умом пересилить весь мир. Страдая этой гордостью, он подумал тотчас же о Грише. Гриша, наглец и жулик, один мог без спора и разъяснений понять его. Грише Гущину было лет тридцать, он уже подумывал о возвращении в деревню, на покой и на солидное хозяйство. Борис Митрофанович призвал его и предложил ему получить две с половиной тысячи денег и Веру в жены. Гриша, погладив свою длинную и волосатую шею, склонил голову и со всегдашней своей привычкой прибавлять почти к каждой фразе «да» поспешно проговорил:

— Когда прикажете благословляться прийти?

И еще горше вспомнил Борис Митрофанович, как они пришли благословляться. Вера, рослая, грудастая и с розовыми щеками, которые за месяц сплошных слез все же не побледнели, стояла шага за три от своего жениха и все отодвигалась еще дальше, подергивая левым плечом. Был морозный канун Нового года. В окно Борис Митрофанович видел, как на

углу переулка извозчики из горб, подвешенных к оглоблям, кормили коней овсом. Овсинки, окруженные пушистыми каплями пара, катились из розовых морд коней. Голубой, звенящий, как новая сбруя, снег крутился над окнами, над крышами. Борис Митрофанович передал задаток — полторы тысячи — и сказал, что остальные получит Гриша после венчания.

У ворот толпились номерные, приятели Гриши, они смеялись, подталкивали друг друга, но, когда Гриша шел мимо со своей нареченной, сутулый, хмурый, в новом пальто с барашковым воротником, номерные не осмелились пошутить и как-то неумело замолчали. Невеста посмотрела на них смело. Они ушли в ворота. Невеста махнула рукой.

Извозчик, натягивая большие, похожие на чемоданы рукавицы, подал им коня.

III

Борис Митрофанович знал, что племянница ничуть не осуждает его; для нее все исчезло: и женихи-чиновники, и наследство от Бориса Митрофановича, который не имел детей, и легкая жизнь, которую она вела до этого,— и тогда видеть это ее понимание было приятно и лестно даже Борису Митрофановичу, но теперь вспоминать об этом ему было стыдно. Вспомнил он и то, как он радовался, что люди теперь уже не осудят, что испорченная девушка живет в его доме, и как ему было приятно узнать, что он был прав, она и впрямь дурна: повенчанные Вера и Гриша часто ссорятся. Гриша пьет и чуть ли не говорит о разводе. Слухи эти доходили до Бориса Митрофановича стороной, так как Вера, приходя, сама никогда не жаловалась на плохую жизнь и по-прежнему была румяной и стройной. Затем она забеременела и перестала посещать дом Бориса Митрофановича, а еще позже слышал он, что Гущины переехали в Самару и что родила она мальчика. В Самаре, говорили, Гриша открыл чайную, стал спокойнее, а мальчонка рос лихо. Тем временем Борис Митрофанович тоже рос капиталом, строя дома и бани. Он ходил на биржу и с несколькими друзьями разрабатывал план постройки огромных бань на манер римских, и даже

очень умный архитектор подыскался... Но тут подоспела война, революция... «И сами мы попали в баню»,— так любил он и его приятели подшучивать, сидя за чаем и обсуждая свои проекты в начале революции. Но шуточки эти продолжались недолго...

Во время нэпа несколько раз неудачно пытался подняться до прежних своих подъемов Борис Митрофанович, и во время одного из этих подъемов он узнал, что племянница его Вера умерла здесь, в Москве Какой-то прыщеватый мальчонка, в лохматой бараньей шапке и коротком тулупчике, принес ему записочку от Гриши, который приглашал на похороны. Борис Митрофанович торопился куда-то с ходатайством; прочтя записку, он попытался вспомнить походку, лицо и голос Веры и ничего не мог вспомнить, кроме широкого румянца на щеках. И о записке он забыл через полчаса, а сейчас, глядя на Гришу, рассматривающего палисадник, и на свою сестру, суетящуюся в соседней комнате, он вспомнил эту записку: написана она была карандашом на листке, вырванном из тетради «для арифметических упражнений», и Борис Митрофанович, дабы забыть эту записочку и свою тогдашнюю ничтожную суетливость и дабы освободиться от зрелища теперешней ничтожной суетливости сестры, пошутил:

— Ты вот, Наталья Митрофановна, хвасталась, что удачно обвела фина, смотри, на его место нового назначили! — И он указал на Гришу.

— Так я же тебе об этом и говорила! — ответила она, пугаясь того, что даже и незадачливый Борис Митрофанович догадался о новом фине.

— Ты нашего Гришу помнишь, Наталья Митрофановна?

— Который Верку взял? Злодей был мужик,— ответила она, еще более пугаясь своих слов о злодействе, сказанных только потому, что лицо нового фина показалось ей знакомым, а знаком, значит, потому, что он мог когда-то и где-то их весьма успешно притеснять.

— Ну так ты и присмотрись, Наталья Митрофановна, Гришу-то этого и назначили нам в фины!

Она так и ахнула. Тотчас же она вспомнила, что покойный ее муж рассказывал еще при Грише, ка-

кую он замечательную и бесценную кровать купил. Она, охая и потирая по привычке ладонью отвисшие и дряблые свои щеки, подбежала к окну. Точно, там стоял Гриша Гущин. Та же у него отвратительная и волосатая шея и тот же наглый и в то же время светлый взгляд, и нового в нем была только какая-то неощутимая пустота, та страшная пустота, о которой, как думала Наталья Митрофановна, она многое знала в людях, поднявшихся высоко.

Борис Митрофанович, накинув ватную свою тужурку, сшитую из солдатского сукна, вышел на крыльцо. С крыльца видна Москва-река, тающая и блестящая тем напряженным блеском, которым блестит олово, начинающее расплавляться. Деревья в палисаднике были тоже блестящи и как бы готовились к прыжку... Борис Митрофанович глубже вдохнул воздух.

— Входи, что ли,— сказал он Грише.

IV

Да, несомненно, это был Гриша!

И Гриша, видимо, сразу узнал своего бывшего хозяина. Гриша не глядел ему в лицо, он касался своим взглядом только края, его взгляд скользил где-то подле прозрачных и больших ушей Бориса Митрофановича, и этот взгляд в первые мгновения был очень неприятен Борису Митрофановичу, но дальше он понял, что не только взгляд Гриши, но и вся их последующая и замечательная беседа происходила не здесь и не для Бориса Митрофановича и Натальи Митрофановны, а происходила и производилась она у кого-то и для кого-то в пространство; и эта манера, и это скольжение разговора, и путаность хотя и сильно раздражали Бориса Митрофановича, но в то же время неудержимо влекли его за собой. Он тоже, как Гриша, говорил быстро, путаясь и волнуясь.

Но прежде чем начался этот примечательный разговор, Борис Митрофанович и его гость прошли мимо церкви на высокий берег Москвы-реки. Здесь подул им в лицо весенний ветер, пахнущий тающим льдом

низкие горы, видневшиеся вдали, как бы раскрывались от солнца, и лес на горах весь дрожал и поднимался на цыпочки... Но они, не замечая ничего этого и не видя, как Наталья Митрофановна машет им рукой и кличет их в дом, подготовляясь, как бы разбегаясь для будущей беседы, быстро миновали ограду, каменную и потрескавшуюся, потрогали чугунную плиту на могиле какого-то почтенного протоиерея, умершего, как сообщала плита, совершенно в неправдоподобно преклонном возрасте. Правую руку Гриша постоянно держал за пазухой, а левой поглаживал свою шею, и рука эта у него была вся обветренная, красная и в дегте.

— Постарел ты, Гриша,— сказал Борис Митрофанович, и Гриша обрадованно как-то подхватил:

— Да ведь как же, да, пятьдесят пять, да, пятьдесят пять...

И он улыбнулся длинной своей улыбкой, которая вначале всегда казалась жалобной, но совсем неожиданно переходила в наглую, и тогда глаза его светлели... Борис Митрофанович вспомнил эту улыбку, но наглости у Гриши не вышло, и тогда Борис Митрофанович сам улыбнулся и подумал, что улыбается он тому, что, как и двадцать лет назад, Гриша все еще повторяет эти свои приставочки «да, да»; и Борису Митрофановичу подумалось: «А ведь может статься, что Гриша не фининспектор, да и почему они решили, что он фин, формы же на них пока нет.. просто Гриша впал в бедность и явился за помощью, и здесь-то вот нужно ему сказать с большим умением, что дать они ему ничего не могут и самое большое их угощение — морковный чай. И сказать это лучше всего сразу, чтобы Гриша не стеснялся и мог сразу же проявить свою злобу или радость, смотря по тому, какой в нем теперь преобладает характер».

V

Гриша вдруг широко раскрыл глаза, и по лицу его стало понятно, что он только теперь увидал Москву-реку, что он не знает, что это за река, и у него даже губы раскрылись, чтобы спросить: какая и по-

чему здесь река, но тотчас же весь внешний мир спутался, и выбрать слова для этого внешнего мира ему настолько было тяжело, что шея его туго налилась кровью, потемнела, и он быстрыми шагами направился к палисаднику, возле которого его и окликнул Борис Митрофанович и возле которого он, Гриша, приготовил уже все, что ему нужно и что должно сказать и сделать.

Когда они входили в дом, Наталья Митрофановна припрятывала последние свои тряпки, те, которые она считала своим долгом спрятать, и в поисках места для их укрытия она бегала все время, пока они гуляли: более надежного места, как под кроватью, она не могла найти, и она укладывала их под кроватью. Она вылезла потная, багровая и тупо уставилась на Гришу; и то, что он ее не узнал и даже не смотрел на нее, испугало ее неимоверно.

Гриша быстро опустился на лавку и заговорил так, как будто он давно уже начал:

— Ну вот, плывут они среди лесов один день, другой плывут, а кругом берега с церквами, а народу нету и нету армий...

— Кто плывет? — спросил Борис Митрофанович.

— Ну, флотилия плывет. Сын-то мой, звали его тоже Гришей, поступил матросом во флотилию, которую, слышь, прозвали Волжской и направили против Казани, в которой, говорят, весь наш золотой запас хранился и на который, говорят, все буржуи мира сбегались. Плывут они, говорю, и плывут они ни больше ни меньше как в подводной лодке прямо по Мариинской системе из Петербурга. А из плаванья этого, Борис Митрофанович, получал я в эти времена от Гриши очень многое объясняющие письма...

— От Веры сын-то, что ли, был? — спросил Борис Митрофанович, волнуясь.

— Как же, от нее, в Самаре родился! Рослая была женщина, и все любила с палочкой ходить, и сын получился рослый и тоже с палочкой в матросы пошел, а тогда дисциплина свободная была, лишь воюй, а там с палкой ты ходишь или с бревном — безразлично. Однако какой-то главнокомандующий похохотал над ним· «Ты, говорит, молодой и революцион-

ный матрос, почему у тебя, как у старика, для выхода палка?» А он и ему ответил, и нам в письме написал, что палку ему для революции бросить нетрудно, что он ради революции не только палки, но и жизни своей не пожалеет. И кинул он тут на глазах всего флота палку в Волгу, и поплыла она в Каспий!.. Очень трогательно! А я, как вам известно, Борис Митрофанович, бани тем временем бросил и промышлял извозным, и чайная у меня в Самаре, на берегу Волги, была. Самара — город отличный, хотя и запьянцовский. Сам я никогда, как вам известно, не пил и сына приучил; сын только, действительно, признавался, что когда подводная лодка опускается в воду и как весь инструмент, и весь воздух, и все стены вокруг начинают по мере опускания холодеть, то тогда даже и непьющему выпить хочется. Кончатся это наши чайная, извозные расчеты, выйдем мы с женой на берег и думаем, что для нас с некоторого времени Волга стала страшным синим морем. Никогда мы не думали, что она настолько страшна может быть, а текла она в те времена мимо всех пустая, и разве только щепка с какого-нибудь потонувшего парохода качается — проплывет. А ведь раньше, бывало, стоишь в праздник, ведь от большого чая до обеда мимо твоих глаз пароходов пятнадцать проплывет! И чем ближе наш сын подходил к Казани, тем больше мы думали: есть в этом Ленине что-то такое от справедливости и касательно того, что буржуев было необходимо уничтожать и уничтожать окончательно, что всегда он был в этом прав!

Здесь Наталья Митрофановна не удержалась. Она приоткрыла дверь и, просунув голову, боязливо и в то же время стараясь быть веселой, спросила:

— Ты что же, по финансам работаешь?

Гриша встал, поклонился и ответил с торжественной и жалкой улыбкой:

— Нет, я в полной и откровенной отставке! Да, да... Я грудь сломил на своем ломовом деле, да, и действительно, поступать так азартно на старости лет не годится. Заспорили мы, слышь! Я им говорю, что подниму пятнадцать пудов, и верно,— поднять-то поднял, но тут произошло в груди встрясение и стало мне как-то тесно дышать...

— Что же с твоим матросом-то? — спросил Борис Митрофанович. Ему хотелось и узнать, зачем пришел Гриша, и не любил он разговоров о болезнях.

— С матросом-то нашим? Известно, что может произойти с матросом! Идут они ночью, и наткнулись они ночью на мину, и взорвались, и кончились с того дня письма от него... Год с той смерти или три, я уж не знаю, мы все в чайной своей орудовали, торговали, и кони наши ходили по Самаре, так вот через год, что ли, выходим мы с Верой Ивановной на волжский наш берег. По нему пароходы идут, как и раньше, народ в буфетах стерлядей ест, а мы перед самым нашим выходом на Волгу письма Гришины перечитывали. Очень, скажу вам по совести, возвышенные письма, и даже, если их с площади прочесть бы вслух, как теперь есть такое вслух говорящее радиво, многим бы пользы дали... Рассуждаем мы и дальше: вот, мол, Вера Ивановна, сын-то наш шел правильно, за спасение погибающих, а мы живем как-то неточно, и вот ведь и женился-то я на тебе, говорю, Вера Ивановна, тоже неточно, не по любви, а потому, что банщик Борис Митрофанович дал мне за тобой в приданое или, лучше сказать, чтобы успокоить свою банную гадость, две с половиной тысячи рублей. Купил, одним словом, говорю, мужа тебе, Вера Ивановна!

Борис Митрофанович сказал мучительно и торопливо:

— Ну о чем говорить, Гриша! От этого же никакого вреда не произошло. Если сын твой умер, то он, наверное, не знал же обстоятельств твоей женитьбы.

— Сын не знал, конечно, Борис Митрофанович.

— Да ведь и прошло этому двадцать с лишком лет, и что вспоминать то, что было двадцать с лишком лет, а?

— Двадцать с лишком лет прошло, верно, Борис Митрофанович. Но вот двадцать-то с лишком лет спустя и началось самое мое от этого главное несчастье.

— Двадцать лет, Гриша?

— Да, двадцать лет,— ответил Гриша с болью и гордостью.

VI

Гриша заговорил плавно и быстро, и Борис Митрофанович понял, что Гриша теперь только подошел к тому, что уже давно и плотно засело в нем, в чем уже нельзя изменить или переставить слова, и что есть то главное, до чего он добирался с такой явной всем болью и трудом.

«Так вот и путник,— подумалось Борису Митрофановичу,— долго бредет топями, болотами, пока не выйдет на ровный и чистый луг, и здесь перед ним внезапно и плавно катится река, гудят пароходы, и плоты весело несут весенние свои бревна, и на бревно опускается синица, бревно влажное, на него только что накатилась волна от парохода, оно блестит, и синица, подрагивая хвостиком, оправляет свои перья...»

— Да, Борис Митрофанович, так вот мы и рассуждаем с Верой Ивановной! Говорю я ей: «Живем мы с тобой в отличном Самаре-городе, и большое у нас с тобой хозяйство, и четыре громаднейшие, может быть, самые громаднейшие и выносливые ломовые во всем самарском крае, и работники у нас к этим коням замечательные, и живем мы с тобой замечательно, и чай у нас по всему волжскому берегу самый крепкий, и при чайной у нас квартира из двух комнат с отдельной кухней и даже, как у любого попа, есть у нас собственный комод и буфет!» — «И верно,— отвечает мне она,—замечательно живем!»—и сама смотрит в землю, а немного погодя поднимает на меня глаза и говорит: «Думать ли нам об этом?.. Борис Митрофанович как следует наказан за свою гордость!.. Вот кабы сынок наш вернулся, все бы узнав, он смог бы тебе посоветовать, а сейчас так думаю: вот мы с тобой, муженек, продержали весь военный коммунизм вплоть до свободной торговли четырех лучших коней в городе и самых лучших работников и дальше теперь хотим свое дело развивать,—правильно ли это?» Я ее еще тогда не понял, сознаюсь, я ответил, как, мол, теперь не развивать! Теперь овес куда легче, чем при военном коммунизме, доставать! Она тут сразу замолчала, и только румянец у нее вековой так и полыщет по лицу. Она

это молчит, а я говорю: «Очень мне нехорошо, Вера Ивановна, думать я не привык, а главное — придумаешь, только бы сказать, а тут вместо настоящего слова либо обругаешься, либо выпить захочется, но только смотрю я на свое развивающееся хозяйство и полагаю, что купленная у меня жизнь». Она мне и говорит: «Полагать мало, надо делать...» И сама отошла, как бы обиженная.

— На что же ей обижаться, Гриша? — спросила Наталья Митрофановна.

— ...И очень сильно с того разговора затосковал я, Борис Митрофанович, так затосковал, что откровенно и сказать-то неловко; и по сыну так не тосковал. Все, бывало, в кровати ворочаюсь, а кровать у меня богатая, с металлическими шишками и на пружинах и с замечательным богатым ситцевым пологом. И вот раз вскакиваю я, под рукомойник, умыться не мог, а на дворе еще темно, и дождичек такой осенний, на всю жизнь, кажется... Говорю я: «Вера Ивановна, решился я и телеги, и коней, и работников рассчитать!» Жена-то на меня смотрит и говорит тихо: «Что же, сколько на конях ни вози, сколько ни скачи, а от своего сердца не ускачешь и горя своего никуда не увезешь. Продавай!» Отправился я на базар, кони тогда в цене были, да и народ видит: коней привел продавать Григорий Гущин — разорился! И каждому, конечно, лестно меня унизить и коней моих купить. Продал я и в своей чайной какое снаряжение и посуду, рассчитал своих работников и кухарку, и осталось у меня тогда ровно девятьсот сорок рублей. Выложил я эти деньги перед женой и говорю: «Вот, мол, и деньги за моих коней и за телеги, и выходит по этим деньгам, что ты сама немногим была дороже моих коней и моей чайной». Она опять молчит и только дня через два так, мельком, сказала, что верно, тяжело дожить до старости и понять вдруг такие мысли... Но и тогда-то, Борис Митрофанович, не дошли мы до самой главной нашей думы, что и мою жизнь загубила и Веру Ивановну в могилу свела. Положили мы деньги те в сберегательную кассу, перебрались в Москву и поселились в Петровском парке, поближе к Савеловскому вокзалу, там много в улочках нашего ломо-

вого брата живет. Сараи есть в одном дворе, раньше лес, что ли, там сушили, а теперь на жилье передали, нагородили собачьих конур, перегородки дощатые, глинобитные стены, сырость, мороз, зато дешево...

VII

— Глупости это,— сказал, несколько оправляясь от своего волнения, Борис Митрофанович,—глупости это—деньги копить!

— Зачем глупости? — еще больше заволновался Гриша.— Мученье никогда не глупости. Поселились как только мы в этой сырости, как только расставили наше имущество и стол клеенкой накрыли, так и понял я: не хватит нам уже сил из этой комнатешки выбраться, и не хватит еще и потому, что если мы друг другу свои мысли полностью не откроем и что если открывать, так поскорей. Дрова я в эту минуту накладывал в печку, Борис Митрофанович, так я бросил дрова, встал и говорю: «Завтра мне на работу уже простым ломовым идти, Вера Ивановна, с завтрашнего дня мне, от усталости, может быть, али от злости, уже и говорить-то будет трудно, так я сегодня скажу. Я так думаю, Вера Ивановна, что те две с половиной тыщи, которые мне за мою совесть дал Борис Митрофанович, мне эти две с половиной тыщи надо ему вернуть целиком».

— Отдаст она, Верка-то, как же,— отозвалась из-за дверей Наталья Митрофановна.— Жадна она была всегда, как черт!

Сказала она это не оттого, что действительно была уверена, что Вера жадна,— Наталья Митрофановна всегда была занята главным образом только собой, и если думала о том, каковы люди, то она их всех, кроме себя, считала дураками,— а сейчас о жадности Веры она сказала потому, что ей хотелось поскорей узнать, почему она согласилась возвратить своему бывшему хозяину его деньги... Борису Митрофановичу было стыдно смотреть на ее потный и жадный старческий лоб, покрытый седыми и редкими волосами. Она отстранила Бориса Митрофановича и села перед Гришей к замасленному и грязному столу. В комнатах была

пыль и слякоть, никак не хотели убрать, почистить, все надеялись на лучшее будущее. Наталья Митрофановна смотрела прямо в рот Грише, но тот по-прежнему ее не видал.

— А она еще раньше меня, надо думать, возмечтала столь же гордо. Как я ей только сказал эти мои слова, так у ней лицо-то еще больше воспылало, и она мне быстро, так быстро сыплет: «Отдать, отдать непременно, Гриша». А у меня от тех ее слов даже как-то дышать тяжело стало, сел я на табуретку, а она сама начала дрова в печку кидать. Я на нее смотрю и вслух думаю: «Позволь, Вера, мой сын буржуев уничтожал и лодку в том уничтожении и свою жизнь потопил, а тут выходит, что мы им поможем вновь на ноги подняться, когда мы их обязаны топить, как они нашего сына утопили». А она мне, напротив, тоже вслух думает: «Я у них воспитывалась, жила и ими облагодетельствована, я их жизнь прекрасно, лучше своей понимаю. Они эти деньги получат и, верно, употребят их на свое возвышение и поднятие, а этому возвышению никогда уже в нашей стране не быть, и получится им от этого еще большее уничтожение, а нам полное освобождение наших мыслей». И так меня ее слова разожгли, что я обошел комнатушку нашу, и без того пустую, с мыслями, что бы еще продать можно, и вышло так, что сундучки и чемоданчики наши, в которых мы наше барахлишко привезли, вполне продать можно, так как никуда нам уже из этой комнатешки не выехать. И, верно, выручил я с этой продажи пятнадцать рублей, которые и отвез на книжку. Пошла моя Вера приходящей прислугой, ночами стирала артистам, которые снимаются в бывшем Яру и живут неподалеку от нас, а я днем в ломовых ходил, а вечерами,— вспомнив детское свое обучение, мой батюшка-то из сапожников происходил,— починял ломовикам валенки и сапоги, одежда, сам знаешь, у ломовиков как огонь горит, брал я дешево, и было у меня заработков достаточно. А в хибарке нашей холодище, ветер, вечером натопишь, а к утру, смотришь, и выстыло, а я поспать люблю, а Вера-то, обо мне заботясь, поднимается раным-рано, затопит печку, чтобы мне на

работу из тепла идти. А стены, как я вам говорил, у наших казарм глинобитные, и от глины по утрам уничтожительный и мерзкий запах идет, и я из запаха-то на какой-никакой чистый воздух выхожу, а Вера, перед тем как на приходящую уйти, еще и кушанье сготовит, и починит для меня что... всю захватил ее этот запах, который, знаешь, пошел на сердце, а с сердца в кровь, что ли... подлинно мне вся тонкость эта докторская неизвестна, но начала моя Вера Ивановна сначала покашливать, с румянца спадать, а там и чахнуть. Доктора пришли, которые к нашему ломовому делу приставлены, но только у нас, у ломовых, болезни грубые, им, докторам, лечить их трудно, иной, смотришь, даже в слезу пробьется, а ничего с нашей болезнью понять не может, мы больше сами лечимся, есть у нас и такие-разные знахарочки, из цыганок, которые петь по случаю революции прекратили. Пришел такой доктор один, посмотрел; пришла попозже и цыганочка, тоже пощупала и посмотрела. Жалостливая такая цыганочка, и с голоском как весной сосульки ледяные на землю падают, и оба они сказали: «Выздоровеет!» А моя Вера Ивановна все чахнет и чахнет и только мне не забывает повторять: «Ты, говорит, деньги копи, а я и так поднимусь, самое главное — человеку захотеть подняться, а он уже поднимется, сколько б ни лежал». Ну, как она ни хотела подняться, как ни отрывала голову, а прошлой осенью, вернулся я это както с работы поздно,— смотрю: нет у ней больше румянца, и лицо от этого хоть и страшное, но легкое какое-то, как будто зимой лист вынесет когда из-под снега и поднимет ветром. Посмотрела она на меня и, как вам известно, будучи прославлена своими улыбками, улыбнулась мне по-знакомому и говорит: «Сколько у тебя скоплено, Гриша, на сберегательной?» А я ей отвечаю, что, мол, Вера Ивановна, скоплено нами очень много: без малого две тыщи. Тут она подумала и говорит: «Ты, Гриша, на мои похороны больше полутораста рублей не трать, ты пышность любишь. Я, Гриша, теперь скажу тебе по правде, плохо вижу, но все-таки тебе советую и на себя как-нибудь хоть в осеннюю лужу посмотреть, если

зеркала не подвернется, и по виду тому своему ты и поймешь, что едва ли ты больше двух тысяч скопишь, да и кроме того, времена, как мне известно по приходящей службе, такие для буржуев подходят, что лучше с ними сейчас рассчитаться, пока с ними окончательно кто-то за нас не стал рассчитываться...»

— Я говорю: злюка! — сказала Наталья Митрофановна.

— ...И верно, израсходовал я из тех денег почти что полтораста на похороны, и то ли от ее слов, то ли, верно, пора ко мне такая подошла, но по утрам вставать все труднее и труднее стало, и решил я тогда навалиться на работу. Ну и навалился же. Пар от меня за версту идет, мяса я съедал по три фунта и хлеба почти по пять за день. Ребята мне: «Куда ты рвешься, старик?» А я им: «Поддай!» Да вот, как я вам уже и изволил говорить, Борис Митрофанович, чтобы не столько удаль показать, а чтобы назначили меня на самые труднейшие работы, на которых я смог бы побольше заработать, и произошло у меня от подъема пятнадцати пудов внутреннее рассечение груди. Послушал меня доктор через такую трубочку с двумя резиновыми концами, головой качает в такт того, как я грудью свищу, и сказал этот доктор: «Старик ты резкий, так и я с тобой резок буду и говорю тебе: махни на все и кончай скорее все свои земные дела». Вот это доктор, настоящая душа! Он, оказывается, военным был, оттого у него и понятие жизни такое справедливое. Сильно я его поблагодарил, пошел в тот же день в кассу и взял оттуда все, что там нами скоплено, а оказалось этого всего две тысячи сто десять рублей. Сильно мне хотелось накопить до полной суммы, и тут бы я мог и справедливому доктору не поверить и работать до суммы, но сказал мне тут один человек: «Больно некрасиво живет Борис Митрофанович, под Москвой и без дела, как бы он в другие места не уехал...» А где мне вас искать в других местах, Борис Митрофанович? Как-никак, а у меня злостное рассечение груди!

И он больше из вежливости, чем из своего суждения, разворачивая грязный пакет из газетной бумаги, сказал о здоровье и жизни Бориса Митрофановича:

— Однако же соврал человечек, живете вы отлично и собою все здоровы. Получайте, пожалуйста... да, да!

Но здесь на деньги навалилась всем своим рыхлым телом Наталья Митрофановна. Пришепетывая, путая слова, то говоря, что пересчитывает, то что считать некогда, она закутывала деньги опять в бумагу. Бумага у ней ползла меж рук, она сорвала рваную и грязную шаль с головы, седые и жидкие ее волосы на висках были мокры. Нестерпимое отвращение овладело Борисом Митрофановичем.

VIII

Борис Митрофанович понимал, что он не должен и не может принимать эти деньги, но он чувствовал и знал, что он не скажет этого. Он отвык от ссор, от брани по денежным делам. Он понимал, что это слабость, но от понимания этой слабости он и ненавидел эти комнатенки с их запахом картофеля и кошек, с киотом в углу и с плохими и некрасивыми иконами. Он ненавидел и Гришу, который, высказав все, что его томило и влекло сюда, сидел теперь, тупо и бессмысленно улыбаясь; когда Наталья Митрофановна, несколько поуспокоившись, все же начала пересчитывать деньги, он следил за счетом, и губы его безмолвно двигались за губами Натальи Митрофановны.

Борис Митрофанович поднял свою тужурку из солдатского сукна, и здесь Гриша, торопливо сказав Наталье Митрофановне: «Правильно, все правильно сосчитано»,— торопливо схватил стеженый картуз и пошел за ним. В тужурке этой, выменянной на барахолке за отличные серебряные часы, всегда Борис Митрофанович чувствовал себя уютно и тепло. Ее никто у него не отнимает, ей цена самое большее полтинник, но она удивительно греет и бережет тело. Гриша сломил веточку из палисадника, но держать ее он не мог: по-прежнему он совал правую руку за пазуху, а левой почесывал волосатую свою шею. Он испуганно как-то оглянулся, видимо отыскивая столб, подле которого останавливается автобус, нашел и ра-

достно замычал. «Зачем,— думал Борис Митрофанович,— я, старик, не отказался от денег, которые мне совершенно не нужны, а этот, другой старик, отдал все свои деньги, на которые он мог жить отлично, лечиться и не страдать, и зачем третий старый человек, Наталья Митрофановна, думает, что Гриша принес эти деньги, чтобы поддержать прежних хозяев, и даже думает, что и Вера-то не умерла!»

Подошел автобус, синий, высокий, со светлыми окнами. В этом автобусе сидели веселые и молодые мужчины и женщины, они ездили снимать дачи, чтобы летом ходить при луне, целоваться, говорить глупости и плакать от этих глупостей. У них быстрая и широкая жизнь. Кондуктор взмахнул сумкой. Гриша, с осоловелыми глазами, не попрощавшись, вскочил на подножку и дернул внутрь дверь. И в автобусе он так же, как и все прочие, сел бочком, голову откинул назад!.. Долго стоял подле остановки Борис Митрофанович. Несколько автобусов промелькнуло мимо него.

Стыдно и скучно возвращаться ему домой!

И тогда его посетила мысль, которая ему показалась сначала чудовищной и нелепой, но, по мере того как он подходил ближе к домику, в котором он жил, и по мере того как солнце согревало его спину, эта мысль уже не казалась ему столь грубой. Он подумал, что Гриша никогда бы не мог и не принял бы обратно этих денег и тем нелепее принимать им эти деньги, так как они ни по каким законам не могут принадлежать Б. М. Маникову и его сестре, и еще более — нет и нельзя придумать такого оправдания тому, чтобы на эти деньги опять пытаться кого-то обманывать и с кем-то плутовать. Но Наталья Митрофановна будет на эти деньги плутовать и кого-то обманывать! И еще более укрепило его мысли то, что когда он вошел в дом, его сестры там не было. Она, наверное, ушла прятать полученные деньги. Она испробует несколько мест, ей придется вырыть несколько ямок, прежде нежели она решится закопать эти деньги. Она устала, она стара, ей тяжело копать кухонным ее ножом, она с усилием роет мокрую весеннюю землю... Омерзительно!

И Борис Митрофанович направился к фину. Фин жил рядом со школой. В сени к Борису Митрофановичу вышел рослый, немного заспанный человек с белокурым чубом, похожим на крендель. Он вежливо,— как он уже привык разговаривать и как это льстило и ему и другим,— спросил, чего желает от него гражданин Маников. И гражданин Б. М. Маников, с огромными ушами и сухим телом, расставив широко ноги, стоял перед ним и безмолвно смотрел, как фин зажег папироску, быстро искурил, посмотрел в сенях — нет ли пепельницы, и погасил папироску о подошву своего сапога. Подошва та была новая, и то, что фин помнил о ней, так как иначе он не стал бы гасить о нее папироску, а погасил бы, скажем, о порог, показало Борису Митрофановичу, что ничто в жизни не изменилось и мир по-прежнему не понимает и не замечает его. Что может сделать старуха на эти две тысячи, столь нелепо приобретенные ею? Да и никто и ничего не сможет сделать на эти две тысячи! И здесь у фина, если он, Борис Митрофанович, попробует рассказать о двух тысячах, то фин решит, что Б. М. Маников просто выдает сестру из мести или что, может быть, еще хуже, решит, что у них скрыты еще большие деньги. И Борису Митрофановичу стало жалко того, что люди, отлично понимая друг друга, все же не могут понять его, Бориса Митрофановича, и что он не может и не знает того, что есть в нем такого, что люди должны понять. И ему стало нестерпимо жалко себя. Он зарыдал. Фин подхватил его под руки, свел с крыльца, наивежливейше пожал ему руку и сказал, что просит зайти попозже, успокоенным.

Борис Митрофанович пошел. Но он скоро понял, что идет от своего дома в другую сторону, и это его огорчило, но не остановило, потому что чем он дальше шел, тем все легче и легче ему было. Он дышал быстро и ровно. Он на ходу отломил ветвь березы, но оторвать от этой ветки более молодые побеги было уже трудней. И он буквально их отвинчивал. Они были очень забавны, эти побеги, мягкие, налитые жизнью, молодые! И ему было и страшно, и легко, и смешно подумать, что он никогда уже не возвратится домой. Страшно,— ведь ему за пятьдесят!

Смешно, что к этому решению он пришел на пороге смерти. Легко,— так как в той иной жизни он даже и подумать бы не мог об уходе, а теперь он идет веселым в молодой и широкий мир!

Он шагал долго. Уже далеко остался позади город; уже давно с какой-то горы последний раз он увидал купол Христа Спасителя, похожий на золотой набалдашник трости, и обозы крестьян уменьшились, и реже стали попадаться деревни, и усталость стала овладевать им, и он обдумывал о ночлеге,— как его обогнал какой-то бродяжка, очень легкий по ходу, с припухшим и бородатым лицом и голубыми глазками. Бродяжка пропустил его, опять обогнал, закурил папироску, свистнул, высморкался и заигрывающе спросил:

— Куда направляетесь, дяденька?

— В Самару,— почему-то ответил Борис Митрофанович, и так как ему это слово понравилось, то он подумал: «А ведь, действительно, неплохо пойти в Самару. Город хлебный, течет там Волга, да и давненько он не видал больших, за зиму сияюще-отремонтированных пароходов, которые весной похожи на вставшие дыбом льдины, и дым их похож на остатки зимних метелей».

— В Самару,— повторил Борис Митрофанович.

Бродяжка кивнул головой и, тоже, должно быть, подумав, что Самара хороший город, добавил:

— Что же, и я, пожалуй, дяденька, могу направиться в Самару, а вот только...— Он прошел несколько шагов рядом и затем спросил быстро: — А вот только, много ли ты, дяденька, денег имеешь, чтобы с тобой идти не страшно, а то, знаешь, то-се, бандиты отберут!

— Полтинник имею,— ответил Борис Митрофанович.

Бродяжка подпрыгнул, обрадовался необыкновенно, полез в карман и, вытаскивая чудесно замасленный рубль, воскликнул:

— Ну, я же куда тебя, дяденька, богаче! Качаем, что ли?

И они шли, равномерно и весело раскачиваясь.

1930

ПОЕДИНОК

Подмосковная легенда

Странная эта картина висит в большом двусветном зале дома Гореловых. Я видел ее, когда огненно-желтый и сердитый закат заполнял своим странно струистым светом комнаты дома. Ликующий, торжественный свет этот создавал в сердце чувство обилия, плодовитости, даже излишности. Вот почему то, что рассказали мне об этой картине, не удивило меня.

Дом Гореловых стоит на холме, высоком и глинистом, спускающемся к пруду. Пруд вялый, коротенький, какого-то сивушного цвета и запаха. По одну сторону холма лежит деревня, по другую расположено ровное, без васильков и ромашек, поле, устало преющее под высоким и жарким солнцем. За домом виден парк. Он очень хорош.

Некогда в доме, у хозяйки его,— вдовы, красавицы и умницы, пять-шесть недель гостил величайший русский поэт, и здесь он написал несколько своих стихотворений, шаловливых, коротеньких, острых, словно писанных осокой... Вот эти стихи-то его и превратили старый дом в музей, остановили, словно заморозили, мебель, бросили на стены акварели и старинные портреты, развесили диаграммы, положили на столы, под толстые и непреложно историчные стекла, письма бабушек и дедушек... поэт недаром был проказник!

В узкой комнате, перед парадным залом, висит портрет офицера в гусарском мундире. Вы видите человека с чистым и ярким лицом, жилистого, с крепкой шеей, с большими глазами, не жгучими и не колючими, а теми глазами цвета египетской яшмы — светло-зеленой в красных брызгах, которые всегда указывают на упорный и настойчивый характер. Да и все — посадка головы, плечи, спелые губы,— все говорило: этот не из зерноядных. Поглядев на портрет, вы непременно пожелаете узнать: кто это такой? Вам назовут имя Ивана Евграфовича Горелова, и вам покажется, что ответ этот требует разъяснений.

Вы пройдете в зал и невольно остановитесь перед странной картиной. Вы подумаете, что есть какая-то пленительная и грустная связь между картиной и портретом Ивана Евграфовича. Вы угадали.

Идемте в парк, сядем на дерновую скамью на берегу пруда. Вылезут вечерние облака, усталые, видимо уже помыкавшиеся по свету. Пруд будет гореть и сиять, как будто впервые полюбил, а на хворостине пастуха, гонящего колхозное стадо, вы увидите такое сияние, словно он несет часть солнца, да и стадо будто намылено светом. И тогда провожающий вас, любуясь убранством пруда, вдруг скажет:

— Не вы первый удивляетесь странному сюжету картины, тем более, что художник, ее написавший, отличался всегда ясностью замысла. А тут что такое? Какой-то песок, камни, мелкий кустарник. На камне, должно быть, сидел воин, потому что возле брошены ножны меча, щит, плащ синий с серебряной каймой. На песке, по направлению к вам, отчетливо видны следы: задник сандалия глубоко ушел в песок, будто воин уперся, перед тем как выпрыгнуть... из картины.

Провожавший посмотрит на вас. Вы молчите. Вы немо ждете,— вечер такой, что для вас нет ничего удивительного в том, что воин ушел из картины... вы хотите только знать — почему? Провожавший поймет ваш стойкий интерес к рассказу. Он будет продолжать.

— И не вы первый находите нечто общее между картиной и портретом Ивана Евграфовича, хотя, казалось бы, что там общего: гусарский офицер и какой-то воин, существовавший полторы тысячи лет до этого гусарского офицера. Общее есть! Это общее... Но прежде — Иван Евграфович любил и был любим. Любила его Иринушка, впоследствии Ирина Матвеевна [1]. К сожалению, портрета Ирины Матвеевны не сохранилось. Говорят, есть акварель в Историческом музее. Бывал я в Москве, акварели не обнаружил. Была она красавица — вечно алчущий Иван Евграфович преклонялся перед нею.

Прапрапрадед мой Иван Евграфович, скажут вам, жил суетно, беспутно. Враки! Таким суетно всесокрушающим изобразили его и на портрете. А изображал его человек, который его не любил, как не любили его и многие прохвосты и взяточники. Иван Евграфович был страстный правдоискатель, и, отчаянно ища прав-

---

[1] Ошибка автора. Следует читать — Григорьевна. *(Прим. ред.)*.

ды, он доходил до неистовств, лютых и необыкновенных, вроде того, о котором я буду рассказывать.

Как офицер, он понимал, что правда требует оружия: это не красавица, что сражается мушками, налепленными по лицу. Вот почему был он дуэлянт,— но не «бретер»,— и если уж бился, так бился столь внушительно, что лицо противника «вылакировывалось», то есть покрывалось от испуга пóтом, через пять минут после начала поединка... И, как все увлекающиеся люди, он часто путал средства с целью. Карточную игру он считал тоже поединком.

Встретил подлеца, графа Глобского, думает: «Момент хороший, надо сразиться и отомстить графу на зеленом поле, потому что для него разорение горше смерти, наплевать ему, если я его убью!» Дело в том, что и Глобский и Иван Евграфович участвовали в одном сражении: при Нови. Суворов за умную храбрость похлопал Ивана Евграфовича по плечу, на Глобского и не взглянул — тот был хоть и храбр, но глупой, бестолковой храбростью. А нужно сказать, что у Глобского имелись в Петербурге, при дворе, друзья, которым он писал. Припомнил Глобский, что говорил Иван Евграфович непочтительные слова о любимце императора Кутайсове... и вместо награды получил Иван Евграфович внезапную отставку и приказание отправиться в свое имение.

Вот при таком-то состоянии и встретился, повторяю, Иван Евграфович, по дороге домой, в одном губернском городе, с графом Глобским, встретился, и мелькнула в нем коварная мысль: «Сражусь». Сразился. И — проиграл! Да и вдобавок так проиграл, что ни зерна не осталось. А проиграть не от беспутства, а от обиды гораздо тяжелее. Смертоносная злость овладела Иваном Евграфовичем. Притом же он не мог теперь исполнить повеление императора Павла: отправиться в свое поместье, поскольку он это поместье проиграл. Как быть? К друзьям приехать — испугаешь, опальный... одна надежда на невесту, на любовь, на Иринушку.

Иринушка звалась его невестой давно. Но, видимо, из-за несовершенства почты Иван Евграфович более полугода не получал от невесты писем. Он объяс-

нял это еще и малым количеством событий ее жизни, а во-вторых, искренностью ее чувств, что мешает, как известно, возможности их выразить. Подколодности ее родителя он и не подозревал, наоборот, родитель ее осуждал неметчину Павла и восхищался вдохновенностью Суворова, так и говоря:

— Он у нас малиновый звон славы россов!

Что такому человеку опальность, в которую ввержен Иван Евграфович? Беспечно посмеиваясь, велел Иван Евграфович слуге своему Трошке укладывать чемоданы и поворачивать в сторону, где жили родители Иринушки.

А беспечно посмеивался-то он напрасно! Григорий Григорьич сын Постников, отец Иринушки, к сожалению, проявил бесстыдную подколодность. Началась эта подколодность издалека. Был в нашем городе богатейший купец Кепинов, как оказалось позже, умалишенный, слабопамятный. Так вот, запутавшись в делах и желая выкрутиться, Григорий Григорьич попал в беду, да еще помог той беде советчик, некий прохвост Султановский. Как бы то ни было, Григорий Григорьич от имени купца Кепинова составил подложный акт, употребил его для своей выгоды, а Султановский и его приятели Тандырин и Калипаров ложно засвидетельствовали при свершении этого акта правоспособность купца Кепинова, который в это время лежал мертвецки пьяный и блеял по-бараньи. Неправоспособность Кепинова быстро открылась, равно и противозаконный акт, совершенный Григорием Григорьичем на старости лет... Конец! Следствие. Приговор. Канун гибели. От горя и стыда оплешивел Григорий Григорьич, ноги его стали дрожать, а в груди он чувствовал бесцельный гул.

Но вдруг в наружном виде его появилось большое изменение — и к лучшему. И в то же время образ Иринушки побледнел и осунулся. Знакомый офицер из армии Суворова сообщил Григорию Григорьичу о «некоем бесконечно огромном несчастии с Иваном Евграфовичем Гореловым», по всем намекам — опале. Григорий Григорьич, зная, что это только опала, домашним и дочери сказал, что — смерть, и подробно расписал причины дуэли, на которой погиб-де Иван Евграфович, и даже похороны его! Гасил он жизнь

Ивана Евграфовича потому, что хотел свою жизнь сделать неугасимой, незакатной, а для того, в частности, выдать красавицу Иринушку за богатейшего и, главное, влиятельнейшего барина нашей губернии Максима Петровича Устинского.

Иринушка, узнав о смерти Ивана Евграфовича, горевала сильно. Но горе при красоте как весенний дождь,— все медведи и все травы из берлоги лезут,— и появился возле Иринушки в алмазной одежде, трепещущей от страсти, Максим Петрович Устинский, голова которого хотя и успела вылыситься, но сердце не теряло надежд.

Превосходно, казалось бы, все идет? Дело о бесправности купца Кепинова внезапно повернулось в другую сторону. Вышло, что сам купец Кепинов ходил и лично являл акты и «никаких злоумышленных изменений,— как признало столичное начальство,— в них не допущено». И дальше то же крупное и спокойное начальство говорило, что «действия лиц, принимавших участие в составлении актов, не заключают в себе признаков подлога, предусмотренных статьями...» и что надо «приговор и все производство по делу купца Кепинова отменить». Его и отменили.

Судебный приговор легче отменить, чем любовь. И офицеришка, женишок этот, Иван Евграфович, исчез, помер, так сказать, и родители довольны, и невеста безмолвствует при виде нового жениха, безлучно улыбаясь... А родители и новый жених просто не догадывались, что Иринушка — упряма и с размышлениями, она если замашет крылышками, так полетит.

Размышления ее начались с грации. Тогда, знаете, во всем должна была существовать грация: и если уж бились на рапирах, так будто балет танцевали. Естественно поэтому, что жениха своего бывшего, Ивана Евграфовича, она видела во сне скачущим, подобно козочке, по виноградникам Италии и даже по Альпам, да вдобавок делающим вот этак своим эспантоном! Приснись ей и новый жених — в те времена женихи снились обязательно,— и приснись в таком неграциозном виде: он, знаете, идет из бани зимой, шуба внакидку, лицо багровое, и к уху банный лист прилип, а лакей, позади, несет веник. Тьфу!..

И вдруг замечают, что Иринушка зачастила в

церковь. А церковь была обычная. Попишка Игнатий был тихий пьяница, службу исполнял без особых дальних звезд и грации и больше все лежал у себя в огороде—зимой в баньке, а летом промежду грядок, «у грудей природы», как он говорил своим заунывно-семинарским голосом. Славилась церквушка началом иконостаса... именно началом. Светозарные руки его делали!

Максим Петрович Устинский при незакатном богатстве своем имел преклонение перед красотой во всех видах, в том числе ценил живопись, которую считал преобразователем человеческой породы. Желая невесту свою приобщить к сему преобразованию, он пригласил в усадьбу к Постниковым знаменитого в те времена, да и поныне, художника. Художник славен был кистью, славен был и резцом, особенно по дереву. Максим Петрович и закажи ему сразу иконостас — резной, золоченый, ласкающий душу и взор, а одновременно с тем картину «Георгий Победоносец накануне поражения дракона».

Георгия Победоносца издавна чтили у Постниковых, как и вообще на Руси, ибо был он покровителем Москвы, существовал, поражая дракона, на государственном гербе, а при царе Федоре Иваныче монету с изображением его для ношения на шапке или рукаве выдавали особо храбрым воинам, так что Григорий Григорьич, отец Иринушки, будучи отставным воином, естественно, должен был порадоваться случаю, что будущий зять придумал такую красивую картину, тем более что умерший якобы Иван Евграфович неслышно маячил в сердце старого вояки, как тот самый дракон, который опустошал землю и пожирал девиц и пожелал пожрать девицу — дочь царя, чему воспрепятствовал Георгий, поразив дракона рокочущим мечом своим.

Искусство требует внимания, как кристалл семигранника требует воды,— и не будь этой воды, кристалл не даст преломления света, не даст игры, если не рассыплется вообще. Так случилось и с художником. В этой глуши, в этой жалкой церквушке, для которой он резал иконостас, в этом провинциальном зале с задумчиво дрожащими полами он не видел вечных лампад внимания. Он затосковал! Он все

меньше и меньше принимал воды и все больше вина и все больше сваливал вину на грустный «сюжет». А что грустного в сюжете картины?

Знатный воин Георгий во времена Диоклетиановы приезжает и останавливается неподалеку от города, который опустошает дракон, так что царь и горожане принуждены отдавать ему на съедение детей своих. Назавтра надо отдать царскую дочь змию! Георгий обещал умертвить змия, а змий осьмиглавый, ловкий, сильный... И хотя воин был очень храбр, но, естественно, задумался. Сидит он на камне в пустыне, перед городом, и думает: «А если не выйдет? А если сила и вера мои слабы? Ведь раньше, когда я не был полным христианином, я дрался одним мечом и мог его в случае нужды перебросить в другую руку. Здесь же рука будет занята крестом!» — и тому подобное в этом роде, когда солдат размышляет перед сражением и ищет слабые места у себя и у противника... Размышления естественные. Что же здесь грустного?

Мне думается, что художник, до известной степени, образ дракона видел в Максиме Петровиче,— отчего и грустил. Я не хочу сказать, что художник полюбил Иринушку и желал быть до известной степени Георгием Победоносцем, нет,— художнику было за пятьдесят, а в таком возрасте не всякий гонится за романами. Так или по-другому, но Иринушка прочла симпатию в глазах художника и часто стала приходить к нему во время работы. Художник в то время больше думал о картине,— подмастерья его резали иконостас,— и в думах он многое рассказывал Иринушке о Георгии, и в частности, о том, как после поражения змия царевна на своем поясе привела его в город и как весь город перешел в христианство.

Выслушав, Иринушка сказала:

— Христианство — понятно. Но зачем ей такую пакость приводить в город? И... ах, как жалко, Николай Владимирович, что перевелись у нас Георгии! — И ей показалось, что Георгий, еще слабым контуром обозначившийся на полотне, несколько схож с Иваном Евграфовичем.

Видят домашние, что Иринушка перестала пламенно интересоваться миром,— другую ищет грацию.

Домашние огорчились, торопятся со свадьбой, а тут Иринушка вдруг да объяви, что уходит в монастырь, понеже «дракон мира сего гнетет ее»! Вот тебе и на! Родители рассердились, отец даже слегка погулял кулаком по ее лицу и бокам, но и это мало помогло. Иринушка уехала в монастырь и поступила на испытание. И вот в эти-то отчаянно грустные минуты, когда экипаж с Иринушкой въезжал в монастырские ворота и монастырские собаки подняли тусклый лай, и когда страстно ожидаемая тишина и благолепие осенили ее, и когда казначейша, рябая баба со шнуровой книгой в руке, почесывая бок, высунула голову в окно и спросила у кучера: «Чьих будете?» — вот тогда-то и прискакал в усадьбу к Постниковым, к отцу ее, к милой невесте, опальный офицер Иван Евграфович Горелов.

Прискакал, можно сказать, невинный ни в дожде, ни в засухе, а оказался причастным ко многому. Входит он в зал, где незаконченный Георгий: в лице некая дымка и нос утлый; художник собирает кисти: с отъездом Иринушки совсем опротивели ему эти места, и, не дописав картины, он решил покинуть их, сказав неопределенно, что вернется... входит, кланяется, смотрит искоса вверх, на лестницу, и все ждет выхода Иринушки, хотя за два перегона, еще на постоялом дворе, сказали ему, что боярышня-то в монастырь ушла. Он, конечно, взбесился. Как так? Письма писал любовные, с бесчисленными помарушками и скоблюшками, что доказывает, как известно, матерую страсть, подтверждал любовь и давал сроки, а тут — на тебе! — перед самым приездом и в обитель. Кто виноват? Никто, опричь родителей!

А родители стоят вверху и боятся спуститься по лестнице. Подойдут к ступеньке, а нога-то и не поднимается. Старуха прямо крестится: «Помяни царя Давида и всю кротость его», а старик расправляет грудь. Как сказать парню, что записали его в синодик и называли его усопшим и в дмитриеву субботу, и в фомин вторник, и в великий четверток? Ведь он может и спросить: «Значит, писем не получали? Как же такое, ведь почтмейстер мне говорил, что аккуратно вам письма пересылал?» И помилосердствовать некому будет, окажутся они великими и подлы-

ми скрывателями любви и честности! Плохо, плохо. А как дойти было до такого зломудрствования, что живого человека, хоть и опального, но все же офицера его строгого императорского величества Павла, вписали в поминанье, в синодик? Ах, как нехорошо!

Но был же старик в войске. Понюхал он трижды табачку, чихнул, велел кучеру Егору Крохалю, что не только двухпудовиком крестился, но и бросал его на пять сажен, стать возле парадного и ждать крика. Старик взял под руку старушку, и спустились они вниз. Но разговор неожиданно даже оказался кротким и почти милым! Иван Евграфович своей степенностью, знаниями, походами и знакомствами чрезвычайно понравился старикам, равно как и старики ему. Однако гордость не позволяла им сознаться в своем преступлении, да к тому же и медведь-жених с его тысячью душ не совсем еще отказался от невесты, а, так сказать, лежал подле жизненной межи, в овсах. Нельзя похвастаться, чтобы Иван Евграфович отличался проницательностью. Сидит он, смотрит на стариков и думает, что старики уже не в приводе невода ходят, не ведут его, а сами сидят, подобно пойманным рыбкам, в самой мотне!

Тряхнул он головой и сказал:

— Верю, что убит я и похоронен, потому что чувствую себя ужасно! Но ведь должны мои страдания уменьшиться, раз ваши увеличились. Келья — не Максим Петрович, а все же — келья...— И, впадая в злость, Иван Евграфович спросил: — Кто же ее соблазнил в монастырь?

Родители говорят, что художника кисть роковая,— кстати сказать, художник уже сел в тарантас и уехал. Иван Евграфович видел рябое и малоигривое лицо художника, — не приревнуешь. Он желал видеть кисть его! Ему указали на картину. Картина как картина. Сидит воин, смотрит на тебя в упор, думает о чем-то своем...

— Нет, не в картине тут дело! Вот, говорят, иконостас в церкви расписной, резной, золоченый... может быть, иконостас?

— Всенепременно, всенепременно: иконостас причиной! — восклицают родители, которым бы только его сплавить, ибо, увидев его горящие очи, опять пе-

репугались они и решили сбежать к неудавшемуся зятю Максиму Петровичу посоветоваться: как относиться к опальному офицеру? Есть он лицо неприкосновенное и государственное, или же разрешается его бить двухпудовым кулаком по шее и гнать вон?

И направился Иван Евграфович к попику Игнатию, чтобы с ним вместе пойти в церковь подивоваться на иконостас.

Идет он через парк, прямо по крапиве, и хоть он не дальновидец, все же понимает, что со стариками тут дело неладно, но из благородства и уважения к будущим родственникам своим старается подыскать им оправдание, снять с них некоторую тяжесть обвинения! И все-то он краешком где-то надеется, что зарученная девица будет при нем, и в мысль ему не придет, что родители тем временем, пока он шагает по парку, пишут письмо к... игуменье, чтобы Иринушку ни в коем случае не выпускали вплоть до самого скорейшего пострига... А был уже вечер, вроде теперешнего... очень теплый и хороший!..

Да, вечер был действительно замечательный. Он словно обижался на то, что вы так невнимательно смотрели на него доселе. Облака мощно расправили крылья, будто им было невмочь хранить в себе такую красоту — лиловую, розовую, палевую. Пруд лежал бледный и бессильный, как брошенный летчиком парашют. Берега его были как бы просмоленные. Пахло от них тягуче, тоскливо. Отпускали они эти запахи медленно, с неохотой. И вам подумалось, что, наверное, Ивану Евграфовичу было сильно тяжело и грустно невыносимо, когда он в последнем отчаянии поисков шел в церковь, зная, что тщетно это желание найти истинные причины ухода своей невесты.

Приходит он к попику Игнатию. Попишка, как всегда, спит возле своей баньки в лопухах, мухи спят возле его рта, попадья цедит молоко... Вот тут и разговорись! Однако Иван Евграфович несколькими бешеными словами пробудил попика. Тот, подавая ему ключи от церкви, сказал, зевая и вежливо закрывая свой рот листом лопуха:

— А ты, сыне, не на иконостас смотри, ты, сыне, воззрись на ту картину, на тот *его* лик, который побоялись поставить в церковь, а водрузили в зале.

Сказал и заснул.

Иван Евграфович — по неумолчной грызне мыслей — не обратил внимания на слова попа и поспешил в церковь.

В церкви было уже темновато. Трошка нес фонарь. Дошли почти до амвона. Должно быть, причт недавно служил — из церкви еще не вышел запах ладана, хотя сквозь открытые окна, через решетки, сильно несло сеном, стога которого возвышались возле парка. Иван Евграфович велел Трошке осветить иконостас. Дверь была открыта, но ничего, кроме легкого шороха на могилках кладбища, не было слышно. А кладбище было большое, хотя деревушка и не славилась величиной, но так уж повелось, что умирали и родились усердно, сколько ни казнили их бояре, голод да мор...

Стоит Иван Евграфович и размышляет, и мысли цепкие и свирепые. Трошка открыл фонарь, переменил свечу, утих и последний шорох, значит, и послезакатный ветерок прекратился. Равномерный свет лился из фонаря на иконостас, еще не позолоченный, а нежно-синеватый, будто весенние тучки.

Трепетно-жгучая рука вела резец. Упоительно нежны линии; пламенны, как долгожданная ласка, растительные орнаменты: виноградные листья, лилии и нарциссы; бурны провалы, где будут стоять образа... коварно сердце художника, далеко способно оно увести! И пожалел Иван Евграфович, что плохо присмотрелся к картине. И тотчас же вспомнил он слова попишки Игнатия. Захотелось ему обратно в зал, да ночь, да небось старики уже легли спать... Э, что тут старики?!

Иван Евграфович повернулся. Трошка за ним. Они вышли на паперть. Тишина безмолвным роем колких и прозрачных мыслей окружила его. Сквозь деревянную ограду видны были кресты кладбища, а за ними возвышались стога, как гигантские могильные холмы. Но не смерть жила у этих холмов, а жизнь. Возле одного стога кто-то довольно, и громко, и сладко посмеивался, — наверное, девка над парнем, и сено

шипело, задеваемое то ли плечом, то ли жердью, которой укрепляют сено от ветра. Жизнь нужна Ивану Евграфовичу, жизнь, которую можно взять только борьбой, хотя бы с самим Георгием Победоносцем!..

Трошка по-прежнему с фонарем, где теперь пронзительно и ярко горела свеча, стоял возле Ивана Евграфовича. Полукафтанье со сборками по бокам, даже и оно, казалось, изображало в нем внимание: он-то знал, насколько его барин отчаянный.

— Трошка,— воскликнул Иван Евграфович,— сегодня будем биться!

— А чего ж не биться, — ответил Трошка, — биться — оно хорошо: спать не хочется потом.

— Свети к дому!

Подходят к дому.

— Барин спит?

— Где там спит,— отвечает дворня,— уже час, как уехали.

— Куда уехали?

— А разве нам, холопам, докладывают, куда они уехали; запрягли тройку самых рьяных и уехали.

— Так?

— Так, Иван Евграфович,— ответила дворня почтительно, уважая величавость его.

— Свети в залу! — закричал Иван Евграфович и ринулся в зал.

Подошел он к полотну. При узорном и шатком свете фонаря лицо воина показалось ему довершенным,— и даже сверх того. Какой великий талант у этого рябого и скучного на вид человека! Днем лицо бесстрастно и грубо, а вечером, когда как раз соблазняют девушек, оно благоуханно и сочно. И никакой кротости!

Со всей учтивостью, на которую он был способен, Иван Евграфович приблизился вплотную к картине и проговорил:

— Ваше сиятельство! — Он не мог обратиться с более высоким титулом, потому что артикул не позволял ему вызывать августейшую особу, но с сиятельствами он дрался не раз.— Ваше сиятельство, Георгий! Вы взяли у меня непорочное существо... Вы некоторым образом обольстили его, зная, что вы безнаказанны. Но, поставив вас здесь, а не в церкви,

художник придал вам светскость. Поэтому я поступок ваш считаю непозволительным!

Призрак на полотне смотрел на Ивана Евграфовича вдохновенными и вещими глазами и молчал. Иван Евграфович не отличался сложностью и витиеватостью речи, но он верил в ее волчью выразительность.

— Ваше сиятельство,— продолжал он,— вы погибли при Диоклетиановом гонении, промучившись восемь дней. Зачем же вы заставляете мучиться других? Что в этом вы находите прекрасного? Чем виновата дщерь дома сего?

Несмотря на некоторые славянизмы, которыми Иван Евграфович думал тронуть призрак, полотно по-прежнему молчало. И тогда Иван Евграфович заговорил еще более резко:

— Вы, ваше сиятельство, признаны покровителем Москвы. Вы топтали татар, ляхов, литву, вы помогали нашему отечеству. Ради отечества, я, ваше сиятельство, уже участвовал в трех сражениях и трижды ранен, последний раз при Нови. Ваше сиятельство! Сквозь огонь ран я вижу нового врага, который — не дай бог...— может приблизиться к защищаемой вами Москве. Я говорю о Наполеоне, ваше сиятельство, с которым я сражался! И меня, защитника Москвы, вы, ваше сиятельство, изволили кровно обидеть: увели в монастырь девушку, невесту. Если вы действительно Егорий Храбрый, то так храбрые люди не поступают! Я недоволен вами, ваше сиятельство, прошу меня простить. Я — грешен, я, может быть, за эти слова буду в аду, но я недоволен вами, ваше сиятельство!

Призрак безмолвствовал. Ивана Евграфовича это начало уже сильно раздражать. Он наклонил лобастую упрямую голову и зарычал. Дело в том, что он хотя и служил в кавалерии, но если приходилось говорить, то речь его пестрила теми терминами, которыми так славятся моряки, поносся непокорное море и малопокорные обстоятельства. Пошатываясь от возбуждения, он кричал:

— Да, сударь! Я не позволю тебе так тускло смотреть на меня. Я тебя так оскорблю, что вся твоя кротость слетит, как полива с горшка!

Он достал перчатки и поспешно натянул их на руки, с тем чтобы снять перчатку и ударить противника по лицу, потому что кулаком бить по картине не по-рыцарски.

— К барьеру, сударь, к барьеру! — сказал он, взмахивая перчаткой.

И вдруг Георгий весь покрылся краской, привстал с камня и сказал:

— Впервые такого дурака встречаю. Почему так бранитесь, сударь? От десятка ваших слов я был бы уже у барьера. Где ваши секунданты? И где шпаги?

— Трошка, беги за шпагами! — сказал обрадованный Иван Евграфович.— И зови того лысого чиновника с шишкой под ухом, с которым мы в трактире познакомились. Да и того дворянина, у которого на левой руке мизинца не хватает. Он, по всему видно, человек музыкальный! Скажи, долго морить не буду, помутится вода с песком, поляжет противник вверх дном.

— Увидим, сударь, увидим! Зачем хвастать? — сказал Георгий, с удовольствием расправляя ноги и руки и разглядывая фонарь, который Трошка оставил, убегая за секундантами.— Вообще замечу вам, что вы многословны и любите преувеличивать. Скажите на милость,— я не в оправдание свое говорю,— зачем мне нужна ваша невеста? Монахиня из нее будет плохая,— все о женихе да о женихе, . да и к тому же характера она сварливого.

— Кто? Иринушка — сварлива? — в крайнем негодовании воскликнул Иван Евграфович.— Сударь, за это вы мне ответите еще фунтом мяса!..

— Увидим, сударь, увидим.

Георгий Победоносец был невысокого роста, в синем нарядном плаще, стянутом тонким металлическим ремнем. Говорил он несколько простуженным голосом, и, видимо, его терзала чуть ли не невралгическая боль, а может быть, и на камне ему надоело сидеть. Он ходил мелкими шажками по ковру посредственной работы, пересекавшему зал. Ему, видимо, очень хотелось поговорить, но так как перед дуэлью противники должны молчать и даже не глядеть друг на друга, то он ходил молча по одной стороне ковра, а Иван Евграфович, тоже молча, по другой.

Трошка вернулся быстро. Он настолько привык к поединкам, что для него схождение Георгия с картины нисколько не казалось удивительным, и он даже не ссылался на это странное происшествие, когда будил мертвецки пьяного чиновника и дворянина с отрубленным мизинцем. Трошка сообщил, что он кричал ревом, но дворяне спят, и вообще все село спит, и секундантов достать неоткуда! Тогда Иван Евграфович волей-неволей обратился к своему противнику:

— Может быть, вы, ваше сиятельство, сочтете возможным пригласить одного из своих соратников? Я же обойдусь без секунданта.

— Вы, сударь, плохо разбираетесь в обстоятельствах, благодаря которым я имею честь не только беседовать, но и драться с вами,— сказал Победоносец.— Разрешите несколько подробнее остановиться на них. Почему я здесь? Почему я откликнулся на ваши слова? Почему сошел с полотна? Это происходит редко и только тогда, когда великий художник ошибочно отказывается от образа, им почти созданного. Тогда жизнь — воплощением которой в данный момент явились вы — призывает *и воплощает* нас, художественный образ! Непонимание художника, отказывающегося от своего замысла, и внимание жизни, верящей в осуществление этого замысла,— таков закон, благодаря коему мы, дети полуискусства, полужизни, являемся в мир, дабы помочь людям. Согласный с Аристотелем, философ Теофраст,— не знаю, как вы, а я его, между прочим, ставлю очень высоко,— кроме нравственных добродетелей, признает еще и умственные. Тем естественнее имеющееся в его «Этике» место, что он созерцательную теоретическую деятельность ставит на более высокую ступень, чем практическую. Или возьмем Фому Аквината. Он видит следующие потенции души: «растительные» (vegetativae)...

Иван Евграфович не силен был в теоретических науках, но сердцем он чувствовал: здесь что-то неладно. Надо сражаться! Умствования призрака действовали на Ивана Евграфовича расслабляюще, да к тому же он явно увиливал: не желал сказать — каким путем, в случае поражения, он намерен возвратить Ивану Евграфовичу невесту.

— Тогда придется делать дуэль без свидетелей, ваше сиятельство,— сказал Иван Евграфович.— Но даю слово, что никогда ни одного дуэльного правила не преступал. И не собираюсь делать то и сейчас.

— Без свидетелей я даже предпочитаю,— сказал Георгий, сбрасывая плащ — шелк дымчат и голуб,— и плащ этот пал на камень картины, где и застыл мазком живописца!

Трошка зажег огарки, достал бинты и корпию — он умел слегка лечить, а коней лечил уже совершенно — и, прислонившись к стене, стал ждать результата. За своего хозяина он не беспокоился, хотя противник, сбросивший плащ и оставшийся в коротенькой серой рубашке, казался очень ловким и сильным. «Ишь вылизанный какой монах-то,— думал Трошка, ковыряя пальцем в ухе,— с таким придется барину помаяться. Ну да мы тебе кишки вынесем!»

Противники разошлись на позиции и встали в те грациозные позы, которые требовались временем. Затем Трошка дал знак, и они понеслись друг на друга. Георгий атаковал Ивана Евграфовича со свирепостью и силой, совсем неожиданной, так что одно время казалось, что шпага его уже изловила сердце Ивана Евграфовича. Но Иван Евграфович был силен не только в нападении, но и в обороне, исконном искусстве московитов. Обороняясь с толком, не торопясь, он быстро разглядел фехтовальную слабость противника. Георгий, видимо, давно не упражнялся и поэтому стремился взять решительностью и набегом. Он долго сидел на камне, мускулы у него слегка залились жирком, и как только Иван Евграфович стал ловчиться, вызывая в нем побольше движений да притом в разные стороны, то Георгий уже и задыхаться начал, уже и лицо его покрылось потом. Тогда-то Иван Евграфович бросил оборону и перешел в нападение! Через полчаса или несколько более Георгий явно ослабел и оглянулся, ища взором картину.

«Ага! — подумал с некоторым злорадством Иван Евграфович.— Девок отнимать — так вы умеете, а сражаться — так и на картину посматриваете? Удрать? Нет, в картину вам удрать не представится случай!» И Иван Евграфович стал спиной к картине, с тем

чтобы отрезать противнику все пути к бегству. Георгий понял его маневр и, даже крикнув от ярости, напал на него. Иван Евграфович доблестно выдержал атаку, все время подставляя глаза Георгия под свет свечей, которые и светили-то теперь как-то особенно чисто. Он то отскакивал в сторону, как бы пропуская Георгия к картине, то делал такие движения, в результате которых противник кричал:

— Есть укол!

А Иван Евграфович отвечал обычной шуткой дуэлянтов:

— Есть укол, да у твоей бабушки!

После одного такого восклицания Георгия, в результате которого Иван Евграфович назвал его «криксой», то есть плаксой, как называют ребенка, который много кричит, Георгий, чувствуя, по-видимому, особенную ярость, подпрыгнув, ринулся на Ивана Евграфовича. И тогда с необычайнейшим наслаждением Иван Евграфович направил шпагу навстречу, как раз против сердца противника, и напружинил руку! Щелкнул шелк. Георгий охнул. Но шпага пронзила пустое пространство! Тем не менее, вполне уверенный в своей победе, Иван Евграфович воскликнул:

— Никому, даже самому богу, я не позволю увозить мою невесту!

И тут он услышал необыкновенно широкий и пышный голос, который, несомненно, принадлежал Георгию, но как он отличался от прежнего его голоса: рыхлого и пухлого, как пирог! Пламенный, как лобзания, и гордый, как лоб мудреца, голос этот потряс сердце Ивана Евграфовича, бурей и громом гремел он!

— Иван Евграфов, смертный! Дерзка и безумна твоя доблесть. Но чудная добродетель сделала ее непобедимой. Иван Евграфов, ты прав. Звуки боя, боя за Москву, призывают меня! Слышишь?

Послушал Иван Евграфович: ничего теперь не слышит, да и то, что слышал прежде, кажется ему невероятным. Наклонил он голову, перекрестился: «Свят, свят...» На кого осмелился поднять шпагу? На Георгия Победоносца! Кого осмелился учить и кто признался, что учение правильное?! «Свят, Свят!..» Посмотрел Иван Евграфович и видит, что

в зале никого нет, что Трошка поправляет свечу в фонаре и, что самое главное, нет воина на полотне, будто и не было никогда...

Иван Евграфович вытер шпагу. Страстное смущение чувствовал он. Что за слово сказал, уходя, Победоносец? Ведь не о невесте были слова, а о Москве? Выходит, что Георгий Победоносец загулялся где-то в стороне, загляделся, а грешный Иван Евграфович направил его на путь верный. Так ли? Имеет ли на это право Иван Евграфович? Или три раны, полученные им, дали ему право? Или триста тридцать три тысячи слез, пролитых после того, как дикой волей императора выброшен он из полка и отправлен в опалу?.. Скромен был Иван Евграфович и от скромности совсем смутился.

Тем не менее, вполне уверенный в своей правоте и в благополучии всего дальнейшего, Иван Евграфович с полным наслаждением вернулся в трактир, нашел на сеновале лысого чиновника и дворянина, того, который имел отрубленный мизинец, растолкал их и сказал: «Дивный был поединок»,— на что помещик с отрубленным мизинцем издал вздох, несколько похожий на вздох мохового болота, где, скопившись, столетние газы выйдут через окно и вздохнут так, что вековые деревья всколышутся, подобно былинкам! Чиновник же с шишкой под ухом взвизгнул, как железная кровать, когда на нее ложится малое дитя. И затем оба они заснули, не спрашивая объяснений, приятнейшим, хотя и вспугнутым сном. Заснул и Иван Евграфович. Во сне он видел цветущие вишни и больших, с воробья, монастырских мух.

Утром, совершенно уверенный в успехе, Иван Евграфович уехал в город, с тем чтобы на последние деньги купить подарки невесте. И точно: он не ошибся в своем предвидении. Дней через пять пришло письмо от родителей Ирины Матвеевны. Они сообщили, что Иринушка возвратилась из монастыря и что нельзя ли поспешить с браком, чтобы прекратить разные там разговоры? Иван Евграфович не обижался и поскакал к будущим своим родственникам. Свадьба состоялась. Пел губернский хор, свадьбу правил сам архиерей, посаженным отцом был Максим Петрович Устинский... Почему такие перемены?

А перемены с того, что волею судьбы и шпагой гвардейцев убит был свирепый император Павел, и все колесо фортуны, как всегда беспечно смеющейся, повернулось обратно.

Гремел хор. Дворяне готовили поздравления, а Иван Евграфович глядел на лицо невесты и вспоминал слова Георгия: сварлива, сварлива! Да и точно, сварливой оказалась Иринушка, так что вскоре же после свадьбы сел Иван Евграфович в коляску и ускакал в Петербург, а оттуда в свой полк. Одного ему хотелось вместе со всеми — злодея побить. «И то будет!» — говорил он всем уверенно, впрочем не сильно доказывая свою уверенность, да и кто ждал от Ивана Евграфовича теоретических доказательств? Храбрый вояка, честнейший человек, сын отечества, и хорошо.

Разумеется, когда открывалась бутылка, Ивану Евграфовичу хотелось поделиться теми удивительными событиями, которые случились в его жизни. А как расскажешь? Дети и те не поверят, что вызвал он на дуэль картину, сражался с фигурой из той картины и та фигура была побеждена и ушла с предсказаниями. Молчал Иван Евграфович. От того молчания при выпивках признали его неудачным собутыльником, и был приглашаем он редко. И когда звенели стаканы и слышались песни, а Иван Евграфович оставался один, он скучал, требовал к себе Трошку и приказывал ему вспоминать, как они бились в зале, в имении, ныне называемом Гореловка, и с кем бились. Трошка, по лености ума, путал многие поединки, и потому рассказ его не блистал звездами. Иван Евграфович плевался и говорил:

— Пустой ты, Трошка! Такое нам отверзлось, а ты не чувствуешь на себе влияния.

Трошка молчал. Иван Евграфович приказывал стелить постель, закуривал трубку перед сном, а затем засыпал, и сны ему виделись ослепительные и нежные.

В 1812 году среди множества храброго российского народа Иван Евграфович пал в бою за Смоленск.

Кончилась война. Изгнали врага.

Опираясь на плечо старого слуги Трошки, грустная вдова воина, имея по одну сторону сына, по дру-

гую дочь — вылитую Иван Евграфович,— подошла к святому и скромному гробу его, что лежит на одном из смоленских кладбищ. Благочестиво зря сей залог любви к отечеству, предалась она воспоминаниям.

И тут-то услышала она повесть о поединке из уст Трошки. Тихо прослушала ее и затем сказала:

— Поборай по господе, и господь поборет по тебе. Горд был покойник, да простится ему грех этот, и напрасно ты, Трошка, вспомнил сей сон! Забудь его, и вы, дети, забудьте, как забыла его я.

Но дети не забыли, и тонко трепещущая их память понесла по годам легенду о том, как офицер в опале Иван Евграфов сын Горелов сражался с Георгием Победоносцем и победил Георгия, зане был прав, правдолюбив и чтил славу отечества. Всё.

1940

СОКОЛ

Возле кички, ближе к носу ладьи, обдуваемые теплым низовым ветром, сидели на жердях государевы сокола. Воевода Одудовский, плывущий в Астрахань, должен был отправить их далее, в дар персидскому шаху. Подле птиц постоянно дежурили ловчие, а поодаль, у борта, красовался стрелец в ярко-зеленом кафтане. Изредка стрелец выходил на кичку — настил из досок за бортом, откуда судовая команда отпускает и поднимает якорь,— и тогда стрелец видел в блеклых волнах оранжевую русалку с загнутым хвостом, нарисованную на «скулах» судна, белую резьбу по борту, квадратный и низкий парус, флюгер на мачте, длинную алую ленту под ним и вверху вырезанного из листовой меди архангела Михаила, трубящего в трубу благополучие и счастье путникам.

Трюм государевой ладьи был туго набит кипами мехов, кои надлежало обменять у персидских купцов на крупный, рассыпчатый рис, на сладкие да пахучие сушеные фрукты, на тонкие разноцветные шелка и на редких прирученных зверей, которых так любил царь Алексей Михайлович. Кроме тех мехов, в трюме лежали ядра и порох для астраханского войска. Лежала и обильная снедь воеводская, так как воевода

плыл не один, а с женой да двумя дочерьми, которых показывал Москве в чаянии женихов. Женихов не нашлось, боярыня сердилась, боярышни капризничали, как малые детки, а веселому умному воеводе все было нипочем. Дородный, смеющийся, румяный, в белой длинной рубахе из индийского шелка и в лазорево-синих атласных штанах, ходил он по судну и веселил всех.

Старался воевода развеселить и тех иноземцев, которых государь повелел доставить в Персию, ибо оттуда собираются они пробраться к себе в затейливую и ученую Флоренцию. Иноземцам — страшновато. Путь домой через Волгу, Персию или Турцию — далекий и неверный, а что поделаешь?.. Другие пути, в тот 1664 год, еще более неверны. Через Польшу? Дороги туда забиты русским войском, сама Польша горит внутренними беспорядками, русские осаждают Глухов, шутит в степях гетман Тетеря, и непонятно, к кому он хочет: то ли к московскому царю, то ли к польской республике. Через север? Куда там. В Швеции — смута.

Иноземцев плыло на судне шестеро. Старшего из них звали мессер Филипп Андзолетто, его правую руку — Мальпроста, остальные были помощники в работе да слуги. Работали иноземцы в Москве золотую кожу да мебель и, наработав достаточно мехов и монеты, затосковали по дому. Особенно тосковал мессер Андзолетто.

Мессер Филипп — согбен, с красными, воспаленными глазами, и оттого кажется он чересчур старым и жадным. Мальпроста — высок и строен, потертый шарлахово-алый кафтан лежит на нем ловко, мягкие кисти его рук белы, и он ими гордится, стараясь прикоснуться до всего, что попадается на глаза. Он — удал, ловок на разговор, на охоту, на обольщение,— и женщины любят обольщаться им. Оттого мессер Филипп считает его хитрым и двоедушным, а держит при себе лишь потому, что — золотые руки. Филипп Андзолетто сгорбился на непрестанной, бессонной работе и на ней же испортил глаза; как ему бы, казалось, не ценить того, кто так несравненно умеет делать золотую кожу и драгоценнейшую резную мебель.

А как ценить, если у тебя молодая жена и сердце твое молодо?..

Август выдался строгий, сухой. Словно что-то требуя, резко и неуклонно дул с низовья встречный ветер-лобач. Судно двигалось мешкотно навстречу грузной, пепельно-серой волне. Река омелководела, было много перекатов. Мужичья лямка не помогала, и в бечеву впрягали лошадей. Лошади тянули до тех пор, пока перед носом судна не образовывались груды песка, которые мужики и разгребали лопатами. Иноземцы шли тогда к носу судна, ждать, когда оно тронется.

Они с грустью глядели на пепельно-серые копны мокрого песка, медленно тающего в воде. Путь домой казался теперь особенно долгим. И, понимая их тоску, подходил к ним воевода Одудовский.

— Поесть-попить, люди добрые, не желаете ли? — спрашивал он радушно.— Брага есть, мед? Да и я с вами выпью!

Мессер Филипп сказывался недомогающим, а Мальпроста всегда соглашался. Накрывали стол. Слуга лил брагу в кубки. Воевода поднимал кубок за здравие гостей и, указывая на государевых соколов, говорил:

— Хороша охота? Приедете в Персию, шах покажет вам этих птиц в деле. Я бы тоже показал, но приказано держать их на жерди, смирно.

— Персы — грабители и обманщики,— возражал Андзолетто.— Они нас обдерут и убьют, где там, синьор воевода, видеть нам соколиные охоты.

— А по-моему, милый учитель,— говорил Мальпроста,— синьор воевода прав. Персы чтут искусство, а равно и людей искусства. Мы сделаем красивое, обитое золоченой кожей седло для шаха, и он покажет нам свою соколиную охоту. И повелит проводить нас тихими дорогами вплоть до нашего родного моря!

На лице у мессера Филиппа появлялась такая скука, что воеводе Одудовскому делалось не по себе, и он, взяв кубок, отходил к соколам. Он слегка поднимал кубок, как бы за здравие этих прекрасных государевых птиц, и обращался оттуда к иноземцам:

— Жаль, мессер Филипп, что ты презираешь охоту. Ты бы порадовался и возликовал душою, глядя на

этих кречетов. Смотри, как они атласно-белы! Они будто сами собой, во славу бога и спасителя нашего Иисуса Христа, испускают из себя свет. Эти кречеты, мессер Филипп, родятся у нас на севере, и нигде больше! Посмотри на этого, третьего с краю, в синем колпачке. Он весь цвета белого рога, и даже у нас, на Руси, он считается за редкость.

— Слава, слава государю, вырастившему такого сокола! — воскликнул Мальпроста.— Ах, имей я эту птицу, я бы гордился ею, словно архангелом!

— Тьфу! Тьфу! Надо, Мальпроста, гордиться добродетелями, а не птицей,— говорил мессер Филипп, сверкая красным своим глазом.— Чти ранг человека, а не ранг птицы.

— Выше всего я чту ранг красавицы, дарящей меня любовью, затем — ранг короля, которому я делаю мебель и который мне платит исправно, а затем — ранг птицы, подобной этому кречету! — восклицал Мальпроста.

А мессер Филипп шептал молитвы. Он не желал слушать нечестивые речи, затрагивающие его и без того затронутую тайными помыслами душу. Ибо, глядя на волны, он смущенно переводил свой красный, воспаленный взор на прибрежные пески. Но и пески,— да простит господь бог грехи наши! — но и пески лежали волнами, напоминали ему о прелестях его молодой жены. «Вси бо предстанем судилищу...» — бормотал он и не находил сил окончить молитву. Его тянуло — стыдно сказать! — к Мальпроста. Хотелось узнать мысли помощника, а главным образом те, которые относились к молодой жене, к волнующим ее прелестям... «Вси бо предстанем судилищу...»

Судно, содрогаясь, заскрежетало по песку. Внизу, в трюме, что-то упало. Сокола на жерди затрепетали крыльями. Выплеснулась брага из кубка воеводы... Значит, опять вышли на прямую, глубокую воду, на плес.

— Обрыв видите? — спросил воевода.

— Видим, видим,— отозвался Мальпроста.

— Обрыв кончится, начнется село князя Подзольева. Богат князь! Много медов, да и романея водится. Хлебосольный, хоть и с придурью. Да вам небось

с тоски да устатку на любую придурь весело посмотреть?

Стол убрали. Судно готовилось к причалу. Воевода пошел переодеться. Иноземцы остались одни.

Шли вдоль высокого светло-оранжевого обрыва. Обрыв весь в точках, норках. На обрыве — погост с тускло-сумрачными крестами и церковь грубой работы. Значит, верно, скоро село. Сел попадалось много, и мессер Филипп привык к ним. Не удивляло его и богатство, не удивляла и боярская придурь; видывал он и расписные хоромы князей, подражавших Коломенскому дворцу, видывал он и бедные хижины крестьян. Что ему княжья придурь? Он хочет домой, во Флоренцию.

Разве он не заработал ту пору, когда можно жить и не покидая прекрасных берегов Арно? Во Флоренции, неподалеку от главного моста, некий Каппиччо продает гостиницу. Дом этот хорошо посещается, так как стоит в центре города. Хватит ему золотить кожи, он хочет позолотить свое сердце! Он передаст Мальпроста мастерскую кож и мебели и, таким образом, избавится от его лисьего взгляда, который делается совсем душным, когда тот глядит на молодую жену хозяина. Мессер Филипп не допускал мысли об измене жены, но он знал, что такое годы. В его годы жениться — это все равно что призывать дьявола в полночь. Тьфу, тьфу!.. Мессер Филипп незаметно перекрестился и пообещал к тем мехам, что он вез для вклада в монастырь, прибавить еще бобровый мех для приора...

— Дорогой учитель, знаете ли вы, на какую придурь князя Подзольева намекал воевода?

— Нам уже не любопытна московская придурь,— сказал строго мессер Филипп.— Пожалуй, нам пора подумать о персидской.

— О, напрасно, мессер Филипп! Только жирный, самонадеянный воевода способен назвать любовь придурью. Любовь — жизнь! Жизнь — любовь. Так думает весь мир, и русские в том числе.

Прохаживаясь по палубе, они остановились возле жердей, где сидели сокола с «опутенками» на лапах и с клобучками из мягкой кожи, закрывающими глаза, чтобы до самого «пуска» не видали они птицы.

Мальпроста, любуясь на кожу клобучка, что поднималась и падала возле отверстия, прорезанного для дыхания, сказал:

— Читали вы, синьор учитель, книгу «Декамерон» некоего флорентинца Боккаччо?

Мессер Филипп сухо ответил:

— Вздорная и пустая книга. Мессер Боккаччо написал ее вскоре после чумы,— да избавит нас господь от нее впредь! — после чумы, свирепствовавшей в нашем великом городе. Ему б следовало написать книгу смиренную и богоугодную, а он поступил постыдно. Весь его «Декамерон» повествует о том, как жены наутек, подобно зайцу от собак, убегают от своих обязанностей, а монахи... тьфу, тьфу!.. Однако, Мальпроста, я, как справедливый человек, отдаю ему должное. Боккаччо раскаялся и написал позже «Корбаччо», книгу, наполненную почти аскетической ненавистью к женщине. Да будут прощены грехи его и да будет принята мирно душа его на небеса!

— Синьор учитель! Аскетические добродетели невыполнимы. Человек имеет право на любовь...

Мессер Филипп рассвирепел:

— Кто тебе сказал эту глупость?

— Глупость? Это — правда, синьор учитель! Она повсюду в воздухе. И даже здесь, в этих диких лесах, рождающих кречетов, в этой жадной до денег и почестей Московии. И в доказательство я расскажу вам о князе Подзольеве, историю любви которого узнал случайно. Но прежде всего прошу вас, учитель, вернуться к книге достопочтенного поэта Боккаччо, к «Декамерону». Помните ли вы, мессер Филипп, новеллу о соколе?

Мессер Филипп сказал, что, чем он будет запоминать гадости, лучше пусть ему отрежут руку. Мальпроста воскликнул:

— Новелла совсем не гадка, мессер! Это возвышенный пример любви, рассказанный с таким же мастерством, с каким мы делаем наши милые кресла и золотим наши дорогие кожи. Синьор Боккаччо рассказывает о некоем кавалере, долго и бесплодно ухаживавшем за одной прекрасной дамой. В любви к последней он прожил все свое имение и стал беден. Но он продолжал вздыхать по ней и плакать. И от всего его

имущества, некогда принадлежавшего ему, у него остался лишь сокол, при посредстве которого, думаю, кавалер и добывал себе пищу. Он любил этого сокола безмерно. Так безмерно, что дама, насколько я понимаю душу дам, дама позавидовала этой любви. Однажды кавалер посетил даму. Как всегда, он стал говорить ей о любви. Она, смеясь, сказала: «Кавалер! Если вы желаете доказать мне свою любовь, заколите вашего сокола и — съешьте его!» И, что вы думаете, синьор учитель? Кавалер зарезал свою любимую птицу. Зажарил! И он съел своего сокола, о великий боже!.. Но, что более удивительно, дама, дотоле непреклонная, полюбила кавалера.

Мессер Филипп Андзолетто сказал, что по-разному можно относиться к поступку кавалера, но нельзя отказать ему в том, что он последователен. Книга же Боккаччо безнравственна. И, поджав губы и с усилием подняв голову, мессер Филипп посмотрел на берег реки осуждающим взглядом.

Ладья пристала к берегу. Упал с шумом парус и «гай», стая грачей поднялась с соседнего гумна. Судовая прислуга выбросила жалобно поскрипывающий трап. Вошел посланец князя, поклонился воеводе и сказал, что, прослушав обедню, князь Подзольев прибудет на судно, чтобы пригласить воеводу и гостей откушать хлеба-соли.

А на берегу, в рваных портках из дерюги, вывернув ладони и широко расставив босые, с большими пальцами ноги, стоял огромный седой мужик, один из крепостных князя. Насупив брови, напряженно глядел он на судно, на иноземцев, на соколов государевых, на государева стрельца в зеленом кафтане. По-детски неразумно и опасливо посматривал он: как бы не сглазили эти тонконогие иноземные черти, как бы не нанесли порчи? Уйти б, а уйти не хотелось. Мужик был говорлив, и казалось ему, что без его рассказов осиротеет свет...

Мессер Филипп глядел на берег, на седого великана-мужика, и грезилась ему Флоренция, мост через Арно, гостиница некоего Каппиччо. С узкого балкона ее слышны и крики ослов на мосту, видны и лица погонщиков, их хворостины, а того ясней видно сейчас плотное тело его молодой жены, видно, как она

юлит юбкой туда-сюда... Ах, какая ребяческая, какая горькая тоска на сердце и как далек еще путь до Флоренции!

— Вы хотите слышать продолжение истории о соколе, мессер Филипп?

«Ах, этот Мальпроста! Ему б только любоваться на женщин и болтать о соколах. На московском сильном хлебе и дешевом мясе он располнел, стал розов и румян, окаянный Мальпроста!..» — подумал мессер Филипп.

— Какую еще историю?

— Историю удивительную, синьор учитель.— И Мальпроста продолжал: — Продолжение ее произошло триста лет спустя после того, как появилась книга «Декамерон» прославленного синьора Боккаччо. Из этого я вывожу то положение, что искусство более бессмертно, чем какой-либо дворянский род.

— Когда ты станешь дворянином, Мальпроста,— да поможет тебе в том бог! — ты будешь думать по-другому.

— Кто знает... но вернемся к князю Подзольеву, учитель. Вон его хоромы. Они велики и обширны. Велико и обширно все имение князя. Он горд под старость, а еще более горд, говорят, был в молодости. Он гордился своим умом, своей охотой и с большой торопливостью высказывал свою гордость. К тому ж отец его сильно увеличил богатство, а сестер и братьев у него не было, и, когда старый князь умер, синьор Юрий Подзольев остался единственным наследником. Он не знал, что делать со своими бесчисленными имениями и громадными капиталами. Представьте, синьор учитель, крышу, у которой нет стропил, нет тех самых бревен, которые всегда и везде служат основанием крыши.

— Бог — основание крыши нашей жизни, равно как и основание всего дома,— сказал, крестясь, мессер Филипп Андзолетто, одновременно стараясь отогнать воспоминание о крестном знамении, которое так плавно и красиво творит его молодая жена.

— Но ведь вы сами, синьор учитель, говорите, что схизматики отвернулись от истинного бога? Следовательно, князь Подзольев вдвойне не имел стропил. Но князь был удал, он настойчиво искал,— и вот он

встретил вдову боярина Мышарикова, очень богатую и очень степенную женщину, посвятившую себя после смерти мужа делам благотворительности и религии, тем более что детей у нее не было. Ей он бросит свои деньги! К ногам ее!.. Жениться на вдове, как вам известно, мессер Филипп, считается зазорным у русских. Но страсть настолько поглотила князя Подзольева, что он желал только этого зазорного поступка. Вдова плохо верила в его любовь. Прошлое растрясло ее, словно дурная дорога. Редко удавалось князю поговорить с нею. Подарков она не принимала. Князь Подзольев худел от любви, заперся в своих хоромах... И великие деньги оказались ненужными.

— У варваров,— сказал мессер Филипп,— любовь принимает грубые формы.

— О синьор учитель! — воскликнул Мальпроста.— Я рассказываю вам пример, доказывающий, что любовь одинакова и в теплом и в жарком климате, и на берегу Арно и здесь, на берегу Оки. Князь Подзольев умирал от любви. Царь московский Алексей Михайлович, вы знаете об этом, мессер Филипп, очень любопытен к жизни своих подданных, и он не замедлил узнать о затворничестве князя Подзольева, хотя и не знал причины этого затворничества. Царь уверен, что все болезни можно излечить охотой — и особенно охотой соколиной. Кроме того, царь уважал заслуги покойного старика Подзольева. И царь прислал в дар молодому князю любимого своего кречета. Редчайшего белого кречета, синьор учитель! Молодой князь, получив подарок, подумал, что надо показать его прекрасной и недоступной вдове, тем более что тогда вдова должна будет принять молодого князя. Кто откажется увидеть дар царя? Вдова действительно приняла молодого князя. Она посмотрела на кречета, перевела взор на молодого охотника и внезапно сказала: «Зарежь, изжарь и съешь этого кречета. Тогда я выйду за тебя».

Мессер Филипп Андзолетто сказал:

— Дьявол пришел к ним сбоку, Мальпроста, а они не заметили его. Помолимся за их грешные души.

На это Мальпроста ответил:

— Я хотел бы иметь жизнь этого дьявола, синьор учитель! Князь Юрий Подзольев, да будет благосло-

венно его имя, съел кречета. И она вышла за него замуж. И они стали счастливы настолько, что царь, узнав о поступке князя, лишь рассмеялся. И прошло пятнадцать радостных лет, и оба они живы и наслаждаются доселе, синьор учитель! А вы говорите — дьявол!..

Мессер Филипп не стал спорить, да и к тому ж над селом, хоромами и рекой понесся такой горячий, рьяный колокольный звон, что на душе мастера золотых кож полегчало. Показалась толпа. Впереди ее шел высокий сутулый князь Юрий Подзольев. Платье на нем было скромное, но дорогое: однорядка песочного цвета с золотою строкою.

Звонко, по-боевому ступая, он прошел трапом на палубу, степенно отдал поклон воеводе. Воевода был польщен быстрым приходом князя. Накрыли стол. Но перед тем, как приступить к трапезе, князь попросил показать ему царские дары, которые вез боярин Одудовский персидскому шаху.

Благодаря рассказу Мальпроста мессер Филипп особенно внимательно рассматривал князя Юрия Подзольева. Князь был худ и длинен, как лестница. Лицо имел нездоровое, аспидно-серого цвета. Широкие костлявые плечи его указывали, с одной стороны, на былую силу, а с другой — на какой-то застарелый едкий недуг.

Полуприкрыв тонкими веками пемзовые сухие глаза, князь словно нехотя осматривал царские дары, нехотя принимал пищу, нехотя отвечал воеводе и только изредка остро посматривал на иноземцев,— и странен был этот взгляд. Он и спрашивал, будто сам же отвечал на вопрос...

Иноземцы вкушали за отдельным столом. Мальпроста, отличавшийся вообще ненасытным стремлением к еде, теперь ел мало. Он во все свои выпуклые глаза смотрел на князя, словно ожидая от него чего-то необыкновенного.

Покушав, князь встал и повторил свое приглашение, посланное утром через своего приближенного: отведать и его хлеба-соли, а буде явят милость, то посмотреть его животы-хозяйство. И к иноземцам он подошел. Слегка склонив голову, он спросил их: не пожертвуют ли иноземные гости частью своего време-

ни, чтоб посетить его дом и трапезу? И опять странно вопрошающим показался иноземцам его взгляд. Мальпроста сказал самому себе, ловя этот взгляд: «Спрошу!» А спросить он хотел — правду ли говорят, будто князь Юрий в младости съел ради любви своего лучшего сокола?..

Пока мессер Филипп удивленно шамкал желтым своим ртом, подыскивая слова, Мальпроста, расшаркиваясь, выразил князю живейшее удовольствие и радость. Они так наслышаны о богатстве, а особенно о княжьей соколиной охоте, так жаждут ее увидеть... При этих словах князь, опять пытливо взглянув на иноземцев, отошел.

И село княжеское, и хоромы, и церковь, и службы — все поражало богатством, пышным, широким. Казалось, человек пожертвовал жизнью и честью для того, чтобы изумить других, ошеломить, задохнуться! Смоляно-бурые, вековечные и крепкие стояли могучие избы мужиков. Из закрытых пригонов доносился сытый говор скота. Пахло молоком, хлевом; густой дремо-пунцовый огонь виден был в печах; на крыльцо от печей выбегали бабы с лицами ежевичного цвета. Они низко кланялись проходящим.

Церковь снаружи была расписана цветами, а внутри — излагалась в поучительных и приятных картинах вся Библия. Направо, у клироса, было место князя. Здесь на стене худой и высокий старик в оранжево-красной ризе с гордым взглядом спускался в корабль. И было написано: «Иона сниде в испод корабля». Иноземцы не могли прочесть этой надписи — и потому, что их оставили на паперти, и потому, что церковнославянский язык им был непонятен. Впрочем, прочтя, едва ли б поняли смысл ее. Один лишь умный воевода Одудовский правильно разобрался в этой надписи. Он посмотрел на строгий взор Ионы, а затем сказал князю:

— А кого случится в смирение посадить, тот да сиди смирно. Ибо, если и возопил Иона в испод, в низ корабля, так тот Иона был пророк. Князь Юрий Михайлович, неужто ты этого не знал?.. Сидеть тебе смирно.

Князь, точно не слыша слов воеводы, перекрестился на образ несговорчивого Николы, что находился

против его места, и пожелал отслужить молебен о здравии царя. Мясистогубый поп начал, дьякон со злым сарацинским лицом подхватил песнопение, и в бронзово-серой дымке ладана исчезло надменное лицо Ионы и весь корабль его.

После молебна пошли осматривать хозяйство. Показывал князь конюшни и своего редкого чубарого коня, имеющего по белой шерсти рыжие пятна, а хвост и гриву черные. Конь храпел и бился возле стойла, словно неукротимый водопад. Глядя на коня, спросил воевода Одудовский:

— Неук? Не выезженная ни в упряжь, ни под верх? — и добавил, точно уже знал ответ князя: — Неук бьет, а обойдется, смирней коровы идет. Сиди смирно.

И опять был какой-то особый, скрытый смысл в его словах, но князь не верил этому смыслу и молчал. Он лишь, подойдя к коню, потрепал его по неудержимо длинной гриве.

Глядели игреневых, изжелта-рыжих, с белой гривой и белым хвостом; глядели чало-пегих, а затем перешли в «череду», коровье стадо, а из череды — в пчельник, в погреба, в амбары, на мельницу, шатровую, что поворачивается по ветру не воротом, а самим ветром. Добрых три часа ходили они по хозяйству, устали и проголодались. Князь заметил это и пригласил их к столу.

И хоромы у князя Подзольева были внутри расписные, до пояса в больших махрово-красных цветах, а от пояса в мелких эмалево-зеленых листочках. Мебель под цвет, под размер дома и не громоздка. Кажется — живи да радуйся! И, однако, во всем — и в селе, и в церки, и в хоромах, и в службах — чувствовалась постоянная, неистребимая холодность; словно ворвалась сюда «фуга» — зимний ветреный холод, что продолжается иногда недели и загоняет отары в балки, ворвалась и поселилась здесь навсегда. От этого стойкого, решительного и непременного холода стынут руки и ноги, а того более стынет сердце.

Как начали, так и докушали молча. Не помогли ни жаренья, ни варенья, ни печенья, ни пироги, ни рыбы, ни птицы. Пасмурно сидел князь, пасмурно кушал и пил воевода. Хмуро сидели за отдельным сто-

лом иноземцы. И напрасно неугомонно суетились вокруг столов курчавые слуги.

Гости встали. Пора и домой. Пора судну отправляться, солнце склоняется уже к западу. Гости низко поклонились князю. Поклонился им и князь. Спасибо за хлеб-соль. Спасибо и вам, что не побрезговали.

«Значит, уходить? — подумал неугомонный и своевольный Мальпроста.— А как же — сокол? Узнаю ли правду? А как же ее узнаешь, если вовремя не уловишь?» И решился тогда на вопрос неуимчивый Мальпроста. Поклонившись еще раз, он сказал:

— Князь Юрий Михайлович! Славитесь вы и охотой соколиной. Но не показали вы ее нам. Неужели так мы и уедем, не повидавши дивной охоты?

Князь изменился в лице. Бешенство потрясло всю его длинную фигуру так, что затряслись дивно алые кисти у его кушака. Но он быстро сдержал себя и ответил:

— Ладно, если ты такой уж задорный охотник! Покажу покои для воспитания соколов... да и соколов...

Они пришли в крыло дома, в большие покои с высокими окнами, чтобы солнечные лучи входили свободно и согревали ловчих птиц. Притолоки в окнах были широкие: для помещения жердей, на которых сидит птица. В изразцовых печах — по белому фону синие птицы,— несмотря на лето, тлел огонь, чтобы сокол у огня встряхивался и вытягивался, а это показывает его полное здоровье.

— О истинный боже,— воскликнул восхищенный Мальпроста,— как чудны твои дела и как все это прекрасно!

Князь порозовел. Восклицание хотя было произнесено и на чужом языке, но для охотника все языки понятны.

На полу лежали широкие дерюжины с травою — буде вздумают сокола слететь для прохлаждения ног. Невысоко от пола, поперек покоя, были протянуты березовые жерди, тоже для соколиного баловства. Под жердями стояли широкие лохани со свежею водою, а вокруг лоханей все было осыпано речным песком и мелкими камушками.

— Дивно, дивно! — опять воскликнул Мальпроста.— По всем приметам вижу перед собой добрых, настоящих соколов.

Князь сказал:

— Добрый сокол должен быть широк в плечах и сжимался бы комком и закладывал крыло на крыло так, чтобы концы правильных перьев уподоблялись разогнутым ножницам. Сокол, развешивающий крылья и не подпирающийся, показывает вялость.

— Так, так, князь! — воскликнул Мальпроста.— Флорентинцы считают, что у сидящего доброго сокола голова между плеч должна казаться как бы вдавленною. И должны быть у него толстые «еми», лапы, и большие когти. И весь он на руке вашей должен быть тяжел, как младенец. Добрые у вас, князь, сокола, безукорные!

Со вздохом сказал князь:

— Вижу много укора моим соколам. Но вся моя жизнь в том, чтобы вывести такого сокола, какого не было ни у кого...

Вдомек и в примету, пожалуй, было его воклицание понятно лишь воеводе Одудовскому, но воевода устал от пищи, дышал тяжело, и хотелось ему спать. Зевая, шагал он позади беседовавших и рад был видеть свое судно, берег и ковер, на котором можно было вздремнуть. Устал и мессер Филипп Андзолетто, устал, и мерещилась ему в туманном видении Флоренция, берег Арно и беспокойные, волнующие прелести его молодой жены... Не устал лишь один неугомонный Мальпроста.

Вернулись на берег к ладье. На том берегу княжьи ловчие били соколами птицу. Но не глядел туда князь.

Мальпроста видел с высокого берега Оки стремительные, словно затканные серебром воды таинственной русской реки; видел он, как через эти воды идут плоскодонные лодки, как вздуваются рубахи гребцов, как лодки до краев наполнены дичью, а там, на том берегу, возле озер и притоков, все еще продолжается соколиная охота, все еще скачут всадники, махая «вабилами», слышен стук трещоток и рокот тулумбасов, поднимающих птицу с воды, все еще сокола делают «ставки», стремительно ударяя птицу сверху.

Эти сокола и эти охотники — княжьи, а князь и не смотрит на них, князь думает о своем, еще небывалом соколе, которого он еще вырастит!

И тогда спросил Мальпроста — то, что он жаждал спросить, как только увидал князя Подзольева:

— Синьор князь! Таинственно прошлое, и недоступно для человека знание будущего. Может быть, поэтому и нескромно выспрашивать человека о том, о чем он сам не желает думать. Но я молод и отважен. Я спрошу! Ибо я вернусь во Флоренцию, и там меня будут расспрашивать: видел ли я князя Юрия Подзольева и правда ли, будто этот князь из-за любви к своей подруге зарезал и скушал редчайшего сокола? И еще меня спросят: видел ли я эту несравненную подругу?..

И опять бешенство пронеслось и сотрясло все тело князя. И опять он сдержался и сказал иноземцу:

— Мне вера: говорить тебе, иноземец, правду. Того кречета государева звали Носник. Кречет тот был с севера, а на севере зовут так умельцев, которые проводят судна, лоцманов, знающих русла. Кречет, как и все сокола, чем старее, тем ленивее в ловле. Носник не знал старости. Он был твердый, постоянный и неуклонный...

Князь вдруг наклонился к лицу Мальпроста, схватил его за виски и наклонил вниз.

— Видишь? — вскричал он.— Видишь, пристали к берегу лодки с дичью? Видишь бабу возле лодок? Кричит, суетится — нескладная, грубая, не выезженная ни в упряжь, ни под верх скотина? — Он отпустил Мальпроста и, всплескивая руками, воскликнул: — Неужто я ее любил?.. Полно, ради ее ли зарезал государева кречета?! Неужли она, как саранча пожирает хлеб, пожрала меня?!

Во рту Мальпроста от изумления язык словно отмерз. Он раскрыл большой сочный свой рот и молча смотрел на князя. А князь продолжал молотить:

— Она, она!.. Это она, проклятая, все содеяла!.. Это из-за нее пожолкло, как от порчи, мое сердце и, будто в засуху трава, высох и осыпался с моей головы волос. Из-за нее, узнав о судьбе Носника, государь рассердился и сказать изволил про меня: «Вот дурак!» Так и пошло. Так и стал я дураком!

Так и пошло по всей Руси и в другие земли и дошло до какой-то там поганой Флоренции! Государь у нас добрый, слава ему! Но одного его доброго слова «дурак» хватило на то, чтоб я навсегда остался в этих лесах разводить скот да строить избы. А мои сверстники бьются с татарами на востоке, бьются с врагами Руси на западе, и идет им слава, и честь, и песня. А какая песня пойдет обо мне по Руси, что обо мне скажет честной народ?! Жил-был дурак, съел из-за глупой бабы государева кречета... Погибло все! Топчусь я на этом берегу возле Оки, опрокинут я, и дует на меня ветер, и проходит мимо меня жизнь, как ветер через бездонную бочку...

Молчал Мальпроста, потрясенный правдой его слов. Мил ему был князь, мил и близок.

Князь холодно смотрел на иноземцев, а если и говорил с ними, по иной причине. Услышав, что приехали иноземцы вместе с воеводой и что иноземцы те — искусники, князь подумал: «А какое ж искусство больше всех ценит царь Алексей Михайлович? Соколиное! И раз иноземцы-соколятники едут с воеводой, то и везут к шаху персидскому русских кречетов...»

Спросил князь с великой надеждой в голосе:

— Почему вы так горячо хотели посмотреть моих соколов? Али государь говаривал вам о моих соколах? Али государь ждет, что я выращу сокола лучше Носника? Али государь стал думать обо мне лучше, чем прежде? Что вы мне скажете, други?!

Князь Юрий был мил и близок иноземцу Мальпроста. С радостью бы ответил Мальпроста утвердительно на княжий вопрос. Но как он мог ответить? Давно уже царь забыл о князе Юрии Подзольеве, давно уже считает его старым, беспомощным, неспособным.

Ответил безмолвно, взором Мальпроста: «Молчит о тебе царь. Перетерпи и ты, отмолчись, коли можешь».

И князь отошел от него.

Рулевой закричал:

— Отчаливай, ребята! — и повернул широкий размокший руль.

Судно качнулось. Хоромы, церковь, избы мужиков, пестрая челядь княжья и сам высокий сутулый князь Юрий Подзольев — все скрылось за кораллово-красным лесом, над которым висело темно-пурпуровое солнце, говорящее, что и завтра быть тому ж ветру, какой и сегодня.

Дюжий лоцман с окладистой бородой в синей рубахе, раздуваемой ветром, вывел ладью на плес, на самый судовой ход. Ладья шла самосплавом, да и мужики помогали бечевой. Бечева то натягивалась, то шлепала по воде, летели с нее искристые капли, и проносились под ней молочно-белые чайки.

— О чем, Мальпроста, говорил с тобой князь Подзольев? — спросил вдруг мессер Филипп Андзолетто.— Не о соколе ли? Раскаялся ли он в своем глупом поступке иль и впредь думает поступать так же?

Мил был князь Юрий флорентинцу Мальпроста. И сказал он:

— Нет, не раскаялся князь. И впредь думает поступать так же.

Поджав губы, замолчал мессер Филипп Андзолетто.

— О истинный боже, как чудны твои дела! — прошептал Мальпроста, глядя на волны, которые поднимал строгий и сухой ветер, и на стрельца в зеленом, что стоял на носу ладьи, возле кички, и на спящего воеводу Одудовского, и на согбенного мессера Филиппа Андзолетто, который распухшими красными глазами смотрел вперед и тосковал по молодой жене, и тосковал по Флоренции, и по реке Арно, где неподалеку от главного моста некий Каппиччо продает гостиницу... Мессер Филипп страстно хочет домой, а путь туда такой далекий и неверный, о, истинный боже!..

1946

СИЗИФ, СЫН ЭОЛА

Солдат сразу узнал их, родные горы!

В полдень горы угрюмы, щербато-серы, а глубокие ущелья, разрезающие их, оранжевы. Сразу узнал

он и Скиронскую дорогу, что виднелась у крутой, южной стороны гор. Дорога схожа с пастушьим бичом, свернутым в круг. Такой видел ее солдат Полиандр в детстве, такой она осталась и поныне. Дорога пользуется дурной славой. Путешественник может внезапно увидеть на ней выступившую кровь или иные знаки грядущих несчастий.

Но что Полиандру несчастья? Они отмерены ему полною мерою, и он выпил их полною чашею. Преждевременно он увял и пожелтел, словно от порчи.

Он давал клятву служить Александру, царю Македонскому, прозванному Великим, и служил. Позже он служил царю Кассандру, соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие. Царь Кассандр заточил в темницу жену и сына Великого вскоре после смерти того, перед которым преклонялись боги всех земель и оружие всех земель. А солдат Полиандр продолжал устремлять свой покрытый серебром щит против врагов Кассандра. Он хотел, глупый, чтобы Кассандр думал о нем хорошо! Говорят, вера и гору с места сдвинет. Царь Кассандр оказался неповоротливее самой большой горы. Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам,— он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие солдаты. Солдату не исполнилось и сорока лет, как царь Кассандр признал его больным пелтастом, слабым для службы в легкой пехоте, и без денег отпустил на родину.

И вот перед ним горы, за которыми находится его родина — богатый город Коринф. Солдат глядел на гору и думал: «Как-то его встретит родной город и кто цел из его родственников?» Прошло много лет с тех пор, когда он последний раз видел родину. Тогда он был силен, а теперь раны его признаны опасными и он отпущен из армии царя Кассандра. Слаб, слаб!

«Для кого опасны мои раны, клянусь собакой и гусем? Не для тебя ли, о царь? Не тебя ли страшит мое уверенное ожидание, что сын Великого, ныне крошечный и малолетний Александр Эг, подрастя,

будет таким же воинственным, как и его отец? Ему-то я буду нужен! Ему-то нужны походы! А тебе, о царь, хватит ума лишь на то, чтоб сохранить приобретенное Великим. Да и сохранишь ли ты его, о царь Кассандр?»

Так бормотал он, опасливо поглядывая на Скиронскую дорогу. Ему не хотелось подниматься по ней. Хватит ему и солдатских несчастий! Хватит предзнаменований! Он хочет жить спокойной жизнью честного человека, например, окрашивателя шерстяных тканей.

И он вспомнил о тропе, которая некогда сокращала путь к Коринфу. Правда, тропа трудна, зато без знаков несчастий.

— Гей, вы!

Крестьяне из придорожного селения, убиравшие нивы, смотрели на него с уважением. Спасаясь от жары, он снял латы, но грудь его была так широка, что казалось, он и не снимал лат. Руки его были растопырены — и от привычки держать щит и копье, и оттого, что латы не позволяли им прилегать к бокам. Он и спал-то всегда на спине, широко раскрыв свой большой, чувственный рот. Глаза, как у всех много странствовавших, были удивленные и того зеленоватого цвета скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но еще хранит цвет и запах молодости, обладая в то же время суховатой зрелостью.

Он стоял в картинной и величественной позе, подобающей солдату Александра Великого, который прошел вместе с царем от границ Фракии до студеного Местийского озера, где уже господствуют вечные зимы; который видел Кавказские горы, крайний предел земли, откуда уже начинается Царство Мрака; который видел и Мемфис, и Дамаск, и Сузу, и Эктабан, и все скалистые крепости Ирана, и берега Гидаспа, и топкие берега Инда, вдоль которых шли против него узкоглазые, с крепкими желтыми клыками слоны индийского царя Пора.

Он пожелал крестьянам успехов в жатве, добавив, что Зевс и Афина им помогут, и после того попросил воды. Девочка лет четырнадцати с бойкими глазками и плотными русыми волосами, плохо подстриженны-

ми, принесла ему кувшин теплой воды. Из гумна пахло зерном. Мул, сопя, чесал себе бок. Поселянка, с крутыми сытыми бедрами, указывающими на близость богатого Коринфа, который умеет покупать и продавать, наклонилась и опять начала ловко и быстро срезать толстые, лоснящиеся колосья пшеницы и складывать их в корзины. Девочка укладывала их — надрезом к югу — на утрамбованную, чернофиолетовую землю гумна. Легкая пыль поднималась от гумна: к нему шли вьючные мулы и волы везли молотильные телеги с тяжелыми сплошными колесами.

Полиандр сказал, возвращая кувшин:

— Клянусь собакой и гусем, девушки в Коринфе по-прежнему гостеприимны и прекрасны! И мастера по-прежнему помещают их на вазы, в бронзу и на колонны, украшенные листьями акинфа.

Поселяне улыбнулись его мудрым словам, а девочка, подававшая воду, засунула от удивления палец в рот.

— Я спешу в Коринф,— сказал он.— Я устал от славы и хочу мирной жизни! У меня есть настоящий красный сок из пурпуровых раковин, которые я видел, как ловят, клянусь собакой и гусем. Я научился красить ткани в пурпур у финикиян и делал это у лучших мастеров в Тире, Косе, Тизенте.

И он показал свои жилистые пальцы, длинные волосы на которых были окрашены в цвет крови. Поселяне испуганно содрогнулись, и старик с выпуклым и толстым носом сказал ему:

— Ты спрашивал про Скиронскую дорогу? Она перед тобой.

Тогда солдат Полиандр спросил:

— Благополучна ли Скиронская дорога?

— Она благополучна более, чем какая-либо другая.

— В мое время,—сдержанно сказал солдат,—сильные и спешащие путники сокращали путь. Они сворачивали на тропу, которая называлась Альмийской. Мулы и быки там не проходили, но мои ноги хорошо помнят эту тропу.

Крестьяне переглянулись. Солдат прочитал испуг на их лицах.

— Или на тропу обрушилась скала? — спросил солдат.— Или открылась новая пропасть? Или боги пустили водопад?

Старик с выпуклым и толстым носом сказал:

— Плохое место.

— Разбойники? — спросил, смеясь, солдат и показал крестьянам свое короткое метательное копье и меч, прямой и тонкий, с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями и слоновой костью.— Ха-ха! Много их? Ха-ха!

Старик, почесывая крючковатой палкой у себя между плечами, повторил неохотно:

— Плохое место. Иди по Скиронской дороге. Лучше. Тропу Альми много-много лет никто не топчет.

— Где же больше предзнаменований? — спросил солдат решительно.

— На Скиронской.

— Так кого ж мне бояться?

— Сына Эола,— ответил старик, боязливо оглядываясь.

Солдат захохотал.

— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?

— Увидишь,— ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших на такую опасную тему.

Солдат Полиандр, намеренно громко смеясь, поднял свой шлем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое вооружение в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь... Не трудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»

Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.

* * *

Он шел, шлепая подошвами башмаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное вооружение отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.

Выйдя за селение, он увидал пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложе ручья было засыпано серовато-синими камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавая такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.

Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на обнаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге? — подумал он.— Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хваставший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!»

И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более. Он сидел на плече у дяди. Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных, плотных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатого его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на ребенка и совал ему кусок лепешки, от которого пахло дымом и оливками. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Эола.

«Почему нещадном? Откуда нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и гусем?!»

Он остановился, положил вооружение на камень и нетерпеливо поглядел вниз.

Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то, что она заросла и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.

Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесанного камня. Непомерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней, несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.

Но не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.

Солдат, словно конь, что от нетерпения бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Он привязал меч к поясу, а остальное вооружение сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.

Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя, словно днем на площади.

А здесь и днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и ему приходит в голову: «Ну, какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусочек ткани, оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот

рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»

И перед ним встал подвал, где в широких и низких чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими лицами и разгульными глазами. Возле дверей в корытах лежала валяльная глина, и два раба, мерно раскачиваясь, месили ее ногами, и глина верещала у них между пальцами... Ах, обманули его тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!

И вот идет он в Коринф, в Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, который лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?

Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шагу. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Он быстро обогнул ее.

* * *

Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх снизки белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.

Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.

Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он себя в ней попрежнему плохо, будто на дне узкой и гнилой воронки. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали недвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими, высохшими сучьями, которые хватали солдата за плащ, за меч, за ковровый мешок и флягу.

Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой рощи и, сутулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания

поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.

Тропинку он уже и не высматривал.

Он прыгал по камням, срывался, падал. Камни срывались и мчались вниз. Он ставил ногу в лунку, где только что покоились камни, а лунка плыла, и он отчаянно прыгал от нее. Руки он исцарапал. Ноги его были изранены. Подошвы, те подошвы, что переходили Евфрат в Зевгме, что выдержали путь от Эвксинского моря до крайних пределов Фиваиды, отскочили, и одну вскорости он потерял совсем.

Едкий, жгучий и кислый пот обузил кругозор. Обычная его наблюдательность исчезла, и он видел вперед не далее как на длину десяти копий. Он двигался лишь благодаря привычному дарованию воина, которого Великий приучил идти вперед при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования и стремления богов.

Солнце, налюбовавшись покорностью скал, россыпей и дубов, а также редкой духовной красотой и настойчивостью солдата, убрало серый и злой жар, что подтачивает силы, как вода стены, и впустило мягкие, влажные фиолетовые тени. Солдат отпил глоток воды и воскликнул, ободряясь:

— Клянусь собакой и гусем, я найду эту исчезнувшую тропу!

И тут за скалой, которую ему как раз надо было обходить, он услышал звук очень необычный и странный для этих горных мест. Он услышал свистящий и жужжащий шум, испускаемый диском при его метании. Солдат превосходно знал этот шум. Диск его учили метать не только для игры, но и для создания уверенности при метании камней в неприятеля.

Он прислонился к скале и прислушался.

Звук рос, ширился и вдруг, точно пробившись куда-то, замолк, исчез.

Дразнящая тишина воцарилась над скалами. Надо опять что-то угадывать в этой едкой, как кислота, тишине... И солдату захотелось ухать, кричать мерным голосом с другими солдатами, как кричали они мерно для дружной тяги осадного орудия или в бою.

Он, набравшись решимости, обошел-таки скалу и увидал россыпь, такую же, каких он прошел много. Почудилось: ветер наскочил. Он вспомнил слова старика о сыне Эола и содрогнулся. Мысль эта прогремела над ним, будто огромная труба. Он присел на камни и долго и хрипло дышал.

Затем он обошел еще одну скалу и пересек еще одну россыпь. К скалам, которыми кончались россыпи, он уже подходил с опаской, держась за меч и взывая к богам и к Эолу, в том числе. Выглядывал он из-за скал осторожно и однажды, перед тем как выглянуть, несколько подострил о камень свой меч.

И внезапно опять возник шум. Только теперь он уже не походил на шум бросаемого металлического диска, а его можно было бы сравнить с шумом морских волн, что, отлежавшись в глубине вод, идут, играя прибрежной галькой. Шум летел откуда-то сверху, хотя небо было по-прежнему безоблачно. Шум нарастал с такой быстротой и силой, что солдат отскочил от скалы. Шум пронесся за скалой, и от скалы отлетело несколько камней, как черенок отлетает от ножа, которым яростно взмахнули.

Солдат Полиандр боялся. Но он был солдат, и у него отлегло от сердца, когда он решил увидать врага лицом к лицу. Качаясь от страха, еле двигая ослабевшими ногами, он обошел скалу.

Россыпи за скалой уже не было. Открылась небольшая долина. От гор отступал, поспешно пятясь в эту долину, веселый ручеек. Дубы и плодовые деревья росли по его берегам. Подальше ручеек круто обрывался к реке, шум которой слабо доходил в эту долину.

* * *

Вдоль ручейка, в тени дубов, образующих здесь аллею, Полиандр увидал дорогу очень странной формы, какой он не видел никогда. Дорога эта, пробитая в камнях, цвета мокрой пробки, была в одну колею и, скорее всего, походила на желоб или на бесконечно длинное ложе, начинавшееся где-то высоко на горе и заканчивавшееся внизу, у края лощин-

ки, в небольшом болотце, как будто истоптанном копытом огромного коня.

По этому ложу, мелькая среди дубов, тени которых ложились на широкую, мускулистую спину, волосатый, плечистый, перепоясанный шкурами великан катил вверх черную, отполированную до блеска морской гальки круглую глыбу камня величиною в добрых три человеческих роста. Великан медленно и тяжело дышал. Отвислый живот его, похожий на винную бочку, то падал на камень, то отрывался от него. Пальцы его ног впивались в ложе потока, и с изумлением увидел Полиандр, что они выбили здесь себе ступени.

«Клянусь собакой и гусем! — дивясь на великана, воскликнул про себя Полиандр.— Много я видел чудес, но такое встречаю впервые. Кто бы мог быть этот могучий, что катит камень с силою морской бури?»

Между тем великан, услышав приближение Полиандра, повернул к нему огромную голову с рыжими усами и бородой и с усилием сказал:

— Слава богам, прохожий. Р-р-рад! Иди в хижину. Р-р-рад! Разведи огонь. Поставь бобы. И смешай вино. Р-р-рад! — Он говорил слово «рад» каждый раз, когда ставил ногу в углубление в камнях, пробитое его пальцами, в такт слову толкая вперёд камень.

— Кто ты, о диво? — спросил солдат Полиандр.

И великан ответил:

— Я сейчас вернусь.— И он прорычал: — Р-р-рад! За хижиной колодец. Спустись. Сбоку — яма. Р-р-рад! В яме — снег. Примешай к вину. О, р-р-рад!

И он еще раз оглянулся на Полиандра. Теперь солдат смог рассмотреть его лицо. Оно было морщинистое, старое, но наполненное тем победным избытком дней, который встречается крайне редко и прежде всего указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы.

Полиандр, пятясь, двинулся к хижине. Великан толкал камень, и камень, словно на стержне, быстро катился вверх, все уменьшаясь в величине и все увеличиваясь в блеске, так что потом казалось: великан

несет к ярко-голубому небу отливку раскаленного оранжево-желтого металла.

Полиандр вошел в хижину, раздул в очаге дубовые угли под большим котлом, где уже лежали разопревшие бобы. Он подбросил дров в очаг, нашел возле хижины колодец и спустился туда, осторожно шагая по холодным и мокрым ступенькам.

Не доходя до воды, он увидал две ниши. В первой стояли глиняные кувшины с вином, вторая до краев была забита плотно слежавшимся снегом. Полиандр попробовал плечом ближайший кувшин. Кувшин тяжело отстал от пола и покачнулся вбок. Болтнулось. Пахну́ло вином.

— Клянусь собакой и гусем, я от него не скоро отклеюсь! — воскликнул Полиандр, подразумевая добродушного великана.

С трудом он донес до хижины самый малый кувшин с вином, а затем уже обратился к снегу, в котором нашел завернутое в целебные травы мясо дикой козы. Он положил это мясо в бобы, а при смешении вина с водой и снегом добавил немного пряностей, драгоценную горсть которых нес с Востока.

Едва лишь он смешал вино, как опять возле раздался ужасный шум, свистящий и жужжащий одновременно, подобно металлическому диску, брошенному гигантом. Полиандр выскочил из хижины. Ветви дуба бросали дрожащие тени у порога. Далеко внизу несся, подпрыгивая, по своему ложу круглый камень. Легкая радужная пыль дрожала над ложем — дорогой вдоль потока. Каменный шар добежал до предназначенного ему конца и застрял в трясине, брызнув во все стороны травянисто-зеленой грязью.

Великан, посматривая из-под большой руки на солнце, вразвалку спускался с горы. Приблизившись к хижине, он вытер руки о козьи шкуры, опоясывавшие его бедра, и неловко улыбнулся.

— Рад, путник?..— спросил он хриплым басом.— Я р-рад!.. Р-рад. Откуда? Куда?

В хижине стало тесно, и на сердце у Полиандра тоже. Он ответил сдавленным голосом:

— Клянусь собакой и гусем, разве это тропа не в Коринф?

— В Коринф?..— с усилием спросил хозяин.— Р-рад! В Коринф!

Великан подал гостю воду для омовения. Он глядел, как солдат моет ноги, а затем руки, и большое, квадратное, как стол, лицо его, испещренное глубокими морщинами крестьянских забот и трудов, было наполнено мыслью. Казалось, он думал: что такое Коринф? И солдату пришло в голову, что снискать у этого великана доброжелательное понимание будет не так-то легко.

— В Коринф! Иду на родину! — воскликнул громко, как глухому, солдат.

— В Коринф? Р-рад! Садись. Ешь.

Они молча ели бобы. Затем хозяин руками, видимо привыкшими к жару, достал из котла мясо дикой козы и положил его на доску. Он густо посыпал мясо солью, указав на вино.

— Соль? Р-рад!.. Будем много пить.— И он захохотал, держась руками за живот. Видно было, что он с трудом подбирал слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие, и он пьянел от них, как от крепкого вина.

Они вычистили руки скатанным хлебным мякишем, и хозяин придвинул к себе сосуд с вином и снежной водой. Запах пряностей чрезвычайно был приятен ему, и это тоже указывало на то, что он давно не видал людей. Солдат жадно ел мясо, с хрустом раздробляя здоровенными своими зубами кости, и гордость, что великан увидал после долгого одиночества именно его, Полиандра, гордость укрепляла сердце солдата. Он воскликнул:

— Рад, клянусь собакой и гусем! Будем наслаждаться!

И он поднял деревянную чашу с вином. Некогда он пивал физасское, лесбосское, наксосское и славнейшее хиосское вино. Он-то знал толк в винах. Но это вино было лучше всех. И он выразил красивыми словами свое удовольствие хозяину.

— Р-рад! — пророкотал тот.— Р-рад. Пей. Р-рад! И он добавил ему вина из кувшина.

Сам он пил мало, для него достаточно было наслаждения, что он видит человека. Солдат же желал за вином состязаться в споре, желал рассказать про

го, что он приобрел, нажил и разбросал. Он спросил:

— Разве здесь давно не проходил путник?

— Давно,— ответил, широко улыбаясь, хозяин.— Рад.

— А сам давно ли ты здесь?

— Давно,— ответил хозяин.— Сегодня — последний, последний день, да!

— Как последний? — спросил солдат.— Разве ты продал свою хижину, сад и ниву? Где же твой покупатель? И за дорого ли ты продал?

— Зевс, слава ему, освободил меня,— сказал хозяин, сияя темно-голубыми, небесного цвета, глазами.— Рад! Последний день.

— Слава Зевсу,— сказал привычным голосом солдат.— Но не Зевс же купил твою хижину, и сад, и ниву?

Тогда хозяин, сильно жестикулируя и стараясь, чтоб солдат понял его, сказал раздельно:

— Зевс поставил меня здесь. Зевс и освободил.

— А, жрецы? — сказал солдат, прихлебывая вино.— Они хотят поставить здесь храм? Место красивое.

— Не жрецы! Зевс,— настойчиво повторил хозяин.— Меня поставил здесь Зевс! Сам!

— Зевс? Кто же ты такой, если тебя поставил сюда сам Зевс? — спросил несколько насмешливо солдат.

—Я Сизиф, сын Эола.

Солдат захлопал глазами, и вино полилось ему густой струей на холодные колени.

— Клянусь собакой и гусем! — проговорил, заикаясь, солдат.— Ты Сизиф!

И так как хозяин утвердительно закивал лохматой головой, прихлебывая вино из чаши, солдат спросил:

— Я слышал о Сизифе, сыне Эола, бога ветров. Я знаю, что он правил Коринфом, и это было давно, еще далеко до времен Гомера.

— Это я,— ответил хозяин с такой величественной простотой, что солдат совсем выпустил чашу и почувствовал, как толстые дубовые балки, на которых покоилась крыша хижины, пошатнулись перед его глазами.

— Клянусь собакой и гусем, это ты!

— Это я, Сизиф,— ответил хозяин и опять прихлебнул из чаши.— Пей!

Солдат не мог пить, и хозяину пришлось пуститься в объяснения, как это ни трудно ему было:

— Я много грешил. Я убивал безвинных. Грабил. Надругался. Зевс наказал меня. Мне вечно вкатывать в гору обломок скалы. Обломок достигает вершины, и неведомая сила снова сбрасывает его вниз. Ты видел. И — сегодня ты видел последний день. Я был послушен. Зевс вчера явился ко мне и сказал: «Последний день». Р-рад!

И хозяин захохотал.

Солдат вздрогнул от страшной мысли и спросил:

— Скажи мне, о почтенный Сизиф, сын Эола. Ты ведь наказан был уже тогда, когда попал в подземное царство мертвых, в царство Гадеса. Неужели и я тоже уже нахожусь в нем?

Сизиф ответил:

— Бесчисленное количество дней вкатывал я камень в гору в подземном царстве Гадеса. Повторяю, я был послушен и не гневил богов ропотом. Прощение Зевса в том именно и заключалось, что незаметно для себя я перешел из подземного царства сюда, к солнцу. Вот почему я рад, что вижу тебя, о путник!

Солдат спросил:

— Скажи мне, о Сизиф, сын Эола, каково собою подземное царство Гадеса? Ты умеешь кратко и сильно изображать свои выводы.

Сизиф ответил:

— Слякоть. Дождь. Сырость. Всегда.

— Клянусь собакой и гусем,— воскликнул солдат,— нельзя сильнее выразить свою благодарность богам за солнце и за вино!

— Пей,— сказал, смеясь, Сизиф.— Р-рад!

— Хвала мудрому Зевсу,— принимая чашу, полную мутного красного вина, проговорил солдат.— И долго ты был здесь, на вершине гор, один?

Хозяин ответил:

— Долго. Я вкатывал камень от восхода до заката. Я был послушен.

— А после заката ты копал огород, ловил зверей, собирал плоды.— Хозяин кивнул головой, и солдат

продолжал перечислять трудности его жизни: — Тяжело в жару. А еще тяжелей в дожди, когда подходит зима. Тебе, наверное, мешала вода...

— О, целые потоки! — вскричал хозяин.— Навстречу — река! В грудь. Камень в воде. Руки скользят. Мокро. Иду против потока... Но я покорен богам. И вот Зевс простил меня!

— Хвала мудрому Зевсу,— сказал солдат.— Прошу тебя, налей мне еще вина. Прекрасное вино. Последний раз я пил нечто подобное в Иране.

— Ты был в плену?

— Я — в плену? У гнусных и трусливых персов? — сказал с презрением солдат.— Да ты разве не знаешь, что Александр Великий прошел Персию от начала до конца?

— Не знаю,— ответил Сизиф.— Я катал камень. Кто такой Александр?

— О, боги! — воскликнул солдат Полиандр.— Он не знает, кто такой Александр, царь Македонский! Ты, значит, не знаешь о сражениях, им выигранных, о том, как он разбил царя Дария и разрушил индийское царство Пора, и как женился на прекрасной царевне Роксане, и как собрал множество других сокровищ?

— Ничего не знаю,— ответил Сизиф.— Камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться.

— Клянусь собакой и гусем,— вскричал солдат,— я расскажу тебе все от начала до конца! Налей мне вина.

Хозяин наполнил ему снова чашу, и солдат стал говорить.

* * *

Спустилась ночь. Сквозь ветви дубов глядели звезды. Ветви были неподвижны, неподвижны были и горы за ними, и едва доносился сюда, в хижину, лепет ручья. Сизиф сидел, обхватив большими руками колена, и медно-красные лучи света из очага освещали его лицо и глаза, ставшие водянисто-синими.

Солдат рассказывал о городах Востока. Города эти построены из кирпича, высушенного на солнце и

крепко связанного между собой черной и липкой смолой, оригинальным и натуральным продуктом вавилонской почвы. Он говорил об оазисах, где растут высокие пальмовые деревья, дающие столько же полезных употреблений из ствола, ветвей, листьев, сока и плодов, сколько дней в году. Он говорил о плавучих плотах на пузырях из кожи, которые везут по многоводным рекам с высокими искусственными плотинами прекрасные дары земли — коней, пряности и женщин. Таковы Персия, Египет, Индия...

— А что с ними сталось? — спросил хозяин.

Солдат встал и поднял вверх чашу с вином.

— Хвала богам! — воскликнул он.— Мы переправились через Геллеспонт и, принесши на развалинах, наверное, тебе известного Илиона жертву предку нашему Ахиллесу, направились к реке Гранику, где и победили персов. И мы пошли по их стране, зажигая города, разрушая плотины и рубя оазисы. Дороги, по которым мы проходили, были вымощены целыми рощами пальмовых деревьев. Мы все уничтожали и жгли! И мы дошли до того жаркого пояса, куда не могут доходить люди.

И, распаляясь от рассказа и вина, Полиандр пылко продолжал:

— В этом пустом пространстве мы встретили только сатиров с пурпуровыми рогами и золотистыми раздвоенными копытами. Волосы их взъерошены, носы сплюснуты, на щеке желваки, ибо они постоянно предаются любви, музыке и вину. Мы убивали их. Мы убивали и сирен. Эти горячие, иссушающие существа сидят на лугах, покрытых цветами, а вокруг них лежат кости людей, погибших от любви к ним. Мы убивали центавров и пигмеев, индийских и эфиопских. Одним своим мечом — ты видишь его, о Сизиф,— я уничтожил фалангу пигмеев, кавалерию их. Они каждую весну верхом на козлах и баранах в боевом порядке идут на добывание журавлиных яиц... Ха-ха-ха!..

— Р-р-рад! — закричал, поднимая чашу, хозяин. И рокотом отозвались на тяжелый голос его невидимые и тяжелые горы.

Солдат продолжал:

— Мы все это разрушали и предавали огню во имя Ахиллеса и славы его потомка — Александра, царя Македонского! Отсюда и разбогател Коринф. Отсюда и разбогател царь Кассандр, который со мной поступил неблагородно...

Солдат пошатнулся от злобы, хмеля и внезапно посетившей его мысли. Он посмотрел на великана, недвижно сидевшего у очага, и сказал:

— Сизиф, сын Эола! Ты царь Коринфа?

— Я был царем Коринфа,— ответил Сизиф.

— И ты будешь опять царем Коринфа! — воскликнул солдат.— И будешь царем всей Греции. Ты уничтожишь корыстного, жадного и падкого на стяжание, неблагодарного царя Кассандра. И ты воцаришься!

Солдату хотелось сказать, что воцарится малолетний сын Великого Александр Эг... Но как сказать это? Глаза у Сизифа блестят, ему самому, видимо, хочется приобретать, и неизвестно, посадит ли он к себе на плечи малолетнего Александра Эга. Солдат, чтобы окончательно подчинить себе Сизифа, вскричал:

— Ты наденешь пурпур и воцаришься! Ты знаешь... Знаешь ли ты, о Сизиф, что я послан к тебе богами?

— Р-р-рад!

— И ты покинешь эти места и уйдешь со мной, знаешь?

— Р-р-рад!

— Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища!..

— Р-р-рад!..— рыкал хозяин. И рыкали, поддакивая ему, горы за дубами, в глубине ультрамариновой ночи.

Хозяин хохотал и покачивался от восторга. Огонь играл то на его широчайших плечах, то переходил на его круглые, как стог сена, колени. Солдат кричал и врал. Нет ничего прекраснее, когда горит подожженный город... Но на самом деле в подожженном городе страшно. Персы и индийцы стреляют из-за каждого угла, сокровища гибнут под пламенем, гарь и едкий дым режет глаза, молодые женщины бросаются в огонь, а в добычу попадают лишь одни старухи, убивать которых очень неприятно: о сухожилия и кости

их тупится меч. Вранье и самому ему не казалось очень убедительным, и, глядя на пунцовый пламень очага, он вспомнил о царственном пурпуре, в который обещал одеть Сизифа.

Солдат Полиандр сказал:

— Твои козьи шкуры, в которые ты облачен, о Сизиф, грязного бурого цвета. Давай мне их сюда...

— Зачем? — спросил Сизиф.

— Давай мне их сюда, и немедленно я превращу их в пурпур!

Он нашел еще один котел, наполнил его водой, быстро вскипятил ее и высыпал туда все свои порошки пурпура. Вода закружилась багровыми пятнами. Полиандр обмакнул в нее длинную козью шерсть, стараясь, чтобы влага не задела кожу, а затем на палках развесил шкуры возле очага. Он любовался алой шерстью, и ему грезился шумный Коринф, чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног и сам он, Полиандр,— военачальник, стоящий плечо о плечо с Сизифом.

— Мы идем, о Сизиф! Идем к славе! — вскричал он.— Что тебе эта жалкая долина? Спать тебе в ней не удавалось, так как ночью ты возделывал огород, полол, поливал, ловил в сети рыб, а в капканы — диких зверей. Ты будешь спать на пуху, под песнопения красавиц, спать долго, до полдня.

— Я р-р-рад... спать...— рыкал, разевая твердый, прямой рот, Сизиф.— Р-р-рад...

— Ты царь Греции, а я твой соправитель...— И с этими словами солдат Полиандр лег на ложе и, по привычке, сунул под голову нагрудник и наспинник, а ноги прикрыл овальным своим щитом так, чтобы крючки и пряжки для прикрепления торчали наружу. Вдоль тела он положил свой короткий аргосский меч и, сделав все это, немедленно заснул.

* * *

Проснулся солдат от громкого шума сражения. Как всегда, он почувствовал холодный, дрожащий страх в плюсне ноги, охвативший затем и лодыжки. Но, как и подобает солдату Великого, он не-

медленно поборол страх и вскочил, держа меч наклонно.

Было раннее свежее утро. Шум сражения утих. Солдат пошел на узкую полоску света, щурясь. Открылась дверь.

И с порога хижины солдат Полиандр увидал, что поднимается над алыми горами изжелта-красная заря и внизу лощины, освещенной лучами этой зари, катится вверх в гору, по своему ложу огромный базальтовый черный шар.

И катит его Сизиф.

И тогда воскликнул Полиандр дрожащим с похмелья и от изумления голосом:

— Клянусь собакой и гусем, я не верю своим глазам! Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил тебя? И разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, голени и ступни мои стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачахну где-нибудь на Востоке, в жарком песке пустыни... А здесь... Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору.

И он, тяжело и с напряжением шагая, покатил камень.

* * *

И перед тем как исчезнуть из глаз солдата, Сизиф прорычал про себя:

— Р-р-рад вор-рочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...

Он отвык говорить такие длинные фразы и потому сказал ее невнятно, и солдат не расслышал ее, а если б и расслышал, то вряд ли понял бы.

Из дородного и могучего Сизиф, уходя, превращался в поджарого, а его камень — опять в раскаленный отливок металла. Оба они быстро приближались к верху горы, откуда невидимая сила должна была сбросить камень обратно. Солдату не хотелось услы-

шать снова отвратительный, визжащий и дрожащий полет камня, и, поспешно схватив свои доспехи, он выбежал на тропу, явно обозначившуюся перед ним.

Он шагал по тропе, чувствуя в сердце жестокое колотье. Он предчувствовал, что Коринф встретит его не по-родственному, а сильно почерствевшим с исподу. Пожалуй, лучше совсем не показываться туда! Ну, а где ж тогда его родное место? Он выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону. Кто будет рубище, отрепье и ветошь красить в пурпур?

И он еще раз оглянулся на Сизифа.

Сизиф был высоко, на острой конечности кряжа. Пурпуром отливали на раменах его козьи шкуры, которые вчера сглупу окрасил ему Полиандр. Истратил последний драгоценный пурпур, эх... И воспаленным голосом проговорил Полиандр:

— Клянусь собакой и гусем, о Сизиф! Недаром Гомер называл тебя корыстолюбивым, дурным и лукавым, о коварный сын Эола, ты обманул меня! И неужели это — предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..

19 сент<ября> 1944 г.,
Переделкино

МЕДНАЯ ЛАМПА

Я был влюблен. Хотя это было очень давно, еще до войны 1914 года, но я отчетливо помню это чувство, мучительно терзавшее меня. Она меня не любила! Мне нужно добиться ее любви. Как? Я не знал еще, что и до меня миллионы и миллиарды влюбленных задавали себе этот вопрос. Впрочем, если бы и знал, все равно я бы продолжал спрашивать себя. В человеке заложено так много надежд!

Я работал тогда единственным наборщиком единственной типографии Павлодара, что лежит на Иртыше. Тогда это был крошечный уездный городок. Теперь здесь строится комбайновый завод, величайший в мире, и к концу пятилетки в Павлодаре будет, говорят, до полумиллиона жителей. Впрочем, наверное, и среди этого полумиллиона по-прежнему многие мо-

лодые люди задают себе тот самый вопрос о неразделенной любви, который я задавал в крошечном уездном Павлодаре,— и задают с той же, если не с большей, мукой.

Я получил жалованье. Вторично в своей жизни! За целый месяц! И снова я понял, какое это важное событие. Должно заметить, что первую получку я распределил настолько глупо, что стеснялся теперь и думать об этом. Ах, пора знать, что денежки трудовые, что я, черт возьми, не так уже молод!.. Было мне тогда восемнадцать лет.

Выдав тетке, у которой столовался, кое-что на пищу, я робко задумался над остальными деньгами. Надо взъерошить, ознаменовать эти полные величия дни, этот жадный шаг в жизнь! А как?.. Выпивкой, приглашением соседей и родственников? Кто придет ко мне? Кому я любопытен? Жалкохонек покажусь я им со своими девятью рублями семьюдесятью пятью копейками. Тогда пожертвовать эти деньги с высокой целью? А куда? Где она, эта высокая цель? Во всем городе мне был знаком едва ли десяток людей, которые разве чуть-чуть жаждали этой высокой цели.

Позвольте, ведь я влюблен! Правда, ей на мою любовь плевать, но если я предстану перед ней в каком-нибудь великолепном платье, с какой-нибудь небывалой вещью... Мало ли как поворачиваются сердца! Да, приобрести что-нибудь ценное. И поскорее.

Часы, например. Они будут чутко тикать возле сердца, отмеряя то пленительные, то мрачные, то бесплодно-слепые минуты моей жизни, и отме́ряют так много, что уже и седина ляжет ко мне на виски, и когда-нибудь, где-нибудь в Гималаях, Кордильерах или на Соломоновых островах, я взгляну на их истертые крышки, на этот наивный циферблат и с трудом вспомню день их приобретения — и мою первую разделенную любовь!

Я решил осмотреть ценности нашего павлодарского базара. На базар попадают, миновав постоянно ремонтируемое здание городского училища, того, что самого юдольного серого цвета, самой раскатисто-дикой преисподней, того, перед вымазанными известкой окнами которого стоит кривоногий инспектор в чесучовой паре и почему-то с серебряной чайной ложеч-

кой в руке, стоит, вперив очи в раскаленную зноем железную крышу, где ходят, высоко поднимая лапки, одутловатые голуби.

Я снимаю перед ним фуражку. Именно в его дочь я влюблен безнадежно. «В нее многие влюблены,— читаю я на его лице,— но выйдет она, за кого я пожелаю. Отнюдь только не за тебя, сопляк!» Однако он вежливо отвечает на мой поклон,— меня познакомил с ним мой дядя-подрядчик, лицо почтенное. Он даже спрашивает:

— На базар, за покупками?

— Да, получил жалованье.

Павлодарские магазины и склады кажутся мне столь объемистыми, что им впору торговать с целым континентом. Прельстительно и то, что двери магазинов широко раскрыты, тогда как двери обывательских домов и ворота плотнейше заперты на засовы, замки, щеколды и охраняются множеством собак. А улицы гладки и чисты, как парус; засыпаны песком до пояса, и деревьев в городе нет, словно листва их не выносит этой песчаной тяжести.

Итак, я — на базаре. Оглядевшись, соображаю, что пока, кроме меня, покупателей нет. Сердце колотится; губы вялы, будто из пастилы. Неужели для меня одного развернут все эти товары, полезут на все эти бесчисленные полки и мне все это надо перетрогать, обо всем поторговаться?

— Пожалуйте, господин, пожалуйте! — кричат приказчики.

Выходят, отложив шашки, на пороги лавок и сами хозяева:

— Сделайте почин, милостивый государь.

Бакалея, галантерея, скобяные, сено, мука, колбасы — все к моим услугам! Могу купить аршин шелку или ляжку барана, балалайку или Библию, калоши или пульверизатор с резиновой грушей, с резервуаром из цветного стекла и с роговой трубочкой, из которой запашистой струей цедится на ваши ноги едкая жидкость.

Я вовсе не хотел, чтоб торговцы, как полено, расщепили меня на части. «Бесстрастие, бесстрастие!» — шептал я, и, обратив, так сказать, это желание в наличные, я сделал самое бесстрастное лицо, какое

только мог вообразить. Оно одновременно стало и рделым,— и тут меня приняли за зеваку. Руки торговцев, было остановившиеся, снова двинули шашки по клеткам. Приказчики вернулись к дверям, к конику и опять уставились в верхний угол лавки, где играли солнечные зайчики. Прекрасно! Не будучи покупателем, мне легче думать о покупке. Я — свободен и могу выбрать для своей любви все, что хочу!

Но — что?!

Тротуар перед магазинами из каменных плит. Город не избалован камнем—песок, да глина, да разве кирпич. Жара — летом, морозы и ветра — зимой зубасто и насмешливо мельчат все крупное, даже сахар и тот предпочитают здесь покупать не колотый, кусками, а песком. Поэтому каменные плиты тротуара для меня милы, как гребни Гималаев или Кордильер. Камни долго держат тепло, ступать по ним приятно — они нежат меня, благодаря им солнечный жар проникает насквозь.

Однако что же мне купить? Какой предмет прельстит ее?

Медленно иду я от магазина к магазину, от окна к окну, беспрепятственно сближаясь с теми товарами, которым почему-либо суждено быть моими. Осмотрев их сбоку, сверху, в упор, снизу, отхожу и немедленно забываю о них. Сафьяны, севрюжий клей, мебель из пихты, оправа для браслета, наждак, шелковые ленты — зачем мне они, зачем мне этот извод денег? Вещи и выбор их начинают раздражать меня, будто я нес чернила, разбрызгал и закапал всего себя.

Часы, желанные часы из накладного золота ценою в 9 руб. 75 коп., и те не прельщают меня. Извертываюсь легко, чтобы уйти — и навсегда — от витрины часовщика. Лениво-колючий вид базара надоел. Хоть бы встретить знакомого, хоть бы появился Степа Носовец! Так зовут городского потешника, пьянчугу и проказника, служащего городской пожарной команды. Он сквернослов, свистун, лицо его слащаво, как медовый пряник, я иногда калякаю с ним.

О любви Степа говорит необыкновенно цинично. Разумеется, я не отношу его выходки к моей любви, но все же сознание, что любовь можно свести к чему-

то несложному, от чего легко отмахнуться, в какой-то степени облегчает меня.

Мгновения текут так медленно, что кажется, они далеко издали машут, дают сигналы флажками. Я гляжу теперь не в магазины, не в окна, а промеж магазинов, где валяются кирпичи, окурки, грязная оберточная бумага и где пахнет завалью и навозом.

Возле чайного магазина спит, прислонившись отекшей головой к стене, босяк. Возле ног его — медно-красный сосуд, похожий на крестьянский двухносый умывальник, который всегда раскачивается, роняя в лохань крупные звонкие капли холодной воды. Но, приглядевшись, я нахожу в нем сходство с теми светильнями, которые переселенцы из Украины называют «каганцами». Светильня грязна, запылена, и ласкающий блеск старой меди с трудом пробивается сквозь грязь. Светильня валяется у самых колен босяка, это единственное имущество его. Скоро хлынут на базар мальчишки, утащат или спрячут светильню...

Босяк чем-то похож на Степу Носовца, разве что ростом пониже. Шевелю его за плечо:

— Эй, эй, проснись, спрячь лампу!

Босяк сопит, дергает плечом, носом, и от гримас толстое лицо его делится, как пароход, на две части: надводную и подводную. Подводная — рот, подбородок, лошадино-мускулистая шея — покрыта слюной, а нос, лоб и волосы — сухим песком. Он открывает глаза, круглые и яростно-впалые, недобрые, но очень серьезные глаза.

— Спрячь лампу-то,— повторяю я,—упрут.

— А ты купи, раз беспокоишься,— пристав, говорит босяк.— Уступлю задешево, поди-вот.

— Куда мне ее? У меня есть лампа. Десятилинейная, с пузырем, с абажуром. А эта — коптилка, нос набок от вони своротит.

— Своротит! Коптилка! — пренебрежительно восклицает босяк.— Сам ты, поди-вот, коптилка, раз не видишь! На эту лампу свежо надо смотреть. Дурак на ней закоптится да обожжется, а умный — наживется. Лампа особая.

— Чем же она особая?

— Ты про Аладьину лампу слышал?

— Не Аладьина лампа, а лампа Аладдина, счаст-

ливец такой был. Нашел лампу, открыл, а из нее Дух: что прикажешь, то и выполнит.

— Вот-вот!

И босяк, тыча светильник мне под нос, кричит:

— Его лампа!

— Так то — сказка!

— Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда. Его лампа, тебе говорю!

Босяк прячет лампу под полу рваного пиджака. Он уйдет, а я так и не узнаю, откуда ему известна сказка об Аладдине и его волшебной лампе и почему он решил, что именно со мной удастся такое глупое надувательство.

— Не там жмешь, простота,— смеясь, говорю я.

— А я и не жму, поди-вот. Ты сам на себя жмешь. Я тебя разбудил или ты меня?! Ты! Ты и хочешь купить!

— Привязался с этой покупкой! Зачем лампе у меня стоять?

— Стоять?! — с повышающимся пренебрежением в голосе спрашивает босяк.— Стоять у тебя она и не может. Стоять ей только у меня.

— Так зачем же тогда продаешь?

Он, отхаркнув слюну, вплотную подходит ко мне и холодно говорит:

— Я, поди-вот, и не продаю ее насовсем-то. Продаю на время. Насовсем зачем мне ее продавать? Никакой выгоды. Отпущу ее на часок, на полчасика — и обратно. Пока там человек ее трет, вызывает Духа, я на те денежки чекалдыкну сороковку. Я всем желаю счастья.

— Почему же для себя не вызвал счастья?

— Как не вызвал?! — восклицает босяк.— Я вызвал и пожелал.

— Чего же пожелал?

— А пожелал я, чтоб лампа Аладьина всегда при мне находилась. За какую б цену я ее ни продал, кто б ее ни украл — она вернется!

— Замечательно.

— Чего ж лучше?

Я смеюсь. Босяк смотрит на меня холодными, хищно-круглыми глазами, и мне не по себе. Я хмурюсь и думаю: «Тоже, находка! Фокусничает нахал

какой-то». И одновременно верится, что он говорит правду.

— Откуда она у тебя?

— Сказка. Начнешь узнавать, откуда сказка пришла, сказки и не будет. Все дело, поди-вот, в простоте. Надо хлопать глазами и верить. А нашел я ее в городе Мукдене в русско-японскую войну, унтером был, георгиевский кавалер. Смотрю —китаец. У забора. Сдох. И лампа возле. Ну, я ее и потер папахой, думаю — продам. Он, Дух-то, и является. Большой, волосатый, вроде попа: «Проси чего хочешь, солдат». Я ему: «Дай, для начала мысли, полсороковки и в закуску сотню пельменей». Очень я пельмени любил.

— И многим ты ее потом давал?

— А, брали. Мне — верят. У меня рот хоть и хлюпает, слабый, а глаза, поди-вот, находчивые. Но мне верят! И, опять, я много не беру. А если счастье задешево, его хватают.

— Хвалю.

— Чего хвалить! Ты скажи: берешь лампу?

— Сколько в час?

Похлопывая себя руками по ляжкам, он рассудительно осмотрел меня и сказал:

— Беру, как извозчик: полтинник за первый час. За второй час — рубль, а за четыре часа — девять рублей семьдесят пять копеек, а?

Я вздрогнул, словно промок в ледяной воде. «Откуда он знает, что у меня есть ровно девять рублей семьдесят пять копеек?» — возбужденно думал я, глядя на лицо босяка, которое делалось все более и более непроницаемым. Я нерешительно пробормотал:

— А зачем мне лампу на четыре часа?

— А вдруг вздумаешь куда-нибудь прокатиться? У меня которые, случалось, и к умершим родным в рай или в ад катались.

— Ну и как?

— Оба места вроде Нерчинска,— сказал босяк, густо отхаркиваясь.— На редкость ты, поди-вот, раздумчивый. Берешь али нет? Жалко тебе, что ли, твоих девяти рублей, не заработаешь больше? Разум-то у тебя есть? Тебе говорят: любое желанье Дух исполнит, в любое место укатит и вернет!

Тогда я, не без застенчивости, спросил:

— А любовное, скажем, желание? Допустим, она меня... не любит? Может тут Дух?

— Не может,— сказал грустно босяк.— Что не может, то не может. Я его и так и этак улещал — ничего! Приглянулась мне годков пять тому назад жена одного попа. И она, поначалу, вроде мигала, а потом говорит: «Закон не позволяет. Нам, попам, развода никак добиться нельзя! А без развода я не согласна». Я Духу и говорю: «Разведи!» Он отвечает: «Не в состоянии. Если мы во все любовные шашни начнем встревать, от нас живой нитки не останется». А я ведь тогда богатый был, купец, вроде Дерова. И ничего не помогло! Спился я, скурился, разочаровался я: мне все постыло. Только и жизни что лампа,— утешаю людей, особенно дураков.

«Черт его знает, что он несет! — подумал я с негодованием.— Какая дикая чушь! Однако почему же эта чушь кажется мне такой убедительной? Значит, что-то в этом есть?»

И я спросил:

— Что же, долго тереть?

— Ты три, пока «он» не придет. Да ты не бойся, «он» не пугает. «Он» больше в виде козла является. Так, рыжий козел из себя, на ногах стоит прочно. Босяк показал на углубление возле ручки.

— Ты три здесь! Грязь сотрешь, медь появится, сердце у тебя начнет действовать... «Он»! Встанет пристойно, поди-вот, и скажет: «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство...— это я его так научил... — Какие, ваше высокопревосходительство, распоряженья, какая выпивка-закуска?»

— Постой, постой! Зачем же тебе, простота, торговать лампой? Ты ведь у Духа всегда можешь потребовать лучшей водки-закуски?

— А какой мне, поди-вот, в том интерес? — сказал босяк.— Мне тоже поговорить с человеком хочется.

«Разумеется, вздор, чепуха, самый наглейший обман»,— думал я и все же стал торговаться: в человеке так много надежд!

Сторговались за девять рублей. Семьдесят пять копеек босяк оставил мне на карманные расходы.

Взяв мои деньги, он побежал в трактир, а я на четыре часа сделался владельцем волшебной лампы Аладдина.

Босяк скрылся с быстротою нерукотворной, и, как всегда, когда исчезает талант, действительность стала серой и скучной. Базар уже не казался мне таким сказочно-огромным, плиты грели уже не так горячо, и раскаяние облепило меня. Держа тяжелую лампу, я думал: «Боже мой, как глупо, как непростительно глупо! И глупее, чем в первую получку. Там хоть я купил идиотский плащ с застежками в виде львиных голов, кепку, трость, а — сейчас?! Непроходимая глупость: в двадцатом веке поверить, что существует лампа Аладдина!»

И одновременно с этими непригожими и неприглядными мыслями робко бились и другие. А что, если — прикоснуться и потереть ее? Что, если появится Дух и я скажу ему: «Немедленно доставить меня... скажем, скажем... в Петербург, в лучшую типографию, печатающую «Солнце России»! Сделать меня метранпажем этого журнала!» Дух немедленно преодолеет огромное пространство, доставит меня в великую столицу, и заведующий типографией скажет мне: «Господин, приступайте к вашим обязанностям, верстайте «Солнце России».

Так-то оно так, а что, если Дух не явится? Я, как дурак, непрестанно три эту гадкую коптилку? Где-нибудь за углом спрятался босяк, или приказчики, или проказник Степа Носовец, подстроивший всю эту затею?! Нет, если уже верить и применить способ трения к этой лампе, так лучше в укромном месте. Там, в случае неудачи, швырну ее в сторону и пойду домой.

Вниз по течению Иртыша, верстах в двух-трех от города, имел я любимое укромное местечко. Песчаный оранжевый яр, с прослойками плотной серой глины, круто обрывался у самых вод. Выходы твердой, словно камень, глины спускались к воде неровными ступеньками. Иногда, при высоком настроении, сиживал я на верхних ступеньках, почти на уровне степных трав, а чаще всего внизу, у самой воды, мерной и необъятно-необъездной. Ноги медленно уходили в песок, и разные пугливо-мягкие чувства волновали меня.

Я направился к яру. Послышались шаги. Догонял босяк:

— Эка дрябла память! Поди-вот, и не сказал, в каком месте сподручней тереть?

— Сказал.

— Сказал, значит? Тогда счастливо оставаться.

И он повернул к городу.

Его слова воодушевили: «Лампа действительно волшебная! Иначе зачем же ему догонять меня?» Да и говорил он таким деловым и уверенным тоном, и круглые глаза его глядели так спокойно.

Налево от меня — степь, полоса пыльной белой дороги, опять степь и за нею — заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, густо-синий Иртыш нес свои струи, неразрывные и неразлучные. Я занял самый верхний выступ глины.

«Ну что ж, попробуем,— сказал я сам себе, глядя на лампу.— Прокатимся в будущее и в прошлое; растворимся в пространстве; разборчиво, без развязности, разделим по пунктам все мечты и выберем лучшую, а затем уже осуществим ее ради любимой».

И я повернулся лицом к солнцу, к югу. Во-первых, пусть козел, в которого, по словам босяка, воплощается Дух, встанет ниже меня. Существо, стоящее ниже, не так пугает, с ним легче разговаривать. Во-вторых, при блеске солнца, отраженного водою, появление Духа не будет столь волшебным. Достаточно волшебно блестит солнце и играет вода. В-третьих, если опыт не выйдет, мне удобнее швырнуть лампу в Иртыш... Последний раз вспомнил я босяка, его слегка посеребренную временем голову, его походку, плечи, шею. Он слегка скептик, жизнь перекалила его, как орехи на огне, и оттого я посердобольничал, дав ему за лампу 9 рублей. Достаточно было 6 и полтинника. Но в конце концов что деньги! Важна вера в человека. Кому иначе верить? Базару, этому огромнейшему саквояжу с вещами?! Нет, коли я сам решительно захотел редкое, чего там нюнить и хныкать!

Я здесь — один. Степь, Иртыш, яр, выходы глины. Один, с волшебной лампой на коленях. Один посере-

дине сказочно-волшебного и разнообразнейшего мира Надо выбирать.

Ибо — верю. Сижу. Жду. Тру.

Собственно говоря, я еще не тер лампу. Я держал ее с наивозможной осторожностью, чтобы Силы, которые должны направить ко мне Духа, отнюдь не подумали, будто я тру. Времени у меня достаточно. Я не тороплюсь. Я желаю произвести самый аккуратный выбор, сказав точно и ясно явившемуся Духу, чего я хочу.

Разумеется, я не хочу никаких фокусов вроде скатерти-самобранки, бессмертия, шапки-невидимки или неразменного рубля. Мои симпатии лежат в другой, более серьезной области. Я много читал, кое-что знаю и вовсе не желаю поощрять суеверие и нелепые выдумки. Можно, конечно, вызвать Духа и приказать ему застроить всю степь от меня до Павлодара мраморными дворцами, золотыми фонтанами и садами самого причудливого свойства, ну, а кому какая польза, зачем это?

Если проревизовать мои мысли, то окажется, что они всегда исходили из чувственного познания внешнего мира с разумно действующими в нем законами причинной связи. Правда, в данном случае с лампой цепь этих законов будто обрывалась. Но здесь нет ничего сверхчувственного. Стоит только появиться Духу, как я допытаюсь у него: «Где находится оборвавшееся звено цепи, где здесь разумная связь? Иначе я не могу признать Духа и всего того, что он делает! Я должен доказать самому себе сущность внешних предметов, независимо от моих, возможно даже самых фантастических, представлений». Должен признаться, что я тогда еще не знал имени моего мировоззрения, а его уже звали реализмом!

Без озорства, без озлобленности, разумно и просто надо найти подходящее и, конечно, почетное место в этом мире. Лампа способна доставить и поставить меня на это место, но в ее обязанности не входит указывать мне на это место, а тем более говорить — имею ли я такие способности, которые помогут мне удержать это место?

«Однако посмотрим!»

И с вышины своего яра я взглянул на Российскую империю.

Я обладаю возможностью выбрать в ней любое место для труда, наук, жилья или наслаждений. Я могу выбрать любую профессию, любой чин, любое состояние, вплоть до состояния сумасшедшего, любую сумму денег, любые сокровища и здания, вплоть до Зимнего дворца, любых друзей, любые способы передвижения, любых коней, любые яства и зрелища. Словом, я могу выбрать себе счастье.

Мало того, я могу покинуть пределы Российской империи и, кажется, распространить свои желания за пределы Земли, скажем, на Марс или Юпитер. Если я пожелаю достаточно настойчиво, я сам могу превратиться в Марс или Юпитер или в эту самую волшебную лампу Аладдина, с тем чтобы давать людям счастье.

Но, во-первых,— что такое счастье? В восемнадцать лет так ли уж человек отчетливо знает — в чем счастье других? А во-вторых, эти другие сами-то знают весь размер и всю сумму их счастья? Если б знали так уж отчетливо, неужели они не услышали б о лампе Аладдина, находящейся в руках босяка, и не стерли б ее до размеров пятака, вызывая свои желания?

«Давай-ка, прежде чем думать о чужом счастье, в котором ты плохо разбираешься, подумай о своем. Да, Дух не может дать тебе ее любви,— добивайся сам! Прекрасно. Я приду к ней в новом, необычайном виде,— и тогда она полюбит меня. И затем оба, счастливые, мы дадим людям счастье, потому что, владея счастьем, легко его раздавать и другим. Но в каком виде она меня полюбит? За что?

Кем же мне быть?

Кого она способна полюбить сразу же?»

Ну конечно, того, кто стоит выше всех людей. Того, кто управляет страной. В данном случае — император. Ведь я могу быть императором. Духу это ничего не стоит сделать, он привык. Каждый, к кому попадает эта лампа, хочет быть, наверное, императором. Значит, императором? Если мне не нравится быть императором России, я могу быть императором Англии, Китая, Африки, Америки и прочее. Выбор довольно разнообразный.

Все несчастье в том, что из-за моей застенчивости я ни разу не разговаривал с девушкой, в которую был влюблен. Однако я достоверно знал, что она брала в общественной библиотеке лишь либеральные журналы и газеты, а они, кажется, не очень настаивали на том, чтоб в России был император? Да и, по совести говоря, какой я, к черту, император! Глупо.

Разумеется, читая либеральные газеты, она ищет в них либерального героя, человека-освободителя? Отлично! Долой императоров!

Конечно, не так-то легко сойти с меридиана, который уже почти принадлежит тебе. И с легкой грустью я спустился ниже на одну ступеньку из глины. Степь и легкий ветерок из нее мешали моему воображению, внутри было как-то мерзко. Я прислонился к яру. Город и степь исчезли. Я сидел как бы на тропе. Лампа грелась у меня на коленях, словно котенок.

Я продолжал свой выбор.

Я не измельчу себя, если выберу обязанности и жизнь героя... скажем, вроде Геракла, достославного мужа древности! Недавно мне пришлось прочесть о нем. Это вполне уважаемая личность. Он посвятил всю свою жизнь подвигам ради счастья людей. Он исходил землю, всюду сражаясь и претерпевая крайние неудобства. И был в награду приравнен к богам. Не попробовать ли мне нечто в этом роде?.. Правда, судя по сказаниям, герою надо обладать большой физической силой. Она у меня есть, хотя и не в таком большом размере. А если развить? Мне нравится путешествовать. Я всегда завидовал Дон-Кихоту. Он обладал малыми средствами, а отправился почти во всемирное путешествие. Он не свершил его только из-за телесных немощей. Непонятно, почему над ним смеется весь мир? А ведь все дело в том, что пророки не зерно: они в своем отечестве, как известно, не прорастают. Выйди он за пределы тогдашней Испании, я уверен, он встретил бы и драконов и кентавров, и сирен. Если в наши скептические времена существует Дух Медной Лампы и я в него верю, то совершенно ясно, что в те времена водились Духи и позабавнее этого! Достаточно было старику ухлопать какую-нибудь сирену, как он бы прославился и все начали бы говорить о нем... Да, старик был слабее меня, зато он

обладал другим преимуществом. Он мог направить все силы своей души к одной конечной цели, тогда как у меня стремления разбросанные, как поленья, когда колют чурку. Иду, например, по дороге. Нужно убрать корягу, мешающую движению телеги. Я ее сталкиваю в овраг. Вижу там еще корягу и спускаюсь, чтобы убрать подальше и эту! Телега тем временем уходит. Долгий путь мне придется проделать пешком! Я суетлив, пестр, бессистемен. Надо отказаться, пока не поздно, от лестной обязанности Геракла, благодетеля человечества! Это несомненно.

Вот какие горести, вот какую правду открывает любовь!

А может быть, ей плевать на одиночных героев и она предпочитает тех, кто ведет толпы, тех, кого обычно называют полководцами?

Итак, полководец?

В людском мнении, полководец идет вслед за Гераклом, героем. Полководец ведет солдат, изредка говоря им об обязанностях по отношению отечества, а главным образом используя комбинации желаний голода, жажды, охотничьих желаний, честолюбия и удачнейшего возвращения домой. К сожалению, я мало знаю о полководцах. Возможно, мои знания близоруки, тем более что и солдат-то я видел не тех, которые воюют на поле брани. В нашем городе есть только конвойная команда, сопровождающая по тракту конокрадов и бродяжек. Трудно представить, чтобы эти мордатые, толстые, в чугунных сапогах парни испытывали эмоции голода, жажды или охотничьих наслаждений, а еще менее — эмоции честолюбия. Даже чувство удовольствия и то не так-то уже ярко начерчено на их беспечно-розовых лицах. Нет, где мне полководить над ними!

Сомнительно, чтоб ей нравились полководцы. Ни одного офицера, ни даже чиновника нет среди ее знакомых!

Итак, полководцев и чиновников можно отбросить.

Незаметно для себя я спустился еще на несколько ступенек и теперь находился посередине яра, на самом припеке. К берегу подплыло толстенное фиолетово-голубое бревно со слабо окрашенными в канаусный цвет краями и начало лениво биться о песок. Оно

оторвалось от проходившего мимо плота; начался, по видимому, летний сплав леса. Скоро поспеют арбузы, их повезут на плотах, и плоты шеренгой вытянутся вдоль Павлодара. Я люблю нырять с плотов. Пахнет мокрой корой, арбузами, и есть опасность, что тебя утянет под плот... и неужели она скажет про тебя, что «так ему и надо»?

Боже мой, что мне делать? Кого она способна полюбить? Может быть, побежать в город, спросить у нее?

Нет! Догадаюсь же я! Догадаюсь так удачно, что она сама придет сюда, почувствовав, что здесь осуществилась ее мечта.

Продолжаем.

Купец?

Торговать?

Нет, нет, нет! Я два года служил в лавке помощником приказчика и знаю, что это такое — торговать. Подлость это, гнусность.

Тогда — банкиром?

Банкир? Это очень солидно. Дом с молчаливыми окнами и певучими дверьми. Блестящие, лакированные конторки клерков. Касса. Бухгалтеры. Телеграммы. Биржа. Колебание цен. Ты сидишь в глубине своей конторы и наблюдаешь. Тебе подчиняются заводы, фабрики, типографии. Ты устраняешь препятствия, мешающие твоей наживе, и не думаю, чтоб умершие от твоих ловких операций слабо проклинали тебя. Но ты холоден, безжалостен, ты набил кассу акциями и зорко выглядываешь новые препятствия...

Она — добра, отзывчива, и вряд ли ей захочется быть супругой злого, сухого и жадного банкира.

Не хочу быть банкиром!

И заводчиком не хочу быть. Равно и тем инженером, который кланяется этому заводчику. И не хочу быть типографщиком! Я видел, как мой хозяин-типографщик, охваченный страхом, что заказчик уйдет, брал заказы себе в убыток или искал их по городу или за городом, у мукомолов. Он столбенел перед ними подобострастно и униженно, сидел на краешке стула, а в это время к его жене приходил любовник, и вся улица гоготала, что типографщик собирает деньги для этой толстой бабы с накладными косами... Стыдно и думать, что я буду владеть типографией!

...Есть точка в небесном своде, противоположная зениту. Она называется надир. Поищем-ка мой надир. А что, если мне сделаться, скажем, архиереем? И мне сразу же представился собор, широко-белоснежный, наполненный людьми. Над головами колышется дымок ладана, этот запах надежды ковыльного цвета. Архиерей смотрит — и видит всех несчастными, и в глазах его и на лице скорбь. Эта скорбь в превосходной ризе, багряной и парчовой, что еще сильнее подчеркивает ее, так же как и серебряные и могуче-безбрежные голоса архиерейского хора.

Скорбь — хороша. Она отвечает моим намерениям. Я вижу вокруг много скорби, да и во мне ее немало. Несчастья других людей для меня точно собственные несчастья. Я уже испытал это много раз... много-то много, а вдруг да,— как это и случалось с кое-какими архиереями,— скорбь взмахнет крылышками, уйдет, уныние ослабнет, а физические силы окрепнут и мне захочется плясать? Да, плясать, и пьянствовать, и радоваться, и думать, что мир не так уже плотно, как мешок с мукой, набит скорбью. Тогда — что?

Нет! Не ходить мне в митре, налитой тревожным блеском драгоценных камней, не любоваться панагией, и не будут меня приветствовать серебряноголосые дисканты и могуче-безбрежные басы.

И, кроме того, она с такой яростной скукой идет в церковь!

Тогда — путешественником? Да! Путешественник — это воля знать и видеть, что не видали и не испытали другие. Это — пустыни, горы, моря, охоты, крушения, раскопки древних городов, голос вечности

Но, с другой стороны, путешествия — не есть ли борьба с чувством неуютности мира, с чувством неприятной боязливости, чуждости? А отсюда и стремление избавиться от этого чувства, уйдя в неведомое? То есть это — желание превратить неведомое в известное и знакомое. И затем, всю жизнь путешествовать, жить на голой земле, приобретать насморки, ревматизмы, катары, убивать красивых животных и уничтожать красивую неизвестность.

Она, насколько мне известно, ни разу не выезжала из Павлодара и не ходит гулять на пароход, когда тот,

тяжело дыша, ложится возле пристани и выбрасывает мостки. Даже на пароход «Апостол Фома» и то не ходит, а что может быть прекраснее этого парохода?

Значит, и капитаном парохода тоже мне не быть?

Но что же, что?

Взволнованно я спускаюсь еще на ступеньку. Я сижу на самом солнцепеке, в пахуче-страстном дыхании зноя. Неподалеку от меня — подкабель. Вода течет по глине и капает вниз равномерно, как часы. Считаю: один, два, три, четыре... О, как быстро идет время! Надо выбирать скорее.

Цель? О, цель моя не затуманена никакими чувственными желаниями или вожделениями. Мне ненавистны люди, для которых другие — только лишь любовницы, повара, конюхи. Фальстаф, Дон-Жуан, Гаргантюа возмущают меня. Накаленные своими желаниями, они бегут по миру, высунув язык, ничего не видя в нем духовного и высокого и не понимая, что холодная и мрачная материя смеется над ними.

Нет! Хочу подчинить холодную и мрачную материю себе. И в самом мятежном ее виде, при самом диком ее сопротивлении.

Моя подруга будет помогать мне.

Значит, наука?

Да!

Тру лампу?

Нет, нет! Еще не тру.

Я только многозначительно гляжу на нее, и она — на меня. Тускло и таинственно блестит древняя медь, и кажется, она шепчет: «Торопись, время крылато и капризно-вспыльчиво, торопись, золотой и вольный юноша!»

Сейчас, сейчас! Я почти выбрал.

Наука?!

Благо людей, обладающее для меня притягательной силой, сосредоточено для меня в науке. Когда унижается, лжет, клевещет или боится наука — меня охватывает печаль. Мне любы книги, аппараты, уют лабораторий. Мне нравится научное уединение, беседа с веками.

Итак — наука?

Какая ж наука? Их много. Физика, социология, химия, астрономия, биология, метеорология...

Видите ли, весьма трудно взвесить сразу все степени трудности. К тому же мой ум смущается перед отвлеченностями. Математика ломает меня, например, пополам... Это не так легко — выбрать научную специальность.

Кроме того, моя Возлюбленная, вернее сказать — та, кто может, при известных условиях, стать возлюбленной, плохо учится. Инспектор этим очень огорчен. Она больше думает о красоте своих бровей и изгибе носа, чем о красоте научных истин. И как странно, что это-то мне и нравится!

Жаль, но с наукой, кажется, я расстанусь...

...Незаметно я спустился к самой воде. Лампа отражается желто-зеленым пятном. Бревно откатывается, прикатывается, то открывает, то закрывает это отражение. Солнце подвинулось к закату. Зной спадает.

Я все еще не выбрал. А наверное, уже прошло часа два?

Надо пересмотреть все сначала.

Император? А, ерунда!

Герой?

Почему я отказался от героизма? Убоялся тюрьмы, клеветы, страха смерти и страданий. И не стыдно тебе?

Стыдно! Плохо мне. Я весь как дерево, издолбленное дятлом, живого места нет. Мне трудно и тяжело держать лампу; я словно пил из нее, напился, напичкан... нужно подумать со свободными руками, помахать ими.

И я ставлю лампу рядом с собой, на последний глиняный выступ, за которым — полоска песка и вода. Иртыш.

Итак — огнеглазый и чистосердечный герой?

Герой побеждает все и всех, а значит, и ее сопротивление.

Я буду героем!

Позади, по яру, слышится шум. Кто-то плюхнулся ко мне.

Босяк! У него самоуверенные глаза, веселые телодвижения. Он хорошо выпил, погулял, отдохнул и пришел. Я схватываю лампу.

— Поздно, брат! Не, не, тереть нельзя: ничего теперь не выйдет.

— Да разве прошло уже четыре часа?

— Эка, поди-вот, хватил! И четыре прошло, и пять минут лишка.

Я оторопело гляжу. Он берет осторожно лампу и прячет ее под полу пиджака, а затем не спеша лезет по глиняным выступам вверх. Бормочет: «Жара тут какая, поди-вот». Кусочки глины с цветным отливом ломаются под опорками и падают.

— Постой, постой! — опять кричу я.— Ты, брат, не плутуй!

Босяк останавливается на верхней ступеньке яра и смотрит на меня вниз. Мне кажется, я читаю на его лице сожаление.

— А чем же я плутовал? Четыре часа, поди-вот, прошло!

— Подожди. Да как тебя зовут-то?

— Михнов Вася. Василий Михнов, значит, семипалатинский мещанин, скорняком когда-то был... А твое время кончилось!

Он вынимает часы. Честное слово, это те самые часы из накладного золота за 9 руб. 75 коп., которые недавно смотрел я.

— Дай мне лампу! На секунду! Я — выбрал!

— Шали!

Я ползу вверх по глине, срываюсь. Но голова у меня ясная, лазорево-ясная. Я — счастлив. Я возьму у него на одну лишь секунду лампу — и все!

Знаю, кем мне быть, догадываюсь.

Я выскочил на яр.

Передо мной — полоска степи водянистого цвета, затем белая полоска песка — дорога, телеграфный столб возле нее, ястребок, чистящий перья на телеграфном столбе, а дальше опять степь и за нею, самого густого синего цвета, цвета индиго, город. Заунывно-раскидистый Павлодар. Направо, внизу, оранжевый яр, белый песок у воды, качающееся бревно и он, Иртыш, сизый, с голубоватым отливом.

И — больше ничего и никого!

Один, без лампы и без Духа, стоял я в тоске, пламенной и страстной, один посередине мира.

Один, именно тогда, когда мне надо быть Васей Михновым, семипалатинским мещанином, который был когда-то скорняком... «О великий Дух Земли! Я узнал тебя. Тебя родила земля. Ты ее вдохновение, и она так уверена в силе этого вдохновения, что не побоялась дать волшебную Медную Лампу в руки жалкого пьяницы Васи Михнова, ибо радость и творчество не погибают даже и в руках пьяниц».

Но я был один, и вскоре мысли мои показались мне вздорными.

Я не встречал больше мою любовь. Она вскоре покинула Павлодар, перебравшись зачем-то в Семипалатинск. Кстати, я, кажется, забыл назвать вам ее имя? Ее звали Ольга Залуцкая.

Когда я позже вспоминал о встрече с Васей Михновым, мне эта встреча казалась не очень-то умно рассказанной аллегорией. Экая, подумаешь, хитрость! Медная лампа, босяк, Иртыш, задумчивая и красивая девушка, выбор пути.

Но вот недавно я купил в комиссионном магазине медную лампу. На первый взгляд она мне показалась очень похожей на ту, которую давал мне Вася Михнов. Но, приглядевшись, я понял, что лампа совсем другая. По-видимому, я просто тосковал по молодости.

Разглядывая эту медную лампу, я написал одному очень дотошному знакомцу в Павлодар: не знает ли, что случилось с Ольгой Залуцкой? Месяца четыре спустя знакомец ответил, что судьба Ольги Залуцкой — странная. Из Павлодара она уехала в Семипалатинск — рожать. Как позже выяснилось, ее соблазнил или взял силою какой-то пьянчужка, некто Вася Михнов. По-видимому, соблазнил, так как, когда ребенку было полгода, он явился к Ольге и увел ее с собой. Встречали их в Омске и Челябинске — нищими. Ребенок их тоже нищенствовал. «Есть люди, которых прельщает горе и падение: в нем они ищут счастье свое»,— добавлял мой знакомец.

И он был прав, пожалуй!

Да и я тогда, у яра, был прав.

3 октября 1944 г.—16 ноября 1956 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Всеволод Вячеславович
ИВАНОВ

БРОНЕПОЕЗД 14-69 • РАССКАЗЫ

Редактор
Н. Н Ермолаева

Оформление художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
Е. М. Борисова

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 385

Сдано в набор 30.03 82.
Подписано к печати 19.12.82.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 18,89. Тираж 250 000 экз.
Цена 1 р 70 к.
1 завод 1—100000

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии газеты «Правда» имени В. И Ленина.
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24

Отпечатано в типографии издательства Татарского обкома КПСС
420066, г. Казань 66, ул. Декабристов, 2.
Заказ Я-11

1 р. 70 к.